

Проза:
женский род



И. ГРЕКОВА
Знакомые люди



И. ГРЕКОВА



Знакомые люди

И. ГРЕКОВА

Знакомые люди

И. ГРЕКОВА

Знакомые люди

Повесть
Рассказы



Москва
АСТ
«Астрель»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г80

Художник *Ирина Сальникова*

Грекова, И.

Г80 Знакомые люди : повесть, рассказы / И. Грекова. — М. : АСТ : Астрель, 2011. — 413, [3] с.

ISBN 978-5-17-071044-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-32109-2 (ООО «Издательство Астрель»)

В книгу И. Грековой помещился весь XX век — его прожили, отлюбили и отстрадали ее герои. Пожилой профессор, вспоминающий дореволюционное детство, офицер, переживший страшный 1937 год, прекрасная кандидат наук, которой не дают защитить диссертацию, или консьержка, что копит на цветной телевизор... Эти истории происходили в каждой семье, а их герои — такие *знакомые люди*...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 19.10.2010. Формат 70х90/32.

Усл. печ. л. 15. Тираж 5000 экз. Заказ №4005.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-071044-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-32109-2 (ООО «Издательство Астрель»)

© И. Грекова, 2010

© ООО «Издательство Астрель», 2010

ФАЗАН

Повесть

1

Федор Филатович был болен — крепко, серьезно болен. Это он сознавал. Вообще сознание у него было ясное. Даже в чем-то острее, чем до болезни. Слух тоньше. Он слышал и понимал все, что вокруг него говорили.

Серьезность своего положения он вывел не столько из слов, сколько из преувеличенно бодрых лиц врачей. Их было несколько. Они появлялись и уходили. Чаше всех появлялась давно знакомая, давно лечившая его участковый врач Людмила Егоровна. Ну, какой-нибудь грипп, ангина; серьезнее он не болел. Приходила Людмила Егоровна, прописывала сульфадиметоксин. Он с нею шутил. Даша поила ее чаем с вареньем. Обходилось.

А теперь, кроме нее, приходили еще и другие в белых халатах. Трое, четверо. И все, осмотрев его, улыбались. Улыбалась, непохожая на себя, и сама Людмила Егоровна. Непривычные к улыбке щеки морщились с усилием. Даже что-то вроде ямочек на них обозначалось. «Плохое дело», — думал Федор Филатович, глядя на эти ямочки.

Один раз приходил даже профессор-невропатолог, местная знаменитость, глава школы всесоюзного значения. Федор Филатович знал его по фотографиям в газете (фамилию забыл). Очки, волосатые руки, дыбом стоящий колпак. Этот тоже улыбался, поигрывая стальным молоточком. Говорил с ним на «мы»: «Будем принимать и поправимся». Но, уходя, слишком уж быстро сменил лицо на озабоченное и двумя-тремя словами перекинулся с Дашей. «Плохо мое дело», — снова подумал больной.

Медсестра Люся из поликлиники, делавшая ему уколы, тоже была бодра и в меру улыбчива. Поднимала вверх концом шприц, выбрызгивала лишнее, наклонясь, выбирала местечко. Глядя на нее, можно было подумать, что еще три-четыре укола — и дело пойдет на лад. Он и сам заставлял себя так думать.

Мысль о безнадежности своего положения, о том, что это, в сущности, конец, посещала его нечасто и ненадолго. Сознывая серьезность болезни, Федор Филатович не верил в свою близкую смерть. Как ни странно, он не верил в свою смерть вообще. У него было ощущение, что он по-настоящему еще не жил. Как можно кончать то, что еще не начиналось? Глупости. «Вот выздоровею — и начну», — думал он.

О своем диагнозе он догадался, слушая разговоры врачей. Вполголоса, но вполне ясно. Слово, мимоходом брошенное, было коротким и грозным. Неприятное слово. Услышав его, он вздрогнул, но не удивился. Он мог бы, пожалуй, и сам поставить себе этот диагноз. Что иначе могли означать отнявшиеся полностью ноги, почти полностью — руки? Левая еще чуть-чуть шевелилась,

но ненаправленно. А самое главное — пропала речь. Он ничего, решительно ничего не мог сказать, ни одного слова.

А слышали бы они, какая складная, красивая, чудесная речь звучит у него внутри! Слова — как жемчуга на нитке, одно к одному. Вслух, в обычной жизни, он никогда так прекрасно не говорил.

Они, окружающие, наверно, думали, что он парализован не только телом, но и душой. Какое заблуждение! Знали бы они, как он там, внутри себя, умен. Как красноречив. Какие в нем бурлят чувства: любовь, раскаяние, гнев. Бурность этих чувств давала надежду на выздоровление.

Главное — гнев. Причиной гнева было не только физическое бессилие, тряпичные руки и ноги, язык, лежавший во рту, не чуя зубов, но и все окружающее. Тапки, неизвестно для чего, по традиции, стоявшие на коврикe у тахты. Завернувшийся угол скатерки. Не заведенный уже который день будильник. А главное — жена Даша, которая как будто нарочно его не понимала. И все-таки он ее любил. Он сам не понимал, любовь или гнев терзали его, когда он видел ее непричесанную, пестро-седую голову (корни волос, неподкрашенные, успели стать белыми за время его болезни); полногубый рот со следами помады, небрежно наложенной мимо губы (одно пятнышко особенно его раздражало, он все поднимал левую руку, чтобы его стереть...). И все же это была его Даша, золотой колокольчик, теперь уже постаревший, но не в этом дело: он ее любил много лет, привык любить, был ей верен душой, если не всегда телом! Последние-то годы — и телом... Он негодовал на ее старость, растрепанность, на затоптанные, по ее гнусной привычке,

задники домашних туфель. Он негодовал на жизнь, которая так обошлась с Дашей да и с ним самим. Но больше всего, до исступления, раздражал его кран на кухне.

Из этого крана постоянно, днем и ночью текла вода. Текла по-разному: то громко журча, то еле подборматывая, то сочась нахальной, изворотливой струйкой. Эту перекрученную, винтообразную струйку он словно бы видел со своего непокидаемого ложа. Кран был его личным врагом, проклятием жизни.

Он был неисправен уже несколько лет, этот кран, но тогда с ним можно было сосуществовать. Не раз и не два вызывали из домовой конторы слесаря-водопроводчика Богданюка. Старик приходил в дымину пьяный. Говорил всегда одно и то же. Что прокладок нет, а если бы и были, так что с того: надо менять всю сантехнику. Икал. Брался достать оборудование за неслыханную, нереальную цену (у Азанчевских и половины того на книжке не было). Видимо, сам не верил в то, что говорил; сумма от раза к разу менялась, оставаясь недоступной. «Вам что, вы старье богатое, старье-голенище!» — говорил Богданюк. Почему голенище? Кончалось тем, что старик своими сильными, но крепкими руками закручивал кран. Вода временно течь переставала. А хозяин со слесарем садились в кухне за стол, чтобы «раздавить пузырь». Федор Филатович был пьющий — давно и привычно пьющий. Перспектива «раздавить пузырь», да еще в компании, неизменно его вдохновляла.

Водка в доме водилась всегда, чтобы было чем угостить приятеля, если зайдет. Заходили, впрочем, редко. Здешних он не приобрел, а прежних,

ленинградских, порастерял. Даже если кто из бывших сослуживцев приедет в командировку, зайдет по старой памяти — так не о чем с ним разговаривать. Дела пароходства, где он проработал много лет, больше его не интересовали. Спросит из вежливости: «Ну, как у вас там?» — а ответа уже не слушает.

Выйдя на пенсию, он стал благодушен, доволен своей судьбой. Получил массу возможностей, раньше, по занятости, недоступных. Например: выпив рюмочку с утра, пойти гулять в городской парк и там на скрипящих гравием дорожках кормить голубей остатками хлеба, заранее размоченными и уложенными в полиэтиленовый мешочек, который так и звался «голубиный». Федор Филатович гордился тем, что у него ни одна крошка хлеба не пропадала. Он наслаждался своей утренней прогулкой, самим процессом неспешного передвижения по городу, сидения на садовой скамейке, слушания разных звуков. Эти звуки менялись, смотря по времени года. То это был стук зеленых колючих шаров, падавших с ветвей каштана на влажную землю. То шелестящие переговоры осенних листьев. То оголтелый крик воронья. То треск тонких, остекленелых сучьев под легким весом белки в сереньком, зимнем наряде. Всем этим — и видимым, и особенно слышимым — Федор Филатович был неизменно доволен. Он вообще был доволен своей жизнью. Считал, что хорошо ее устроил, переехав из шумного мрачноватого Ленинграда в этот спокойный прибалтийский город, где родился, где провел раннее детство. А что может быть лучше на свете, чем раннее детство?

Он любил этот город с его никуда не спешащими пешеходами; любил идиллических голубей

и белок, любил жену Дашу; любил самого себя — лысоватого, седоватого, но не располневшего с годами, а все еще крепкого, как каленый орешек. Одно только стало неприятно последнее время: все чаще появлявшееся онемение ног, ползание в них мурашек (то, что в детстве они с сестрой Варей называли «в ножке песочек»). Это да еще время от времени навещавшие его головокружения. При быстрой перемене позы (когда он вставал или садился) вдруг весь пейзаж с голубями, белками и каштанами тускнел и начинал съезжать куда-то вбок, в темноту. Длилось это недолго, скоро проходило. А во всем прочем он был для своих лет — тьфу-тьфу! — на редкость здоров. Ни на что не жаловался. Меньше всего — на скуку.

Книг он читать не любил, не вошло у него это в привычку за многие годы, проведенные в плаваниях. Начал свою морскую карьеру радистом, кончил — помощником капитана, администратором по пассажирской части.

Пассажиры были в большинстве иностранцы, туристы. Пестрая, разноязыкая толпа. Прямо по Пушкину: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» Одежд и раздетостей. Плоские девицы в «бикини» с крестиками между грудей. Долговолосые парни в элегантно выношенных джинсах, таких узких, что обтянутые зады словно улыбались на ходу. Страшновато моложавые старухи с голубыми волосами и веснушками на тощих руках. Старики миллионеры с себя сознающим прищуром светлых глаз. Темные очки, громкие голоса, фото- и киноаппараты через плечо. Оскалы ртов с одинаковыми у всех, молодых и старых, слишком белыми, слишком ровными зубами. Вывернутые губы женщин... Все это шу-

мело, галдело, смеялось, жаловалось, требовало. Но Федор Филатович в этом человеческом месиве чувствовал себя как рыба в воде.

От природы переимчивый, одаренный прекрасной памятью, он с легкостью усваивал не только языки, но и манеры, акценты, жестикуляцию. С французом он говорил как француз, с итальянцем — как итальянец, и даже пальцы по-итальянски складывал щепоточкой. На каждом из языков (кроме немецкого, знакомого с детства) он знал не слишком-то много слов, но отлично знал ходкие восклицания, модные словесные ужимки и выверты. Умел пошутить, пообещать, расположить к себе. Лучшего заведующего пассажирской частью во всем пароходстве не было. Масса благодарностей, сувениров, летучих, ни к чему не обязывающих дружб.

Начальство его ценило, награждало грамотами, премиями, путевками. Он до сих пор плавал бы, если бы не ноги. Плохо они стали держать его на качающейся палубе.

Было ему уже за шестьдесят — ничего не скажешь, заработал себе человек заслуженный отдых. Проводили с почетом, поднесли модель парохода, на котором плавал последние годы, и подарочный набор коньяков. Сначала с непривычки было скучновато без мелькания причалов, морей, пассажиров. Но скучать-то особенно было некогда: навалился обмен, переезд. Они с Дашей, тоже теперь пенсионеркой, обменяли свою однокомнатную ленинградскую квартиру на здешнюю двухкомнатную в новом районе, со всеми удобствами, с прекрасным видом на море.

Федор Филатович еще с раннего, молочного детства любил это мелкое, серое, линючее море

с далеко уходящими валунами, с парусами рыбацких лодок. Каждый раз он с удовольствием глядел в свое широкое, горизонтально вытянутое окно. Далеко справа виднелся порт, где медленно, церемонно, как танцующие журавли, разворачивались погрузочные краны. Любуясь на них, он как бы приобщался к их морской озабоченной деятельности.

Жить ему было не скучно, нет. Он был доволен собой, своей женой Дашей, своей квартирой со свежими обоями, белыми потолками, лифтом, неслышно раздвигавшим и сдвигавшим пневматические двери. А если иной раз и начинало сосать под ложечкой что-то неопределенное, вроде тоски, помогала водочка. С ее помощью он опять укреплялся в нерушимом благодушии.

С некоторых пор увлекся кулинарным искусством. Купил несколько поваренных книг. Готовил строго по рецептам, не по-женски шаляй-валяй. Даша и сама была ничего повариха, но иногда получалось у нее замечательно, а иной раз и есть нельзя. Смеется. Федор Филатович к Дашиной стряпне не придирался. Поищи еще такого мужа! Съест, что ни подай, да еще тарелку корочкой оботрет. После обеда всегда целовал жене руку — маленькую, пухлую, со множеством колец (слабость ее — украшения). Убрал со стола, вымыв посуду, они с Дашей брались за кроссворды — любимое занятие, в меру интеллектуальное. У Даши был неожиданно большой, больше, чем у него, запас слов. Хотя он наплавался вдоволь, всего повидал, а она сидела сиднем в своей бухгалтерии. Вечером — телевизор, опять вдвоем.

Да, можно сказать, с женой ему повезло. Хороша была в молодости, по-своему хороша и в зре-

лые годы, и даже под старость. Полненькая женщина с высокой грудью, крутыми бедрами, ногами-бутылочками. Веселая, приветливая. Нрав легкий, смешливый, покладистый. Никогда ни на что не жаловалась, не грустила, звенела себе колокольчиком. Он ее называл «моя стограммовая гирька». Не за вес, разумеется, за нрав.

Хорошо, что когда-то, много лет назад, ушел к Даше от первой жены, Клавдии. Собственно, не он ушел — сама Клавдия его прогнала. Горячая, смуглая, волевая. Жена-собственница, жена-властелин. Узнав из перехваченного письма, что муж давно уже живет с Дашей, устроила скандал до небес. Била посуду. Надавала ему пощечин — он только увертывался, прикрывая лицо, — берег зубы... Рука у Клавдии была тяжелая. Думал, обойдется; не обошлось. Развелась, уехала и двух сыновей с собой увезла. Даже от алиментов отказалась. Вот это характер!

А ведь роман с Дашей был у него далеко не первый. Женщины всегда его любили, а он им позволял себя любить, лениво обмахиваясь ресницами. Ресницы-то сохранились на удивление, до сих пор, до старости. Головой облысел, лицом увял, а ресницы — как у тех зверюшек в мультфильмах. Большие, хлопающие, неправдоподобные.

Даша любила его ресницы. «Ты мое простейшее, реснитчатое!» — говорила она в минуты нежности. До сих пор были у них минуты нежности... В глазах жены Федор Филатович был красив вечно. Как в тот день, когда они встретились много лет назад. Весь заграничный, нарядный, грустно-веселый. И женщины таяли от томных взглядов его больших глаз с ресницами-опахала-

ми. Уже чуточку пооблысел, пообтерся, но все еще был хорош. Недостаток волос искусно скрывал начесанной сбоку прядью...

2

А женщин было у него множество. И каждую из них по-своему любил. Умел их различать, а они это ценят. Теперь, лежа без движения, глядя в потолок, где праздно гуляла вверх ногами муха, он от нечего делать, нечего думать иногда пытался вспомнить их всех. Сосчитать по пальцам. Пальцы не слушались, он мысленно загибал их и считал в уме. Сбивался и начинал снова. Женщин было куда больше, чем пальцев на обеих руках.

Для чего ему это было нужно? Сам не знал. Инвентаризация. Перед проверкой. Перед смертью, что ли? Ну нет!

Женщин было много. А основных — три. Клавдия. Даша. Лиза.

Клавдия — первая жена. Даша — вторая и последняя. Лиза — вообще не жена. Любовь. Любовь юности. Давно это было.

Девушкой Клавдия была прелестна со своей смуглой грацией и широким в висках, кошачьим лицом. Клавдию он любил по-настоящему. Любил, но боялся. Настолько боялся, что в конце концов разлюбил.

Даша — это он сам. Даша — его жизнь.

Лиза? Ну, это что-то совсем особое. Когда он о ней думал, что-то подступало к горлу, щипало в носу.

А ведь, строго говоря, не была красива. Стройная, солдатообразная, на полголовы выше

его, с прямыми, спортивно развернутыми плечами. С удивительной прямоотой серого взгляда. Нос короткий, тоже прямой, к концу заостренный. Чуть-чуть вздернутый. Ни косметики, ни завивки. Вся как есть. Волосы прямые, русые, стриженные в скобку. Неправильные, друг на друга лезущие зубы.

Лиза была замечательна тем, что видела его насквозь. До конца понимала — и все же любила. Другие, включая Дашу, любили, обманывая себя, не до конца понимая. Клавдия — та, поняв, ушла.

Лиза — физкультурница, баскетболистка. В те давние времена девушки-спортсменки носили не трусики, а шаровары. Какой-то фантастический пузырь вокруг бедер. Широчайшие, сборчатые. Довольно безобразно, но Лизе шаровары шли. В них она была красивее, чем в платьях.

Зажмурившись, он видел ее в синих шароварах и черно-белой вдоль тела полосатой футболке. Стоя на носках мускулистых ног, закидывала мяч в корзину. Футболка шнуровалась крест-накрест тесемкой, вроде ботиночной, у стройной, высокой шеи, от которой чудесно пахло. Не духами, а своим каким-то чистым и честным девичьим запахом. Было отчетливо видно, как повыше ключицы под белой невинной кожей бьется-пульсирует голубая жилка...

Все знала, видела его насквозь и все же любила.

Если бы кто-нибудь заставил замолчать этот кран на кухне! Позвать Богданюка...

Где-то он читал (а может быть, слышал) об изошренной восточной пытке. Человека связывают, лишают возможности двигаться и льют ему на голову тонкую струйку воды. Днем и ночью, не

прекращая ни на минуту. Через некоторое время человек сходит с ума и в конце концов умирает...

«Этим краном они сговорились свести меня с ума, — думал Федор Филатович. — Свести с ума, сжить со света, убить!» «Они» — это здоровые, ходячие, благополучные, которых в такие минуты он ненавидел. Всех, включая Дашу. Тоже здоровая, тоже ходячая...

«Я больше не могу, понимаете, не могу!» — кричал он, выкрикивал внутри себя, но язык и губы не слушались, звуки не покидали рта. Пытаясь пробить немоту, он изо всех сил кричал: «Кран!» Получался один хриплый звук «а!». Не «кран», но все-таки «а!». Могли бы понять! Но Даша не понимала. «Что тебе, милый? Пить? Подушку поправить?» Он гневно, отрицательно мычал, почти хрюкал. Иступленно повторял свое «а!». Без результата.

Лиза — та поняла бы. Она его понимала во всем, до конца. Читала его мысли. Даже игра такая у них была: «Хочешь, скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?» И говорила. Зря он тогда, в юности, на ней не женился. Жизнь пошла бы совсем иначе. Впрочем, о чем сейчас жалеть. Лизы давно нет. Погибла на фронте в отряде лыжниц. Даже если б он тогда женился... Хотя кто знает? Может быть, не погибла бы...

Эти ночи наедине с краном! Кто бы знал, как они его мучили! Крадущиеся, пепельные, безликие. Не сразу он понял, почему так остро, мучительно возненавидел кран.

Это был не просто неисправный кухонный кран. Это был дух зла. Он не просто точил, он расточал, бесчинствовал. Много ночей прошло,

пока Федор Филатович не увидел за краном подлинный предмет своей ненависти. Кран олицетворял пустое, праздное, бездумное расточительство. Перевод ценностей — в отходы, полезного — в сор, дрязг.

Вода была ценностью. В городе, разросшемся за последние годы, ее не хватало. В верхние этажи она поступала нерегулярно: нет-нет да и выключат. А тут из крана днем и ночью течет вода — и никому, решительно никому нет дела. В Федоре Филатовиче гневался и бушевал хозяин.

Кран становился в ряд с другими примерами бесхозяйственности, глупой, преступной. Сжигаемая во дворах деревянная тара. Списанная с парохода мебель, которая вполне могла бы еще служить, — но ее, по каким-то дурацким правилам, нельзя было ни взять себе, ни подарить, ни продать. Можно было только уничтожить, превратить в дым, золу. А выбрасываемые из окон на асфальт вполне еще пригодные раковины? Унитазы? Кухонные плиты? Все это, превращаясь в мусор, кучами загромождало жизнь. Туда же, в отбросы, шли овощи, гниющие на полях, на складах. Яблоки в урожайный год. Полиэтиленовые мешки. Консервные банки. Уродливые уцененные товары: женские шляпы, которые можно увидеть разве в кошмарном сне; жесткая, бесформенная обувь — железный башмак...

В ночном воображении Федора Филатовича (одурманенное снотворным, оно колебалось на грани бреда) кучи мусора окружали его, душили. Выброшенная фаянсовая раковина давила на грудь. Он барахтался в мусоре, разгребал его, не мог одолеть. Пытаясь выбраться из отходов (они то и были его болезнью!), он порывался встать,

некоторые мышцы еще работали, но только перекатывался к краю тахты и валился на пол...

Приходила Даша, поднимала его (он был худ и легок, но все же слишком тяжел для ее немолодых рук, усталого сердца), снова укладывала, поила с ложечки... Хотела и не могла понять: что же его так мучает? И опять он, пытаясь пробиться, кричал свое «а!», все меньше надеясь, что его поймут.

Нет, все-таки не такое уж ясное было сознание. Он путался даже во времена года. Была сейчас зима? Осень? Неясно. Солнца, во всяком случае, не было. Солнце бы он различил. На всем лежал мутный, мусорный, сероватый оттенок. В любое время дня. Даже вечером, когда зажигали лампу с оранжевым абажуром. Сероватым было и Дашино лицо, как будто не совсем чистое, угнетенное возрастом. И потолок уже не был бел. Порой ему казалось, что и Даша — уже не Даша, а неряшливая кучка мусора. Он ужасался, не чувствуя в себе привычной любви. Любовь к Даше многие годы была частью его самого. Разрушился он — и любовь разрушилась. «Опомнись, это же Даша!» — говорил он себе, но упорная нелюбовь ворочалась внутри. Когда Даша уходила из дома — в магазин, в аптеку, — ему даже становилось легче. Но если она долго не возвращалась, он пугался. Как маленький ребенок без мамы.

А кран все журчал, всхлипывал, расточал, растрчивал. Федор Филатович долго искал для его деятельности подходящее слово и наконец вспомнил: английское “waste”. Точного русского эквивалента нет. “Waste” — нечто вроде наших

«уничтожение», «распыление», «зряшная трата», но короче, полнее, выразительнее. Он думал об этом явлении английским словом, не переводя на русский. И сам кран словно обрадовался найденному слову и журчал: “waste, waste”, — издеваясь, насмешничая. Короткое слово попеременно звучало как свист, как вздох, как всхлип. Заткнуть бы этот кран, наказать, обуздать! И снова «а!», «а!», и снова непонимание. Лиза поняла бы, но ее не было. Все реже, глуше, безнадежнее звучало «а!».

Однажды ночью прекратилась подача воды. Кран последний раз проскрипел “waste” и, захлебнувшись, умолк. Федор Филатович ушам своим не верил: наконец-то замолчал его враг! Счастье. Но оно длилось недолго. Счастье вообще не длится. Кажется, у Чехова в записной книжке сказано: счастье длится столько времени, сколько нужно, чтобы завести часы. Завели часы — и все.

Прислушавшись к темной, больной тишине, Федор Филатович с ужасом понял, что дело не в кране. Дело в его собственной жизни. Это она, его жизнь, уходит, утекает, как вода из крана. Этой утечки уже не унять. Берег крошки, корки, считал себя хозяином, а жизни своей не сберег.

Уходит жизнь. В мусор, отходы, ничтожество. И не только сейчас. Уже давно началась утечка. Болезнь только помогла ее осознать...

Когда же он упустил свою жизнь, единственную? В чем и когда ошибся? Если бы знать! Выздороветь и начать сначала. Пускай стар — никогда не поздно начать. Пускай даже не выздороветь — хотя бы понять себя перед смертью. Прожил жизнь, а себя самого так и не понял.

Чтобы понять, когда и с чего это началось, надо вспомнить свою жизнь с начала и до старости. Старики часто пишут воспоминания. Писать он не может. Он будет думать свои воспоминания. Про себя.

Память, конечно, уже не та. Связной последовательности не получается. Отдельные вспышки, зарницы. Между ними — провалы, мрак. Может быть, там вообще ничего не происходило? Не помнится — значит, не происходило. Неважно. Важно понять: когда?

Собственно говоря, такого момента, такого отчетливого перелома не было. Постепенно, исподволь менялась жизнь. Роясь в ней задним числом, можно было только различить два варианта: «еще нет» и «уже да». И то не с полной определенностью. Кажется, «уже да», а подумаешь — «еще нет»...

Сомнения прекращались, когда он вспоминал детство. Чистое, ясное «еще нет!». Счастье длящееся. Свет неомраченный. Даже кран при мыслях о детстве как будто затихал, стесняясь. Во всяком случае, звучал не так громко. Можно было ненадолго забыть о нем. Все чаще он стал искать этого прибежища.

Детство — самое раннее. Даже в его памяти не оставившее следа. Нет ни одного человека, помнящего его таким. Сохранилась фотография. Ему около года. Фотография давняя, дореволюционная, глянцева, на твердом картоне. Мальчик в девчачьем платьице с кружевным воротником (так тогда одевали детей) сидит в креслице плотно, упористо, широко расставив ножки в белых вязаных башмачках (их, конечно, вязала мама, руко-

дельница. При мысли о маме укол в сердце, но об этом потом). Мальчик еще не умеет ходить — потому так девственно белы его башмачки. Круглое личико выражает безграничное доверие. Глаза широко открыты; вокруг них — сияние черных ресниц (так дети рисуют солнце). Глядя на эти ресницы, трудно поверить, что они настоящие, не приклеены. Впрочем, тогда ресниц не приклеивали.

Мама рассказывала: когда тот мальчик гулял зимой, на ресницах не таял снег. Для Федора Филатовича маленький Федя с фотографии был не он сам, а «тот мальчик». Он не чувствовал между ним и собой никакой связи. Сегодняшнее его тело — поношенное, истаскавшееся, неподвижное, и то — пухлое, новенькое, невинное; неужели же это был один и тот же предмет, хотя бы измененный временем? Не может быть. Чистая случайность, что его с тем мальчиком звали одинаково, одним и тем же сочетанием букв.

Тот мальчик, говоря объективно, не просто красив — пленителен. Глядя на него, трудно не залюбоваться, не вздохнуть, не загрустить. Такая прелесть чрезмерна, она уже не радует, а ранит. Может быть, сознанием своей недолговечности? Растет человек, грубеет, потом стареет...

Федор Филатович, пока был на ногах, смотреть на эту фотографию не любил. Он вообще неохотно возвращался к прошлому. Не берег воспоминаний, не копил их, а вытряхивал. Не понимал, чем так восхищается Даша. Ну, сидит карапуз, расставив ножки, растарачив глаза. Только теперь понял, что она, бездетная, мечтала бы о таком сыне... А тогда — не интересовался. Не знал даже, почему у Даши никогда не было детей. Не хотела? Не могла?

Взглянуть бы сейчас на эту фотографию. Глянцевая, твердая, с золотыми медалями по низу. Теперь таких не делают — разучились. Нынешние снимки на фотобумаге выцветают, лохматятся, сворачиваются трубкой. Такой — выцветшей, скатанной в трубку — лежит где-то в письменном столе у него фотография Клавдии с двумя сыновьями. Широкое в висках, узкое к подбородку лицо с далеко расставленными, свирепыми глазами. Да, желтыми, жестокими были эти глаза. Взгляд так и искал в них вертикальную щель, кошачий зрачок. Фотография, конечно, этого не передает — намек на вертикальность. Клавдия просто сидит, прямая, чуткая, раскинув в стороны голые смуглые руки. Двое мальчиков стоят с двух сторон, прислонясь к матери, так, как их поставил фотограф. Пирамидальная композиция. Трогательная семейная группа. Но лица всех троих строги, отчужденны, лишены нежности. Клавдия мальчиков воспитывала по струнке, поблажек не давала. Оба похожи на мать, старший — больше, младший — меньше, есть в нем что-то от «того мальчика»...

Где-то они сейчас, его сыновья? Поди, взрослые, женатые. И дети, поди, есть у них. Его внуки... Странно, он за всю жизнь не любил ни одного ребенка. Внуков бы он любил. А может быть, нет. Сейчас кажется, что любил бы.

Клавдия, Клавдия. Гордыня и ярость. После отъезда так и не дала о себе знать. Ни разу. Может быть, нету ее в живых? Возможно. Если жива — стара, как он. Были ровесниками.

Старая Клавдия. Трудно себе представить! Нет, не сдалась бы она старости. Больше пошло бы ей умереть.

Сильная, жесткая. Жесткая во всем, даже в любви. А ведь как любила! Такая любовь могла прожечь насквозь. Как пучок лучей, в точку сведенный луной.

Любовь — ожог, укус. Хваткая, беспощадная. В сущности, он ее не знал, Клавдию, свою жену.

Изменял ей, как говорится, направо и налево. Он, всегдашний любимец женщин, искал в них мягкости, которой не хватало в Клавдии. Искал — и находил. Думал грешным делом, что она знает, но смотрит сквозь пальцы. Блюдет семью ради детей. Не могла же она — умная! — строить себе иллюзию, что он ей верен в долгих отлучках. Оказалось — строила. А узнала — вулкан! Развелась, уехала, пропала. И, главное, мальчиков с собой увела. Имеет же он право на сыновей?

Тогда, признаться, не очень-то о них думал. Целиком был поглощен Дашей, своей любовью. Даже рад был, что отпала эта забота: дети. Забот и без того хватало.

Разводил Дашу с мужем. Тот, слабый, плакал... Пили вместе, вместе плакали. Экие дураки! Ничего был парень Витя. Спился с горя, бедняга. Погиб в дорожной катастрофе. Сам вел машину. Еще одна забота отпала...

Всю жизнь только и делал, что избавлялся от забот.

4

Ужасно ощущение полета, когда не чувствуешь своего тела. Полет — но не легкость, а свирепая тяжесть. Несет и в то же время прижимает.

Длинное окно недоступно — не подойдешь, не заглянешь. Там, справа, в порту, вероятно, по-прежнему танцуют краны, но не для него.

Опять кран — совсем разнузданся. Опять надо спасаться в детство. Детство было полно других звуков: вспоминая, он слышал, до иллюзии ясно, стук каштанов, падающих на пыльную, упругую землю.

Земля как таковая, земля как почва, в детстве особенно, кровно близка. С высоты четырех-пятiletнего роста она видна во всех подробностях, вплоть до малейшей янтарной песчинки, до стеклышка, косо врезанного в пыль...

Сад при доме — большой, развесистый. Опертые о забор локти деревьев. Когда они с Варей гуляли в саду, почему-то всегда падали, один за другим, каштаны. Стук, стук, стук — каштаны о землю. Хотя, строго говоря, падать они могли только осенью. А ведь были еще и зима, и весна, и лето!

Стукнувшись о землю, зеленый шар иногда лопался и обнажал внутри себя другой, поменьше, ярко-коричневый, лакированный (собственно, он-то и был каштаном). Пламенно-коричневый, исступленно-коричневый цвет. Трудно было поверить, что он несъедобен: слишком красив! Все тянуло попробовать, хотя мама говорила: нельзя. Однажды он все же прокусил кожуру, ощутил резкий, вяжущий вкус и сам убедился: нельзя.

До сих пор помнится тот вкус. Горькая обида на языке. Может быть, это самое раннее воспоминание? Нет, пожалуй, другое еще раньше.

Тот мальчик стоит у окна и смотрит в сад. Земля, обычно такая подробная, сверху, со второго этажа, кажется сплошной, одноцветной. А небо

над садом невинно голубое, слабо солнечное — ближе, чем земля. Тому мальчику хочется полететь в небо. Ему кажется, что он умеет летать, стоит только попробовать. Но не решается, вцепился коротенькими пальцами в подоконник...

Да, это — самое раннее воспоминание, потому что нет еще рядом сестры Вари (при каштане она присутствовала). Почему ее нет? Не умеет, что ли, ходить? Или вообще не родилась? Вряд ли, потому что была младше его только на полтора года.

Все его детство прошло рядом с нею. Неприятная, надутенькая, с рыжими косичками. Именно тут — спутница и раба. «Принеси каштан, — командовал он. — Не этот, а тот». И она послушно приносила — не этот, а тот.

Безропотная. Ее можно было обидеть, но нельзя рассердить. Разве что довести до слез.

Тоже из раннего, самого раннего детства: пианино. Черный полированный массив, сперва страшноватый (волк?), потом привычный. Бронзовые подсвечники — их можно было поворачивать. Телесная белизна свечей. Винтовой табурет. Вращая, его можно делать выше и ниже. Визгливый скрип табурета, когда его вертят. Крупные белые клавиши, черные зубы бемолей и диезов...

Тому мальчику, вероятно, еще и трех лет не было, а он уже выкручивал табурет повыше, как можно выше, влезал на него, откидывал крышку и что-то такое наигрывал. Иногда — услышанное, а случалось, и свое (своего от чужого еще не различал: все музыка).

Рыжая голова сестры Вари торчала внизу, ниже клавиатуры. Она смотрела на него снизу —

преданными пуговичными глазами. А он-то плыл, а он-то летел на музыке в то самое бледно-голубое небо...

Музыка! Значила она для него, ребенка, безмерно много. Куда больше, чем потом, для взрослого, любовь и женщины. Сравнить музыку можно было разве с мамой. Маму он любил бесконечно.

Сочинять начал очень рано, в те же три-четыре года. «Маленький Моцарт», — говорили при нем и о нем знакомые. Он не знал, кто такой Моцарт, но понимал, что его хвалят, и гордился. Скромно опускал глаза с веерными ресницами. Пара слов «абсолютный слух» тоже ему нравилась. Что-то очень хорошее, неясно что, но его заслуга, слава.

А слух у него и в самом деле был необыкновенный. Каждую ноту знал он в лицо и по имени. Кто-нибудь нажимал клавишу, а он, отвернувшись, закрыв глаза, безошибочно называл ее: «си» или «соль». Чему тут удивлялись? Спутать «си» и «соль» так же было невозможно, как седьку с малиновым вареньем.

Каждую ноту он представлял себе человеком, живым существом, со своим лицом, своим именем, своим выражением лица. Одна подмигивала, другая улыбалась, третья хмурилась. Он не только в отдельности их различал, но и в аккорде, даже фальшивом. Легко расчленял его на отдельные звуки, называл каждый.

Это-то у него сохранилось — абсолютный слух. Это его и сейчас роднило с тем мальчиком, хотя многое с тех пор было растрчено, растеряно, пропито. До сих пор — вернее, до болезни, в той еще жизни — он любил при случае показать

фокус. Предлагал кому-нибудь опереться на клавиатуру обеими руками в любых позициях, а сам, лениво и небрежно прикрыв глаза, называл все ноты. Успех был обеспечен...

А вот играть по нотам он так толком и не научился. Зачем это было, если он мог все что угодно сыграть по слуху? Услышав раз какую-нибудь пьесу, мог, сев за пианино, повторить ее по памяти. Конечно, не во всех подробностях, но верно и выразительно. Технические трудности опускал, зато часто снабжал пьесу своими вариациями.

Эта способность владеть инструментом тоже сохранилась у него на всю жизнь. Только репертуар изменился. В детстве — сонаты Бетховена, прелюдии Шопена, в общем, классика — то, что играла мама. Позднее — модные песенки, танцы, шлягеры... Женщины восхищались: «Да вы пианист!» Он скромно опускал ресницы. Знал, что скромность ему к лицу...

«Этот мальчик далеко пойдет!» — говорили про него в детстве. И в самом деле пошел далеко. Только не в том направлении — вниз. Соблазненный легким успехом. Какие-нибудь «Ромашки спрятались...» выходили из-под его пальцев волшебным образом преображенными. А что? Играл же Ван Клиберн «Подмосковные вечера».

Мама, бедная (снова укол в сердце), как она старалась учить его музыке! Учить, как тогда полагалось. Как когда-то учили ее самое. Каждого учили как будущего профессионального музыканта (что не каждый им становился — это другое дело, важна установка). Бесконечные гаммы, арпеджио, упражнения «Ганон» — нудные, однообразные, как переливание воды в бутылке. Он этот «Ганон» ненавидел. Так бы и растерзал эту книгу

в коричневом кожаном переплете. А что делать? Детей полагалось серьезно учить музыке.

Тогда ведь не было ни радио, ни проигрывателей, ни тем паче телевизоров. Граммофон с его репертуаром Вари Паниной считался вульгарным. Это теперь музыка в каждом доме, будничная, почти незаметная, предмет обихода. Щелк — включил. Щелк — выключил. Под музыку разговаривают, едят, готовят пищу. Тогда музыка была делом святым, серьезным. Она создавалась своими руками. Собирались, «музицировали», кто на рояле, кто на скрипке, реже — на виолончели, кларнете. Слушавшие молчали.

Мама была почти профессиональная пианистка. Училась долго, подумывала о консерватории. Помешало замужество, дети. Видно, надеялась, что сын за нее сделает то, что ей не удалось. Нечего сказать — сделал!

Милая мама! Ну до чего ж мила — прямо сил нет! Тогда еще молоденькая, хорошенькая. Невысокая, полная, с крохотными ногами в лаковых туфельках. Тот мальчик любил, сидя на полу, исподтишка наблюдать мамину ножку, энергично нажимавшую педаль, отчего звук становился сочным и гулким, словно расплавленным. Ему самому педаль была строго запрещена: «рано». Зато, оставаясь один, он на нее непрерывно жал. Гудело на всю квартиру...

Милая мама со слюдяным блеском черных глаз, окруженных большими ресницами (это от нее он их унаследовал). С веселой, плутовской улыбкой, открывавшей редкие, чуть веерком расставленные зубы... Мама, конечно, была красивее всех на свете, уютнее, мягче, душистее. Только у него, только у них с Варей могла быть такая

мама! Это даже не любовь была — обожание (хотя не знали еще этого слова). Молились на нее про себя и вслух. Самая страшная клятва была: «Я перед мамочкой скажу!» Соврать, слукавить «перед мамочкой» было немислимо.

Любовь-азарт, любовь-игра. Утром, забравшись к ней в постель, они с Варей полушутя-полусерьезно ссорились, «делили мамочку» — кому какая часть. Он, разумеется, отхватывал себе больше, лучше. Счастливы были все трое. «Тишеньята» — называла она их. От «тишки» — «детшки»...

А какая искусница, выдумщица! Изобретательная, ловкая. Умела все — шить, вязать, выпиливать, столярничать. Научилась по-настоящему тачать обувь, на колодке, с дратвой и шилом. У детей чуть ли не к каждому платью были подходящие башмачки. Легонькие, тупоносые, разноцветные... В шкафу детской целая полка была занята туфельками, ботинками на пуговицах (застегивались крючком). Все мамина работа. Знакомые дамы ахали, а он гордился. Ведь это его, его маму хвалили!

Никогда никого в жизни он так не любил! А теперь, старый, он даже не знает, где ее могила. Где-то на Волковом кладбище... Заходил туда однажды уже после войны. Разумеется, никакой могилы. Ничем не отмечено место, да и не могло быть иначе. Постоял, думая о ней. Растрепанные деревья, крики грачей... Все прошло, все.

Бедная мама, как она старалась приучить его играть по нотам! Сначала это было забавно, но быстро надоело. Как надоело все, стойшее усилий. Вот сестра Варя — та была старательная. Играла усердно, часами. Рыжие косички прыгали

по спине. Как сейчас он ее видит на табурете у пианино. Само прилежание. Губы надуты (верхняя выпукло нависает над нижней), ручки короткопалые, неловкие, до яркой розовости мытые холодной водой (холодная вода входила в программу воспитания). Кое-чего добивалась, но не ахти. Играла чисто, ритмично, скучно. Мама ставила на крышку пианино часы, прямоугольные, как шкафчик, в кожаном футляре (назывались «часы в халатике» — до сих пор сохранились чудом, стоят у него на буфете). «Играй, — говорила мама, — пока тут станет большая стрелка, а там — маленькая». Значит, не умели еще они узнавать время по часам... Варя свой урок всегда выполняла.

Тот мальчик слушал ее с досадой (впрочем, постепенно «тот мальчик» превращался в него самого, Федю). Иногда невтерпеж становилось, он подходил к пианино и почти не глядя клал руку на клавиатуру. Раздавался аккорд — богатый, бархатный; скучное упражнение оживало. Мама спешила из соседней комнаты: «Дети! Вам еще рано играть в четыре руки!»

Разумеется, не в «четырёх руках» было дело. Он это отлично понимал. У мамы был виноватый вид. Родила двоих — таких разных. Талантливого — и обыкновенную. Хотела и не могла любить их одинаково. Его любила больше, чем Варю. Это-то он понимал. Один брошенный взгляд — и все ясно. Сам гордился собой — талантливым и жалел Варю — обыкновенную. Но виду не подавал.

Значит, уже тогда в чем-то был двоедушен? «Уже да»? Нет, тогда «еще нет». Гордость была в нем — невинная. Сознание своего таланта. Ответственность, что ли. Сложное чувство.

А талантлив был не только в музыке. Прекрасно рисовал. Твердая, недетская линия. Пес Топка — мамин любимец — выходил у него как живой. Забубенный дворняга. Торчащие, волчьи уши, колечком загнутый хвост, преданность во всей осанке...

Потом, уже позднее, начал рисовать красками. Рано овладел тонким искусством акварели. Портрет Вари за пианино — усердная спина, освещенная солнцем, рыжие косички так и сияют. А ведь совсем мал был, не старше семи.

Пейзажи, пейзажи... Город сам на них вдохновлял. Фонари, флюгера, водосточные затейливые трубы. Узкие улицы, черепичные крыши, треугольные фасады старинных домов. Толстые башни, тонкие шпили церквей.

Они-то сами жили не в старинном городе, в новом. Деревянном. Дома почему-то только двух видов: желтые с черной смоленой крышей и зеленые с красной железной. А кругом — сады, садики. Все это он рисовал тоже.

А море с далеко уходящими валунами? Разноцветные паруса рыбацких лодок — желтые, коричневые, серые?

Нет, безусловно, он был талантлив. Это не обман памяти, не обольщение. Всю жизнь потом он донашивал остатки своих талантов. Транжирил, расточал, растрачивал. Покупал на них благосклонность слабого пола...

Мама ведь тоже была талантлива. Хорошо играла на рояле. Хорошо рисовала, лепила, пела. Но она не расточала, она собирала, вкладывала. Если в нем и было что-то хорошее, то это от нее, от мамы...

Тогда, в детстве, он был полон любви. Любил музыку, рисование. Любил город, в котором ро-

дился, его здания, сады. Любил, не без презрения, сестру Варю — смешную, преданную, пухлогубую. А больше всего, сильнее всего — маму. Это живое, темноглазое, тепло-смуглое лицо. Этот тупой носик с чуть заметной шишечкой на конце (они с Варей называли ее «пумпочкой»; постепенно «пумпочка» стала обозначать вообще маму. «Это мы играли с пумпочкой», — говорила Варя). Всегда веселая, живая, с какими-то милыми излишествами, вроде тех башмачков к каждому платью. Вечно что-то придумывала, затевала. Ставила с ними спектакли, писала для них пьесы, декорации, разучивала роли. «Кот Плюшка» — называлась одна пьеса, а другая — «Тихо-тихо» — игралась шепотом.

Дом был широко открыт для соседских детей. В согласии с традициями города они были хорошо воспитаны, вымуштрованы. Мальчики шаркали ножкой, девочки делали книксен. Варя тоже делала книксен, но по-своему: бралась обеими руками за юбку и приседала на корточки...

Чаще других ребят бывали братья-немчики, Пауль и Буба. Дети лавочника, жившие рядом в зеленом доме с красной крышей. Отец у них был толстый, румяный, в подтяжках, а мать — худая, бледная, волосы в сетке. Мальчики — светло-белокурые, гладко причесанные на пробор. До того воспитанные, что у кошки просили прощения. Разговор шел большей частью на немецком — втором полуофициальном языке города. Третьим — уличным, простонародным — был эстонский. На всех трех языках Федя и Варя болтали свободно, перескакивая с одного на другой. Пауль и Буба эстонским гнушались, да и по-русски-то говорили неохотно. Хотя понимали.

Пряменькие, муштрованные, с голубыми висками. Такие точно лица — правильные, тонконосые — видел потом Федор Филатович на войне у пленных, а нередко и у убитых немцев.

Допрашивал пленных. Знание языка, впитанного с младенчества, может быть, сохранило ему жизнь. Все-таки переводчиком было легче, чем в окопах. Пережил, уцелел. А вот мама не уцелела. Погибла. И снова — укол вины в сердце.

...Мама, бесценная моя, дорогая мама, бормотал внутри себя Федор Филатович, и холодные слезы текли у него по щекам, скапливались у носа, ни смахнуть, ни стереть! Мама моя, ты бы меня пожалела, ты бы меня поняла. Виноват я перед тобой, виноват безмерно. Живым укором глядишь ты оттуда, из прошлого. И прокурором поднимает голос кран.

Нет, не надо. Об этом — потом. Успею еще подумать. Ведь не сегодня, не завтра же придет смерть!

5

Мама... Почему только мама? Ведь был еще и папа, Филат Петрович, учитель словесности (тогда учили «словесности», а не «литературе»). Нежно лысеющий блондин с рыжеватой бородкой, с тонкими пальцами, с неслышной поступью в вышитых мамой домашних туфлях... Федя никогда не был особенно близок к отцу. Куда больше по сердцу была ему пестрая праздничность мамы. Но, видимо, как он понял потом, отец был незаурядным, талантливым педагогом. Одним из тех самозабвенных сеятелей «разумного, доброго, вечного»,

каких немало было когда-то. Ученики его помнили и боготворили всю жизнь. Федору Филатовичу, уже взрослому, случалось встречать бывших учеников отца. Знакомясь, назвав себя, он видел счастливую улыбку и слышал вопрос: «А не сын ли вы Филата Петровича?» — и отвечал: «Сын» — со смешанным чувством гордости и стыда...

Задаст ли кто-нибудь вопрос: «А не сын ли вы Федора Филатовича?» — кому-нибудь из его сыновей? И если задаст, какой ответ получит? Сухой, сдержанный. А может быть: «Не знаю»...

Папа где-то существовал на краю детства, но не близко, не постоянно. Мама — та была всегда тут, своя, как собственная рука. Вот она, эта рука, выложена поверх одеяла. Со всеми подробностями, с тонким шрамом на тыльной стороне кисти — следом гвоздя. Процарапал руку, лазая по смоленной крыше соседнего дома. Кровь, ревел, мама мазала йодом, щипало. Ревел скорее театрально, чем от подлинной боли. Шрам — вот он, виден до сих пор. Правда, разглядеть его нелегко. Старческие вздутые вены, крупные веснушки испестрили руку. Не так ли за жизнь испестрилась душа? Но не надо об этом. Сговоримся на том, что все прошло. Шрам зажил, почти не виден. Тише, мысли.

Отец, папа. Судя по всему, замечательный человек. Почему же он, Федя, обожавший мать, был сравнительно далек от отца? Не потому ли, что в этом правильном, тонком лице (никаких «пупочек»!) угадывалась требовательность, на которую ему нечем было ответить? Надо было работать, а он этого не любил. Привык, что все ему давалось даром. Дар, одаренность, подарок, на дармовщинку...

Гораздо ближе к отцу была сестра Варя. Неодаренная, ничего не получавшая даром. Какие-то шли у них с папой беседы. Сидела, скромно поджав ножки, таким паучком на ручке его кресла. Федя и ревновал, и нет. Немножко досадно было, что папа не его обнимает одной рукой, не с ним смеется, но так было, пожалуй, лучше. Сдержанное осуждение чудилось ему в голубом нелегком взгляде отца. А он, любя легкость во всем, избегал осуждения.

Запомнился один случай. Было ему тогда лет шесть или семь — во всяком случае, жили еще тут, в Прибалтике. Подошел к нему папа (чуть ли не в коридоре это было? Или в передней. Во всяком случае, в полутьме), положил ему руки на плечи, заглянул в глаза. Голубой взгляд был тяжел, он это ощутил почти физически. Отец обратился к нему странно: не «Федя», а «сын». «Сын, — сказал он, — я бы хотел знать, что ты сам о себе думаешь?»

Он заюлил, заерзал, ушел от ответа. Пророботал что-то невнятное. Папа улыбнулся невесело, хотел что-то сказать, но раздумал, снял руки с Фединых плеч и ушел к себе в кабинет.

Не были ли эти руки на плечах, нелегкий голубой взгляд первым предупреждением? Нет, пожалуй, «еще нет»... Тогда все еще было в будущем, почти ничего — в прошлом. Это сейчас прошлое висит огромным мешком за плечами...

Надо еще и еще шарить в этом мешке. Отметить момент, когда «еще нет» стало «уже да». Думать дальше, вперед по ходу времени. Но он медлил, хитрил сам с собой. Даже думая о дальнейшем, нет-нет да и вернется назад, в раннее детство.

Побалую себя. Дача на берегу моря. Цветные стекла на веранде. От них — пестрые узоры на вымытом добела полу.

Посреди клумбы — радужно лучащийся большой шар (в то время — обычное украшение дачных участков). Где теперь этот шар? Кто и когда его разбил? А ведь разбили же непременно. Не мог же он остаться в целости с тех пор — хрупкий, стеклянный. Любил наблюдать в шаре свое отражение, перевернутое вверх ногами.

Скворечня на высоком шесте. Как хлопотали скворец со скворчихой, влетая в свой дом и опять вылетая. Птичий гвалт, птичий гомон слышался ему музыкой, переключкой басовых и дискантовых нот. Для него все было музыкой. Мелодии роились, жужжали у него внутри. Болезненное и блаженное чувство: музыке в нем тесно...

Сестра Варя в мелкоклетчатом черно-белом платье (ткань называлась «милькаро») на кривых тоненьких ножках. В младенчестве Варя болела рахитом, ножки так и остались «гусиными», как у Любочки в «Детстве» Толстого. Подрастком смешно на них жаловалась: «У них очень радиусá»... В те времена у многих девочек и даже взрослых женщин были кривые ноги; теперь их что-то не видно; наверно, научились лечить рахит чем-нибудь, кроме рыбьего жира. А тогда он был обязателен в каждой семье. Янтарно-желтый, вонючий, противный. О, ежедневный кошмар — эта ложка рыбьего жира! Нос затыкал двумя пальцами, ложку вливали, ужас! Даже касторка с ее бесцветным вкусом была приятнее...

Еще одна вспышка памяти: купальня. Выходит из прошлого, сияет: вот она я! К купальне ведут деревянные мостки, длинные-длинные, шатучие. Сквозь щели под ногами сверкает вода. Песчаное дно — все в морщинах, рифленое, как стиральная доска (тогда еще стиральных досок не было). Идут-идут песчаные холмики, параллельно друг другу.

Дошли. Мама в смешном, по колено, сборчатом купальном костюме, вся закрытая, спрятанная. На голове — огромный резиновый чепчик. Он ее безобразит, только и остается в ней маминого, что носик с «пупочкой». Варя, голенькая, плачет, выпятив круглый живот. Боится холодной воды, трусиха! А он не боится, он смело лезет туда.

Какое наслаждение! Вода сперва обжигает, все тело ёкает, но зато потом — блаженство. Торжество гордости: он не трус, он в холодной воде, он плавает, он умеет! Плавает даже кругом купальни. Правда, песчаное дно — тут, под ногами. Он осторожно проверяет ногой: здесь ли оно, не ушло ли?

А мама берет на руки Варю и нежно-насилно окунает ее в воду. Та визжит, хнычет, но, привыкнув, сама начинает бить по воде розовыми ладошками...

На обратном пути — вытертые, обсохшие, счастливые — Федя и Варя по-хорошему ссорятся. Даже мама видит, что это не всерьез, и, хмурясь, улыбается. Дома они получают по стакану холодного, с погребца, молока и по ломтю прекрасного, пористого ячменного хлеба (по-эстонски его зовут «сепик»). Боже, какой хлеб! Видно, секрет его выпечки утрачен. Сегодняшний «се-

пик» уже не тот — он твердоват, сероват, обыкновенен. А тот, детский, светло-коричневый, — он прямо взлетал на ладони...

Вообще, как не раз замечал Федор Филатович, у каждого человека в памяти хранится ранняя, сверхценная, ни с чем не сравнимая детская еда. У него это были: сепик с молоком, хлебный суп с плавающим островком взбитых сливок, копченая салака. Все это есть и теперь, но в каком убогом, неузнаваемом виде!

Федору Филатовичу суждено было в дальнейшем пережить не один голод. И всегда в его голодных мыслях венцом мироздания виделись все те же детские яства. Сепик с холодным молоком. Хлебный суп. Золотая салака... Нитка его памяти путалась в них и теперь.

Что было раньше, что потом? Он уже не мог этого установить. Рваная память. Вспышки с провалами. Вспоминалось неважное, глупое.

Например, Варино чиханье. У нее часто бывал насморк, и чихала она не по-обычному: «Ти!» Он ее передразнивал, она обижалась, топыря верхнюю губу, ту выпуклость, которую папа называл надгубьем. Зачем он ее обижал? По праву старшего, сильного? Нету такого права.

А вот уже важное: первая подлость. Ягоды, красная смородина.

Пошли в сад. «Погуляйте до обеда», — сказала мама. Сад — возле дома, тот, с каштанами. Искоженный вдоль и поперек. И вдруг неожиданность: спрятанный в зарослях куст, а на нем — ягоды. Яркие, изнутри светящиеся. Они были необычайно, неестественно крупны. А может быть, просто он сам был мал. Ягоды висели высоко, вы-

ше головы. Откуда-то он знал их название: красная смородина. Бывает и черная.

Был мал, но уже подл. Потому что на восторг Вари по поводу ягод ответил: «Их нельзя есть. Они заразные». Слово — от мамы. Она им строго-настрого запрещала подбирать и класть в рот что бы то ни было, говоря: «Это может быть заразное!» Вот и он объявил ягоды «заразными», отлично зная, что врет.

Варя, конечно, поверила. До сих пор помнятся поднятые к нему доверчивые глаза, в них пламенно отражались красные гроздья. А потом, тайком от Вари, он пробрался в сад и, встав на цыпочки, объел весь куст. Ел торопясь, давясь, сознавая свое предательство. Уже не хотелось, а ел.

В тот же день его пронесло. Да как! Мама выспрашивала: что ели? Где? Не признавался. Выдали его красные пятна на рубашке. Хочешь не хочешь, пришлось сознаться. Мама плакала, и он — тоже. И Варя за компанию...

Вечером, после действия касторки (на всякий случай по ложке дали обоим), их уложили спать раньше обычного. Он прошлепал босыми ногами к ее кровати, влез под одеяло и каялся сладко, горько. Плакал. А Варя, обняв его за шею тонкими руками, говорила: «Не плачь, Федя!» — и сама редела, сморкаясь в пододеяльник. Заснули облегченные, очищенные, освобожденные...

Значит, был же он когда-то чист душой? Была же у него совесть? Глядя в прошлое через бездну прожитых нечистых лет, ему было отраднее оправдать себя хотя бы в детстве... Теперь, когда весь мир ограничился для него тахтой, ночным столиком, лампой. Да еще этим проклятым краном на

кухне. Журчит, точит, щебечет, и нет на него управы! Где, когда он читал слова: «Мама, они льют мне на голову холодную воду!»?

Сознание, конечно, не было ясным. Кое-что не происходило, а мерещилось.

Однажды ночью он отчетливо видел, как висевшее на стуле полотенце превратилось в рубашку, мужскую рубашку без галстука, а над ней прорезалось из сумрака незнакомое лицо. Мужчина был сравнительно молод, лет сорока, не больше, но черные волосы уже поредели, и лоб двумя треугольниками восходил к темени. Что-то оперно-мефистофельское было в этом лице. Широкое в висках, заостренное к подбородку, оно улыбалось, показывая сбоку золотой зуб. Ног у мужчины не было, только верхняя часть тела в рубашке (когда-то такой фасон назывался «апаш») и эти зловещие взлизы со лба в глубину темных волос. Уходило, убегало лицо туда, в волосы.

— Кто вы такой и что вам от меня надо? — мысленно произнес Федор Филатович. Языком, ртом, губами говорить он не мог. Но незнакомец его услышал.

— Не узнаете? — спросил он. — Я ваш собственный старший сын, Петр Федорович. Бывший Петя. — И улыбнулся.

— Где же вы теперь живете? — внутренне всполошился Федор Филатович. — Напишите свой адрес. Блокнот на столе. Карандаш там же. Я, вы понимаете, не могу...

Как ни странно, этот мужчина, наполовину состоявший из рубашки и наполовину отсутствовавший, отлично его понимал.

— Я не могу сделать того, что вы просите, — отчетливо ответил он, шевельнув мефистофельской бровью. — Я, видите ли, не существую.

— Умерли? — вскричал в ужас Федор Филатович.

— Как сказать. Может быть, и умер.

— Не понимаю, — с горем и досадой забормотал Федор Филатович. — А ваш брат... простите, не помню, как его звали. Он тоже умер?

— В такой же мере, как и я. Умер условно.

— Не понимаю! — опять воскликнул Федор Филатович. Это было страданием — восклицать и не слышать своего голоса. Но странный гость, видимо, слышал.

— А понимать и не надо, — сказал он, еще выше задрав бровь. — Ну, до свидания, мне пора. Самолет встает на рассвете.

— Пойдите, пойдите, не уходите. А ваша мать, Клавдия Ивановна? Она-то жива?

Гость не ответил и стал уходить. Не уходить, а исчезать по частям, как будто его стирали с доски тряпкой. Раньше всего стерли лоб со взлизями, за ним — крючковатые брови, кошачьи виски. Стерли лицо — осталась рубашка. Но и она превратилась в обыкновенное полотенце.

«Галлюцинация», — подумал Федор Филатович, и ему стало страшно. Он заворочался, застонал. Из соседней комнаты появилась Даша. Она всегда чутко слушала: спит ли? Он не спал. Смотрел на нее злыми глазами.

— Феденька, что тебе? Утку?

Он мычал и встряхивал головой. Он кричал глазами, что ему нужно. Ему нужно было вспомнить, как звали второго сына, младшего. Надо же ухитриться забыть!

Павел? Нет, не Павел. Как же его, в конце концов, звали?

Даша поправила ему одеяло, поцеловала в лоб и ушла, шлепая стоптанными задниками. Он гневно смотрел ей вслед. Ничего, обойдусь.

Младший сын родился вскоре после войны. Жили тогда с Клавдией благополучно. Плавания были недолгими. Возвращался, нагруженный подарками. Помогал Клавдии купать маленького.

Цинковая ванночка со звездами. Скользкое от мыла младенческое тело. Вынимал мальчика, держал на весу, а Клавдия окатывала прохладной водой из кувшина. Кувшин голубой, с розами, тоже заграничный. Все помню, а как звали ребенка — забыл.

Послевоенная жизнь была еще трудна. А он приезжал совсем из другого мира: синее море, яркое солнце. Пестрые базары тропических стран. Команда парохода — вся в белом.

Дома, в Ленинграде, никто не ходил в белом, даже женщины. Мудрено ли, что, окунувшись на время в здешние трудности, он опять рвался обратно, в море?

Эти несколько дней побывки... Клавдия, ждавшая его терпеливо, всем сердцем, не знала, чем и побаловать любимого. Отказывала себе во всем. Не только себе — и детям. А он был сыт. Избалован корабельной едой. Кормили их прекрасно. Фрукты — в изобилии.

Смешной случай — как-то в тропиках купил он для камбуза мешок картошки. Оказалось — там апельсины... Обманули!

Домашняя еда его не соблазняла. Однажды подала ему Клавдия что-то особенно лакомое,

а он не доел, оставил на тарелке. После увидел в зеркале, как она, крадучись, ела оставленное... Мысль о том, что Клавдия недоедает, царапала душу, но он утешал себя, что скоро все наладится. Ведь жизнь с каждым годом становилась лучше...

Все-таки он ей помогал. Взял, например, с собой в плавание кота. Чтобы ей было полегче. Прокормить кота было проблемой.

Кота звали Шах. Красавец, редкостной масти: темный, но не черный, лиловато-коричневый, с бежевыми подмышками, явно ангорских кровей. Не хвост — опахало. Из-под кровати — почти на полкомнаты. Царский хвост.

Кот был капризный, причудливый. Не ел ничего, кроме сырой рыбы. А ее достать было негде. По карточкам давали, но редко. Коту наплевать было на карточки, он орал: рыбы, рыбы! Измучилась с ним Клавдия. Сперва надеялась, что Шах, проголодавшись, начнет есть другое. Не тут-то было! Кот оказался стойким. Приходилось покупать рыбу на рынке по безумной цене.

Федор взял Шаха с собой в плавание. Кот сначала хандрил, страдал морской болезнью, даже не во время качки, а в предчувствии. «Федькин кот травит — быть шторму!» — говорили товарищи. Потом пообвык, обжился, стал любимцем команды и кока, баловавшего его рыбкой...

Разборчив в еде, разборчив в привязанностях. Хозяина своего не любил. Был суров. Широкое в висках, суженное книзу лицо напоминало Клавдино. Загадочный желтый взгляд с вертикальной щелью зрачка... Кот словно шпионил за хозяином — так ли себя ведет?

А он вел себя как обычно. Была у него на пароходе буфетчица Нюра — милая женщина лет

тридцати. Шах — агент Клавдии — невзлюбил Нюру. «Боюсь я твоего зверюгу», — говорила она. И не зря. Однажды, когда они мирно забавлялись в каюте, откуда-то сверху бросилось на них черное тело с растопыренными когтями. Исцарапал, искусал котище их обоих.

После того в одном из портов продал Федор кота-шпиона французскому матросу с помпозной шапкой, соблазненному редкостной мастью. И взял-то всего ничего. Вернувшись в Ленинград, соврал Клавдии, что кот сбежал сам, пленившись роскошной жизнью за рубежом.

А Нюра после происшествия в каюту к нему больше не заходила. «Кончен бал, погасли свечи», — сказала.

Ну что за ерунда помнится? Какая-то Нюра, какой-то Шах...

Лежать было мучительно. Выйти, выйти, выйти из своего тела! Оставить его лежать, а самому выйти.

Физической боли не было. Все тело — как будто под местным наркозом. Но лучше бы уж она была. Боль — это жизнь.

Тоска — это не боль. Это хуже боли.

Он спасался от тоски, уходя в детство. Но и оно было на исходе — вот-вот кончится. Кончилось, в сущности, когда переехали в Петербург.

7

Почему переехали? Он этого толком не знал. Какие-то неприятности с папой. Отрывки разговоров: папа был «красным», его выследили...

Папа — красный? Странно. Красным-то он его никогда не видел. Скорее жемчужно-желтым, под стать его редющей шевелюре. «Красный». «Выследили». Вроде страшной сказки.

Причиной были какие-то «опасные связи», как, смеясь, пояснял папа. «Опасными связями» были, наверно, чужие дяди, эстонцы и латыши, приходившие ночевать. Мама сама стелила им постели, взбивала подушки, любовно похлопывая каждую по животу маленькой, но сильной ладонью.

Все это он подслушал в разговорах старших. Начал, значит, уже подслушивать. Из тех же разговоров узнал, что папин с мамой знакомый, Лев Львович (Федя с Варей его звали «дядя Лилевич»), обещал в столице какую-то «протекцию».

Собрались, уехали. Дорога совсем выпала из памяти.

Первое впечатление от Петербурга — серость. Все было серым: и дома, и небо, и мостовые. Шел дождь, вещи мокли на перроне, Федя с Варей жались к маме под зонтик. Со спиц текла вода. Это, верно, и была «протекция»...

Новая, необжитая квартира, где так неуютно вещам. Жмутся друг к другу, холодно им. Окна — на улицу, низко, почти на уровне тротуара. Блестит мокрый булыжник. Ломовики, телеги, скрип колес, цоканье подков. «Но!» — крик возницы. Он бородат, неприветлив.

На углу вывеска: «Ф.М.Уваров. Дамский портной». Тускло-золотой крендель: «Булочная и кондитерская». Из водосточных труб хлестала вода. Мокрые голуби хохлились...

Не полюбился ему Петербург. Сразу — тоска по родине, по башням, каштанам, церковным

шпилям. Здесь и церкви были другие — круглоголовые. И звонили-то они не так. Там — мерно, однозвучно, торжественно, все на одной ноте: дон-дон-дон. Здесь — суетливо, на разные голоса: дили-дон-дон-дон, дили-дили-дон. Мама объяснила ему, что это называется «благовест». Не понравился ему этот благовест.

Вспоминая родное, покинутое, рисовал привычные пейзажи: желтые с черной крышей, зеленые — с красной дома, — хотя здесь все было замуровано в серый камень. Рисовал море с цветными парусами, толстые башни, стройные шпили... Как будто нарисованное могло вернуть все то, что любил.

Новые впечатления. Вместо привычной эстонки Зальме — кухарка Матреша, толстая, красная, лицо как раковая шейка. Зевала, крестила рот, говорила: «Господи-батюшка, помилуй, отец, по грехам нашим». Любила петь песни. Одна — всем известная «Маруся отравилась». Другая — он ее ни от кого больше не слышал, кроме Матрешы. Мотив с завитушками, а слова такие: «Любила я, страдала я, а она-подлец-а-забыл меня». «Подлецом», видимо, был друг Матрешы китаец Ходя. Длинная коса, мягкие туфли на высокой войлочной подошве, доброе, но загадочно-раскосое лицо. Ходя торговал с лотка вырезными игрушками из папиросной бумаги. Яркие — ядовито-розовые, голубые, лиловые, аккуратно сложенные гармошкой. Развернешь гармошку — и сразу шар! Интересно. А еще интереснее были зернышки, с виду невзрачные, беловатые, как лимонные семечки. Их надо было размочить в теплой воде — тогда они разбухали, становились слоника-

ми, обезьянками, человечками. Когда Ходя являлся в дом, к Матреше в ее комнатку при кухне, у детей, Феди с Варей, был праздник: каждый раз что-нибудь им перепало. Ходя говорил: «Бели, даю» (бери, дарю). Кажется, это были единственные русские слова, которые он знал. Добрый! Однажды Федя прямо спросил его: «А почему вы подлец?» Китаец не понял и мелко-мелко закивал головой, как игрушечный. Были тогда в обиходе игрушки: фарфоровые китайцы. Голова, вставленная шеей в круглую дырку, не закреплена, качается. Ставился такой китаец на комод или шкаф и кивал-кивал... Точь-в-точь Ходя.

Ходя не говорил по-русски, а Матреша, естественно, по-китайски, но как-то они договаривались. Наверно, любили друг друга, хотя он, подлец, и забывал ее и часто подолгу не приходил. Тогда Матреша распухала от слез и вся исходила пением.

Матреша с Ходей — первый случай любви, с которым он встретился в жизни. Он понял, что любовь — нечто опасное, роковое, горестное. Матрешина любовь кончилась ужасно — она умерла. Загадочно, в страшных мучениях. Никто из докторов не мог спасти. Как в песне про Марусю, которая отравилась:

Свезли ее у больницу,
Поклали на-а кровать,
Два доктора с сестрицей
Старались-я спасать.

Не спасли. Из разговоров старших (опять подслушивал) понял: смерть Матрешы как-то

была связана с ее любовью, с Ходей. Теперь-то Федор Филатович понимал, что умерла она от неумелого, кустарного аборта, но тогда был убежден, что от самой любви, что любовь — страшная и опасная болезнь, от которой умирают...

Не было ли это предупреждением — в самом начале жизни! — чтобы не шутить с любовью? А он шутил, играл... Впрочем, не надо об этом. Лучше опять разматывать нитку памяти о детстве — пусть рваную, всю в узелках.

Было и хорошее в Петербурге. Например, электричество. Там, дома (дом все еще был «там»), были керосиновые лампы (чуть недосмотришь — коптит), потом — керосинокалильные, с белой горелкой, казавшиеся чудом. А здесь электричество! Лампочки «Осрам» с зубчатой сияющей нитью. Интересно было забраться на стул, повернуть выключатель — и сразу светло! Любил забавляться светом, хотя это и было запрещено. Его частенько дергало током — то ли проводка была неисправна, то ли руки мокры. Ощущение дрожи, какой-то трели в руках при ударе тока не было неприятным.

Уже тянуло на запрещенное... Но все-таки «еще нет»...

Понемногу обживались на новом месте. Появились даже приятели во дворе. У него — мальчики Мишка и Титка, у Вари — девочки Нюшка и Душка. Играли порознь, мальчики с мальчиками, девочки — отдельно.

Мишка с Титкой были смелые, боевые, метко плевались, искусно подбрасывали деревянного «чижика». Не прочь были ругнуться, и довольно

крепко. Дома у Азанчевских ругань была строжайше запрещена; вместо «черт» дети, даже наедине, говорили осторожно: «на букву че». «Пусть тебя на букву “че” возьмет». А тут, во дворе, Мишка с Титкой такое выдавали, что дух захватывало. Многие из этих слов он слышал впервые и не понимал. Попробовал как-то спросить: «Что это значит?» — но был беспощадно осмеян. Глядя на Мишку с Титкой, начал поругиваться и он, сначала робко, а потом все увереннее. Варя слушала его с ужасом, но, конечно, не ябедничала.

Мальчики играли в лапту, в казаки-разбойники, в рюхи. А у девочек шли свои игры. «Вам барыня прислала в туалете сто рублей. Что хотите, то купите, “да” и “нет” не говорите, черного и белого не называйте...» Он куда охотнее играл бы с девочками...

Иногда вся компания — мальчики и девочки — объединялась. Шла какая-то игра, правил которой никто не знал. Ссорились, пререкались. Варя особенно была непонятлива, к тому же — плакса. Звали ее во дворе Варька-Харька, наверно, за некрасивость. Он за нее не заступался, напротив, еще больше ее ущемлял...

Все «еще нет», хотя и помраченное, потесненное будущим «уже да»...

Главное — талант. Его он еще не промотал.

В углу двора была яма, его собственная, он ее открыл, держал в тайне. С виду яма как яма, но стенки из плотно слежавшегося, почти окаменелого песка. Уже не песок, еще не песчаник. Его легко было рубить, ковырять ножом, обтесывать щепкой. Из этого полукамня-полупеска

он выделял фигурки. Карикатурные портреты Мишки и Титки, Ньюшки и Душки, сестры Вари с ее косичками, с надутой, выпуклой верхней губой. Увидев эти фигурки, учитель рисования Яков Андреевич, папин сослуживец, сказал: «Да у вас талант!» Первый раз в жизни его назвали на «вы». Это «вы» от взрослого, немолодого человека, да еще в сочетании со словом «талант», так и екнуло у него в груди. «Вам нужно серьезно учиться, — сказал Яков Андреевич, — хотите, я вас рекомендую в школу Штиглица?»

Что за школа такая? Ни в какую школу он не хотел. Помотал головой. «Впрочем, вам еще рано, — сказал Яков Андреевич, — перед вами вся жизнь».

И в самом деле, перед ним была вся жизнь. Мог ли он тогда вообразить, что она пойдет ступенями не вверх, а вниз, в дешевку? Что кончит он ее отставным моряком, отставной козы барабанщиком, собственно говоря — никем? Стариком, праздно гуляющим по бульварам родного города с мешочком голубиного корма? Изрядно выпивающим, любящим свою жену Дашу, забывшим свою жену Клавдию, не помнящим имени младшего своего сына? И в конце концов — неподвижным мешком, бесчувственным телом, праздно лежащим на тахте в ожидании смерти? Смерть, ранее для него нереальная, становилась неизбежной. О ней на разные голоса твердил ненавистный кран. Голоса были разные, а слово одно: “waste”. Спасаясь от смерти, он нырял опять в детство, но оно его выталкивало.

Только представить себе мамины руки — нежные, мягкие, в кольцах. Как отрадно зарыть-

ся в них лицом, перебирая губами кольца. И тут же высовывалось будущее: много позже, в голодное время (то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году), эти кольца обменяли на продукты. На муку, на крупу, на воблу. И мамины руки стали уже другими. Огрубелые, со въевшейся под ногти сажей. Нет, не надо об этом. Дайте, дайте еще покачаться в детстве, на волне маминого поющего голоса. Пусть споет ему колыбельную: «Спи, дитя мое, усни...» Если кто может спасти его, уберечь от смерти, так это она. «Мама!» — взывал внутри себя Федор Филатович. Но ее не было. Не только здесь — нигде. Умерла от голода в блокаду. Как многие, многие другие. Где-то на Волковом кладбище похоронила ее Клавдия. Не могила — просто «место захоронения», как теперь говорят. Умерла зимой, в лютый мороз. Земля — каменно-твердая. Вернее всего, и не долбил никто землю, чтобы закопать маму. Просто привезли ее на саночках, зашитую в одеяло, как многих, многих других. Привезли и оставили. Так, без гроба. Это отсутствие гроба он ощущал как свою вину. А что он тогда мог сделать? Его и не было под Ленинградом. Перевели на другой участок фронта. Солдат себе не хозяин.

И все-таки виноват, кругом виноват. И если сейчас мучается, лежит немой, неподвижный, то это справедливо.

Это — за маму.

Нет, гнать такие мысли. Опять вспоминать. Мотать нитку прошлого. Думать о детстве. Оно, собственно, уже проходит, но еще теплится. Раздувать его, пока не погасло.

Первое лето после переезда. Сняли дачу на Сиверской. Река Оредеж. Темная, торфяная вода, пиявки у берега, множество кувшинок. Не кувшинок — водяных лилий. Белые, душистые, с ярко-желтыми, шафранными сердцевинами. Стебли — как резиновые шнуры, держат, не пускают. Варя их боится, говорит: змеи. Он-то не боится. Смело плавает у самого омута, собирает лилии. Дома он их поставит в воду. То есть в плоскую миску, где они еще распустятся на плаву. Мама их любит — это ей.

Дома всегда полно было цветов — и полевых, и садовых. А на дни рождения мамы и папы (оба родились в июле) дети тайком от героя дня украшали стол. Венками, гирляндами, пучками ягод... Рано утром все это делалось. Родители еще спали, солнце вставало, чирикали птицы. Оранжевые лучи пронзали воздух. Крадучись, крадучись, на цыпочках украшали они стол. Он командовал, как всегда, Варя помогала. Потом снова ложились. Но не спали, толкали друг друга, боясь пропустить минуту, когда виновник торжества выйдет, увидит стол и — ах!

Вот тебе и — ах! На другой день после маминного рождения — ударом грома — война!

Первая мировая. Тогда она еще не звалась первой. Еще и помыслить никто не мог о второй. Была просто война. С немцами, с австрияками.

Петербург, кажется, сразу стал Петроградом. Запомнился спор кого-то из взрослых: а как будет с Петербургской стороной? Будет ли она тоже «Петроградской»? Один из спорящих очень настаивал, чтобы нет. «Вы только послушайте, как

это звучит: Петербургская сторона Петрограда! Прелесть!»

От первых дней войны мало что осталось в памяти. Поспешный отъезд с Сиверской. Поезд переполнен, осажден, даже на крышах сидели. Какой-то матрос жевал булку. Знакомый начальник станции устроил их в служебный вагон, переполненный сверх меры. Федя мучительно хотел ехать на крыше...

В городе — манифестации, бело-сине-красные флаги, хриплое пение «Боже, царя храни!». Какой-то человек, забравшись на фонарный столб, кричал надсадным голосом: «Долой самодержавие!» Его сдернули, кажется, растоптали...

Домой, скорей домой! Дома, слава богу, все как будто по-прежнему, только серее, тусклее, темнее. Даже уютный двор с заветной песчаниковой ямой в углу съезжился, насторожился. С этих дней осторожно омрачилось детство. Оно еще билось, трепетало, вздрагивало, но было обречено.

Война. Что это значило? После первых дней, с мобилизацией, криками, флагами, все словно бы притихло, вошло в свою колею. Война шла там, на западе, в отдалении; в тылу она почти не чувствовалась. «Не то что Вторая мировая, — думал Федор Филатович, — которая сразу же охватила, озаботила всю страну».

Но для него лично начало войны отмечено одним фактом. Именно в эти дни он потерял веру.

Не то чтобы он очень был религиозен. Их с Варей воспитывали по традиции: учили молитвам, водили в церковь, не очень часто, но и не редко. Перед Пасхой они говели, исповедова-

лись, причащались. Это он любил, особенно вкус красного вина пополам с водой, «теплоты», которой запивали причастие. В церкви хорошо пахло, иконы и хоругви сияли. Про двухвостую хоругвь он однажды спросил маму: «А что это: батюшка свои штанишки на палочке развесил?» Соседи, стоявшие рядом, очень были шокированы, а мама ничего, даже смеялась. Совсем ничего было бы в церкви, если б не приходилось так долго стоять.

Так вот, когда началась война, пришлось ему быть в церкви на молебне. Он услышал, как батюшка молился «о ниспослании победы православному русскому воинству». Думал об этом, что-то варил в себе. По дороге домой спросил маму:

— А что, австрияки тоже молятся, чтобы Бог послал им победу? (Почему-то главным врагом в его представлении были не немцы, а австрияки.)

— Наверно, молятся, — легкомысленно ответила мама. — А что?

— У них Бог другой, не тот, что у нас?

— Нет, тот же самый.

— Так откуда же он знает, кого слушаться: нас или их?

Мама засмеялась, но ничего внятного не ответила. Оказала что-то вроде: «Он сам разберется».

Федя пришел домой, взял лист бумаги и написал на нем: «Бога нет». Сам испугался: а вдруг все-таки есть и накажет? Ударит гром? Не ударил.

Кошунственный лист бумаги — «Бога нет» — Федя запер в свой ящик шкафа. У них с Варей было по ящику и по ключу, чтобы было куда прятать свои сокровища и чтобы никто не знал. Варей

он ничего не сказал про австрияков и Бога. Но через некоторое время признался маме, что написал и почему. Мама отнеслась к этому спокойно. Во всяком случае, не рассердилась.

— Вот ты, значит, до чего дошел, — сказала она. — Не рано ли?

— Это ничего, — спросил он, — что я так написал?

— Ничего, — ответила она. — Знаешь, я ведь сама язычница.

Мама — язычница? Вот это да! Из книг он знал, что язычники поклоняются идолам.

— Где же твои идолы? — спросил он.

— Какие идолы?

— Которым ты поклоняешься.

Мама опять засмеялась.

— Мои идолы — вы с Варей. Да и то когда хорошо себя ведете. А вообще я поклоняюсь жизни.

Это он понял. Это он принял.

— Я тоже хочу поклоняться жизни.

— Валяй поклоняйся. Только Варе ничего не говори. Она еще маленькая.

Он не сказал. Это был их с мамой секрет. Что Бога нет, а есть жизнь.

Следующим летом он много ее повидал, жизни. Несмотря на войну, съездили с мамой и Варей на юг, к теплому морю. Сняли дачу возле Одессы, на каком-то «фонтане» (на самом деле никакого фонтана не было). Купались, ловили медуз, морских коньков. Собирали цветные камешки, полупрозрачные, похожие на леденцы. Мама украшала ими свои изделия: ридикюли. Ридикюлем тогда называли дамскую сумку. По-французски “ridicule” значит «смешно». И вправду смешно: там война, а здесь — ридикюли.

Это лето он поклонялся жизни как никогда. Дача была светло-желтая, веселая, из шершавого камня-ракушечника, вся оплетенная снизу доверху диким виноградом, и стояла она над обрывом. А скат обрыва сплошь зарос серебристой маслиной. При ветре кустики ершились, выворачивая листья, становились еще серебрянее. В пасмурные дни серебряным было и море. По вечерам оно светилось: искорки поднимались от опущенных в воду рук.

Последний островок детства. Еще по-своему безмятежный, но уже омраченный, уже озабоченный. Кусачее слово «дороговизна». Даже малые дети, игравшие на пляже в песочек, заламывали за свои пирожки непомерные цены. Огненно-красные закаты каждый вечер тревожно охватывали небо, а потом, уже в темноте, наступавшей мгновенно, скрещенные лучи прожекторов из конца в конец его обшаривали. Что ни говори, как от нее ни прячься — шла война.

А осенью еще новый этап: он поступил в гимназию, в первый класс, минуя подготовительный. Читать и писать давно умел: они с «пумпочкой» шутя одолели грамоту, первые правила арифметики... Сначала с гордостью носил форму, фуражку с гербом, ворсистый ранец, обшитый тюленьей шкурой, но быстро разочаровался. В гимназии было скучно. Главным предметом было чистописание. Писали черными, «орешковыми» чернилами в тетрадах «гербач». На обложке — мужская рука, правильно держащая вставочку. Вероятно, владелец руки был тот самый «гербач». Он его ненавидел, этого «гербача», кто бы он ни был, с этой рукой в крахмальной манжете! На-

жим, наклон, волосяная линия... Сколько часов шло на их выделку — страшно подумать!

А кляксы? Случайно упавшая с пера капля чернил могла свести на нет усилия целого дня. Искусники ухитрялись языком слизнуть кляксу и запудрить ее мелом так, что и следа не было. Он не умел, да и не хотел. Тройки и кляксы, кляксы и тройки... Не они ли встали навсегда между ним и учеьем? Нынешние дети — счастливые! — пишут шариковыми ручками. Ни волосяных линий, ни нажимов, ни клякс. Может быть, если бы дали ему тогда шариковую ручку, вышел бы из него ученый? Нет, все равно не вышел бы.

Кроме чистописания, противно было петь в хоре. Неосторожно обнаружил перед учителем пения свой голос и слух. Включили его в сборный гимназический хор, певший по торжественным дням, по разным «тезоименитствам» в присутствии важных гостей. Бесконечные спевки: «Еще раз!» Ненавидел самый звук регентской палочки, ударяющей о пюпитр: «Начали!»

Товарищи его не любили, случалось, и поколачивали. За что? За то, что не похож на других, не такой, как все. За то, что отлично знал немецкий (это выяснилось на уроках немецкого языка). Дразнили его: «Немец, перец, колбаса, кислая капуста, съел селедку без хвоста и сказал, что вкусно». За то, что «маменькин сынок», «неженка». За то, что не умел драться... «А ты давай сдачи!» — советовал папа. Попробуй дай сдачи, а они — ремнем, даже пряжкой...

Один раз совсем вышло плохо: избитый, заплаканный встретился классному наставнику. Тот спросил: в чем дело? Рассказал. Стали его

звать в классе фискалом. «Фискал, по Невскому кишки таскал!» Очень даже глупо. Он ведь не сам нафискалил, учитель его спросил! Совсем стало ему худо.

Озлобился. Понемножку выучивался «давать сдачи». Однажды даже нос разбил главному своему врагу, Бурнакову. Оставлен был после уроков. Нацарапал гвоздем на стене: «Бурнаков дурак». Изобличили, опять наказали.

В общем, невесело было в гимназии. Главное, никто им не восхищался, никому не было до него дела. А он привык к восхищению. Искал прибежища у мамы, она говорила: «Потерпи! Видишь, время какое».

Время и в самом деле было тревожное. Война. Снарядов нет. В разговорах взрослых мельтешили слова: «дума», «Распутин», «Протопопов», «Штюрмер», «измена». Измена шла от царицы. Не все слова он понимал, но вместе они дышали грозой. Все чаще слышалось: «Дело идет к революции...»

Папа, «красный», конечно, был за революцию. Мама, более осторожная, за реформы (хотя и взбивала подушки «красным»). Он, разумеется, в душе был за маму, хотя и не знал, что такое «реформа». Гимназическая форма? Реформа? Нота «ре» перед формой? Все-таки мало был развит для своих лет...

Около того же времени он в первый раз влюбился. Прочел книгу «Пан» Гамсуна и решил, что пора. Только в кого? Девочек в ближайшей окрестности было две — Нюшка и Душка. Выбрать из них одну было трудно, потому что близнецы: были почти одинаковые. Когда стояли рядом, можно еще различить, а порознь — хоть убей! Обе то-

щенькие, белобрысые, с одинаковыми косичками, одинаковым петербургским говором («у папи», «у мами», «Фильянский вокзал»). Не красавицы. Но что делать? Он все-таки выбрал Душку и влюбился. Вероятно, сыграло роль имя (на самом деле она была Дуня, а Душкой стала для рифмы с Нюшкой). Так или иначе, он некоторое время был влюблен и даже носил Душке монпансье в спичечной коробке. Она жеманилась, говорила «кушайте сами», но брала. А он-то старался изо всех сил, даже как-то видел Душку во сне, вместе летали. Очень гордился своей любовью. Посвятил в нее Варю. Та отнеслась серьезно, но сказала: «Тебе еще рано жениться». Решили подождать, он и сам понимал, что рано и вообще — игра.

Однажды случилось недоразумение: он отдал коробок с леденцами Нюшке, по ошибке приняв ее за сестру. Душка обиделась, а он после этого ее разлюбил. Не мог снова полюбить, как ни старался. Варя сказала: «Ты не виноват».

А жизнь тем временем становилась скуднее, строже. Электричество гасло все чаще: «забастовка». Трамваи останавливались с поникшими дугами. То одного не хватало, то другого. Отпустили кухарку. Мама стала готовить сама. Говорила: «Было б из чего». Пока что — было.

А почему было — это целая история. Продукты привез из провинции тот самый Лев Львович («Лилович»), который папе сделал «протекцию». Толстый хохотун и делец, владелец автомобиля (тогда это было редкостью), с сияющей головой, стриженной под «нулевку». Привез два мешка крупчатки, пуд сала, не-

сколько колец колбасы, битых гусей, еще что-то... Мама стеснялась, не хотела брать. Тот целовал ее руку, смеялся, говорил: «Когда-нибудь рассчитаемся».

Вечером — подслушанный разговор папы с мамой. «Твой поклонник», — говорил о Лиловиче папа. Первый раз Федя услышал, как папа с мамой ссорились. Это его ужаснуло! Думал, что такого просто не может быть. И тут — любовь, на этот раз Лиловича к маме. Папа требовал, чтобы Лиловичу отдали «весь провиант». Но того уже не было в Петрограде — опять уехал...

Запомнилось потому, что впервые осознал неполное единство папы с мамой. Конечно, был всей душой за маму. Подумаешь, «поклонник»! Хотя Лиловича не любил.

Пока что не голодали. Но все чаще, угрозой из будущего, слышалось слово «голод».

Он-то в него не верил. «Ну, что за голод такой, — сказал однажды, — я, например, согласен есть только хлеб». Отец посмотрел на него голубым, критическим взором и сказал: «Голод — это как раз когда нет хлеба».

Нет хлеба? Такого нельзя было себе представить. Хлеб — он есть всегда, с ним едят остальное, даже принуждают: «Ешь с хлебом!» Но вскоре пришлось понять, что это значит: «нет хлеба». На долгие годы вперед... Понял хорошо, недаром крошил корки в «голубиный мешок», не выкидывал...

«Нет хлеба» — это, раньше всего, очереди у булочной с покосившимся кренделем. Стояли сутками, хлеба не было. Очереди шумели, бунтовали, буйствовали. «Попили нашей кровушки, злодеи!» Кто-то запустил в витрину булыжником,

она растреснулась колючей звездой. Окно заколотили досками. А очереди все росли и с каждым днем шумели громче. Шум проникал даже сквозь замазанные окна...

А во дворе — вражда. Теперь бы сказали «классовая». Приятели, товарищи детских игр, Мишка и Титка, худые, повзрослевшие, жаловались: «Жрать охота», а его больно толкнули в спину: «Проваливай, буржуй!» Он-то знал, что это неправда. Буржуем был Лилович с автомобилем, крупчаткой, кольцами колбасы. Но Мишке с Титкой этого не объяснишь. Для них и он буржуй, и Варя буржуйка...

Город тревожился, бурлил, негодовал. Через мосты валили толпы с песнями, с красными флагами. Это называлось тогда «беспорядки». Он-то сам не видел, а рассказывали, что казаки с шашками, с нагайками разгоняют толпу, убивают, топчут. Политика была в воздухе, ею дышали. Даже в нелюбимой гимназии спорили о ней...

Кажется, той зимой убили Распутина. Фигура зловещая, загадочная. Мрачный колдун, присосавшийся к трону, творящий там, наверху, свое черное дело. И вот — убили. Не просто убили, а трижды: отравили, застрелили, утопили. Колдун был бессмертен. Не исключено было, что он и из реки, из-под невского льда воскреснет — невредимый. Варя просыпалась ночью, будила брата, шептала: «Боюсь Распутина». А он, Федя, старший и умный, убеждал ее, что бояться нечего. Что белое с черной бородищей на спинке стула — не Распутин вовсе, а брошенная одежда... Он даже шлепал босыми ногами по холодному полу к тому стулу в углу, чтобы, подняв со спинки

висящее, показать Варю: «Смотри, я его истребил!» Варя, успокоенная, засыпала, шмыгая зареванным носом.

...Белая рубашка на спинке стула. Кошачье-мефистофельское лицо. Сын Петр. Приходил, чтобы отомстить. И прав: такому отцу следовало мстить. Отделался, освободился, забыл. Крошки берёг, сыновей потерял. Как же все-таки звали младшего? Федор? Нет, не Федор. Имена даются людям, чтобы их различать...

Привязался же он ко мне — безымянный! И, возможно, никого из них нет в живых — ни Клавдии, ни Петра, ни младшего, как бы его ни звали. Зачем же так мучиться? Но мука приходит, не спрашивая зачем.

9

Главной мукой была неподвижность. Раньше он хоть падал. Напрягая все силы, мог сдвинуться к краю тахты, свалиться на пол. Все-таки перемена. Теперь и это было недоступно. Билось в нем, не умолкая: куда угодно, куда угодно — хоть на пол, хоть в смерть.

Ночные мысли, путанные воспоминания скрипели. Дверь в прошлое не открывалась.

Главное, и перелома-то не было. Постепенно, крадучись подползало к нему разорение. То, что когда-то называлось «банкротством». Вот сейчас, перед воротами смерти, он сознавал свое банкротство. Нечем заплатить за вход.

Резче скрип: приоткрылась дверь в прошлое. Смотрю, слушаю.

...Дымный, туманный, лиловый конец зимы. Поземка на мостовой. Мечется снег, перебегая с места на место. Февральская революция!

Сперва она называлась не «революция», а «забастовка». Всеобщая. Стояли трамваи в клубящемся зимнем дыму. По вечерам жгли свечи. Пахло Рождеством.

Слово «революция» укрепилось не сразу. К ней «шло дело» и вот — пришло. Царь отрекся в пользу Михаила, Михаил — в пользу народа. Народ, значит, и будет править? Странно. Народ не один человек. «Портрет народа» будет висеть в гимназии, где раньше висел царь?

Революцию встретили ликованием. Незнакомые люди на улице обнимались, христосовались, плакали. Все надели красные банты. Варя из своих, для косичек, подарила по банту Нюшке и Душке. Ему тоже подарила, он носил. Мчались броневики, набитые солдатами, ошестиненные ружьями, — железные ежи. Впереди — красный флаг на высоком древке. На ветру древко гнулось.

Какая-то подруга пришла к маме. Радовалась, умилялась, рассказывала: шла мимо сквера, на скамье развалился солдатик. Спит, родимый! Слава богу, слава богу! И крестилась. Тут раздался на улице выстрел. Всполошилась, закудахтала... Куда-то ее спрятала мама. Сама она выстрелов не боялась. Язычица... Глядя на нее, не боялись выстрелов и дети. То и дело щелкали они, то поодиночке, то очередью: тра-та-та-та!

Квартира — на первом этаже, окна — на улицу. Если очень уж разыгрывалась стрельба, мама уводила детей на кухню. Его укладывали на сун-

дуке, Варю — на мучном ларе. Ничего не было страшно. Мама смеялась, и они с ней. Окно кухни выходило во двор. Там совсем было лилово. Задирали ноги, прикрепляли к ним флаги, пели: «Отречемся от старого ми-и-ра!» Весело было отрекаться.

А однажды пуля — про нее мама сказала: «Шальная» — пробила окно в столовой. Остала в стеклах — наружном и внутреннем — разных размеров дырки. Наружная — четкая, круглая. Внутренняя — с трещинами через все окно, от рамы до рамы. Пулю искали, но не нашли. Вдвоем с Варей, ползая на коленках, обшарили все углы. Темный паркет, запах мастики, пыли, стеклянная крошка — а пули нет. Так и не нашли. Очень досадно. А ему нужна была пуля. Показал бы ее Мишке с Титкой: «Чуть меня не убила!» Сразу увидели бы, что не буржуй.

А вот еще один вечер. «Черный вечер, белый снег» — по Блоку... Ужасный шум на улице. На этот раз не выстрелы — крики. Кого-то бьют. Ругань, слышная через закрытые окна.

Оказалось, по соседству толпа громила винный склад.

Как он очутился на улице и с кем? Не запомнил. С папой? Нет. С мамой? Тоже нет. Но кто-то из взрослых стоял рядом, держал его за руку.

Разбитые бочки. Клепки, обручи на мостовой. Хлынувшая на мостовую кровавая жидкость. Люди набирали ее в манерки, кувшины, банки. Дрались, толкались, ругались...

И вдруг окрик: «Разойдись, стреляю!» Свист пуль, пулеметная очередь — и толпа разбежалась...

Что еще? Митинги, плакаты, воззвания. «Голосуйте за список № 21». Что это был за список? Кадеты, что ли? Нет, не кадеты. На одном из плакатов — усатая рожа городского. Хитро улыбается, сдвигает красную маску... Кто агитировал, против кого? Уже не восстановишь. Все, кто мог помнить, умерли. Кладбище воспоминаний. Все глуше, все бесследнее умирает память. Люди умирают, и воспоминания с ними. Я умру, и все, что я помню, умрет со мной.

...Борьба партий бурлила в воздухе. И они с Варей «подключились», как говорят сегодня. Основали свою собственную партию, называлась «Партия освобождения детей». Разработали программу в десяти пунктах. Помнит только два: «Долой власть родителей!» и «Да здравствует самоопределение!». Что именно значит «самоопределение» — не знал, но звучало красиво.

Агитировали за свою партию: выходили на улицу с развернутым на двух палках плакатом. «Голосуйте за список № 0!» — такой круглый номер (он еще не был занят) присвоили они своей партии. Уместили на плакате все десять пунктов программы, правда, мелким шрифтом. Подписано было: «Фракция детей».

Кончилось позорно: какой-то дядька в солдатской шинели без погон вырвал у них лозунг, растоптал его, сказал: «Домой идите, титьку сосать!» Пошли.

А дома — полная неразбериха. Папа за эсдеков-большевиков. Мама осторожно держалась вне партий. Кто-то из гостей был вообще анархистом; их доводы казались самыми убедительными: «Долой все!» Лилович был октябристом, кажется, так. Октябрист — значит за октябрь? Не-

понятно. Все время разговоры об Учредительном собрании («как о втором пришествии», — сказал папа). Он-то в пользу собрания не верил...

А у них с Варей было свое учредительное собрание — под старой липой в саду. Дуплистая, искривленная, залатанная бурым железом. Сидели под липой и серьезно молчали. «Самоопределялись»...

Все труднее с продуктами. Чай с сахарином. Лепешечка долго не тает, надо ее долбить ложкой. Когда пьешь — какой-то противный, лживый вкус во рту. Хотя и сладко — обман.

Вечера без электричества, при свечах. Радужный нимб вокруг каждого огонька. Сощуришь глаза — и во все стороны брызгают иголочки света. Танец морских звезд. Темнота, как вода, и в ней — звезды. Лучики путаются в Вариных косах. «Дети, пора спать!»

Вести с фронта: солдаты не хотят воевать, братаются с немцами. «Вот тебе и единая, неделимая!» — скрипит Лилович. Он в галифе, в кожаном френче, бритая голова блестит... Ему возражает папа, рубя воздух узкой рукой: «Ваша единая, неделимая — колосс на глиняных ногах!» Вижу глиняные толстые ноги...

В гимназии объявили забастовку. Счастливы: не надо ходить на уроки.

Крошево какое-то вместо воспоминаний. Вспоминают же другие — связно, логично. Или потом придумывают? Если не придумывать — трудно. А он как раз решил ничего не придумывать.

...Этим летом никуда не ездили. Копались во дворе с Варей. Свели знакомство с семьей ворон. «Кооптировали» их в свое учредительное собра-

ние (слово «кооптировать» очень нравилось). Сидели, молчали под залатанной липой, а у ворон был перманентный митинг. Орала ораторы. Был убежден, что «оратор» — от слова «орать»...

Нашли в липе незаколоченное, трухлявое дупло. Сложили туда свои сокровища: коллекцию цветных стекол, морские камешки, песчаниковые фигурки, Варины стихи. Он украдкой положил туда же секретный лист: «Бога нет». Каждый написал завещание. Смерть казалась чем-то естественным: слишком много было ее кругом. Не боялись они смерти, нет. Скорее всего, в нее и не верили, как большинство детей, но разговоров о ней не избегали. Я убит, ты убит, он, она убиты...

Осень подошла мраком, дождями. С ветвей липы текло. Все длиннее, шумнее очереди у булочной. Выкрики, гам, людские потоки (рабочие с Выборгской). Снова и снова выстрелы. Цоканье пуль в темноте. Брызги разбитых стекол (на этот раз — два окна). Ничего еще не было понятно. Слово «большевики», произносимое по-разному: кем с надеждой, кем с ненавистью. Люди приходили растерянные. Роптали, негодовали, кому-то грозили. Лилович совсем пропал.

Учредительное собрание наконец-то созвали, но сразу же разогнали. Тем упорнее сидели они с Варей под липой, храня от разгона свое, маленькое. Вороны охрипли, крича. С ветвей капало, падало. Вороны прыгали, орала. Ничего не было понятно. Папа где-то пропадал, а когда был дома, спорил с кем придется, рубил воздух ладонью, говорил о «тотальном счастье всего человечества». Феде очень нравилось слово «тотальное». Мама держалась молодцом, посмеивалась, когда другие дамы плакали.

«Тотального счастья» покуда не было видно. Еда становилась хуже, скуднее. Нельзя было купить дров, да и вообще ничего. Разве на рынке, по бешеным ценам. Цены кусались, как собаки. Все это называлось звучным словом «разруха». Как удар топора: раз-руха!

10

Задавленный мусором, немой, неподвижный, Федор Филатович лежал в личной своей разрухе. На грудь ему давила тяжелая, выброшенная из окна фаянсовая раковина, а на кухне непрерывно бормотал кран. Это бормотание сливалось с криком митингующих ворон. Очень это было тяжело, очень. В воспоминаниях уже не было ничего отрадного, но он был к ним прикован, обречен. Надо было понять, отчитаться, хотя бы перед собой. Память мешала, путалась. Было когда-то такое развлечение: бег в мешках. Люди путались, спотыкались, падали, смеялись. И он сейчас бежал в своем мешке, но не до смеху ему было.

На чем же мы остановились (он в мыслях все время сбивался. переходил с «он» на «я», с «я» на «мы» и сам находился то внутри происходившего, то со стороны). Да, поздняя осень 1917 года. В один хмурый, мокрым снегом обсыпанный вечер заявили к ним в дом какие-то двое, большие, с винтовками; их сопровождал старший дворник со своей сожительницей тетей Полей, матерью Нюшки и Душки. скрипучее слово «буржуи!». Папа возражал: «Мы не буржуи, нет у нас ничего!» — «А музыка?» — спросила тетя Поля, с ненавистью указав на пианино.

Испугался: а вдруг пианино отберут, реквизируют (слово это, значит, уже знал). Но реквизировали только квартиру — понадобилась для «комиссии городского порядка». Неуверенно протестовал папа, требуя какой-то ордер.

...Дальше — темнота, холод. Сажу посреди двора на мокром зеленом диване, закутанный в мамину лисью ротонду, и на меня идет снег. Вари не вижу — где Варя? Люди таскают вещи, спорят, ругаются. «Потише, — просит мама, — потише, здесь дети». Какие дети, когда нет Вари, он один? Ему страшно, он плачет, глотает снег, а тут еще мокрый мех лезет в горло...

И вдруг голоса утихли, снег перестал, и отчетливо стало слышно, как там, наверху, скрипят звезды. Под скрип звезд удобно, тепло было засыпать. Он и заснул.

Проснулся уже в теплой комнате с незнакомыми стенами, обои — букетиками. Рядом — мама, тетя Поля, дворник Фадеич. Он говорил: «Небель-то вашу в сараюшку сволок. Тяжела твоя музыка, дери ее нечистый! Вы не взыщите, если где покарябал». А тетя Поля: «Простите, если что не так. Я ведь не со зла, а от бедности». — «Ничего-ничего, — отвечала мама, — было бы здоровье».

Комната, оказывается, была дворницкой. Фадеич, добрый человек, их приютил. Комната уютная, с пучками ковыля за иконами, с лампадками и пасхальными яйцами на лентах. На стене висели часы с кукушкой — казалось, каждую минуту она высывалась из домика и куковала. Время очень быстро шло, незаметно. Бумажные кружева на окнах шевелились. Время от времени появ-

лялись Нюшка с Душкой, какая из них — какая, он уже не различал.

Он заболел. Кажется, испанкой. А может быть, не тогда была у него испанка, а позже? Нет, именно тогда, в дворницкой.

У изголовья стоял стакан чая с малиновым вареньем. «Кушайте, поправляйтесь!» — говорила тетя Поля. Сквозь стенки стакана ягоды казались огромными: таких не бывает. Подходила мама, пробовала губами его лоб, шептала: «Горит». Он был рад, что «горит», «горел» с наслаждением, чувствуя, как растет, как раскрывается в его тело каждая клеточка. Впадал в беспамятство, как в теплую, сладкую воду. Смерти не боялся, хотя стояла она рядом. «Бог дал, Бог и взял, — говорила тетя Поля плачущей маме, — на все Его, батюшки, воля!» А он в это время плавал в стакане чая с малиной и наслаждался безмерно.

...Начал заново себя сознавать уже выздоравливающим, слабым, капризным, в новой квартире на пятом этаже, которую им дали взамен ошибочно реквизированной. Папе с мамой квартира нравилась: просторная, четырехкомнатная, с высокими потолками и большими окнами. Правда, от окон дуло. «Зато как хорошо тут будет летом!» — говорил папа. Он вообще был весел, бодр, без конца пропадал у себя в школе, где организовывал какие-то курсы по ликвидации безграмотности. «Скоро в нашей стране каждый будет уметь читать и писать!» — говорил папа, отогревая руки на стакане с горячим чаем. А ему, Феде, новая квартира была не по душе, он скучал по старой, обжитой, с привычными вещами, даже с окнами, заклеенными сахарной бума-

гой там, где пробила пуля. Здесь от больших окон все время дуло, а топить было нечем; кое-как с грехом пополам отапливали одну комнату, где поставили все вещи, сбереженные Фадеичем в его «сараюшке»; остальные, выброшенные во двор, пропали, в том числе шкаф с запертым на ключ секретным ящиком; ключ был тут, а шкафа не было! Скандалил, плакал, требовал у мамы невозможного: вернуть шкаф... «Ну что ты как маленький, — говорила она, смеясь, — и не стыдно? Подумай, скольким людям сейчас куда хуже, чем нам, а ты все шкаф да шкаф!» Он рыдал так, как будто там, в секретном ящике шкафа, он запер часть своей души. А липа-то, в дупле которой были спрятаны сокровища? Нет, никто его не понимал, не только Варя, даже мама, любимейшая из любимых! Выздоровливал долго, нудно, не сразу встал на ноги, а когда встал, поначалу не умел ходить: все его заносило куда-то, все шатало...

Много лет спустя он сходил-таки в тот двор — посмотреть, что сделалось с дуплом, целы ли сокровища? Двор был до смешного маленький, а прежде казался большим. Дупла не было, липу спилили. Посчитал от нечего делать годовые кольца на срезе ствола — оказалось, сто двадцать.

А новую квартиру он так и не полюбил — ни тогда, ни после. Что-то было в ней обреченное. Она как будто несла в себе все страхи и несчастья будущего. И все его нечистые, лживые годы. И потолок, пробитый бомбой. И мамину смерть...

Но еще много должно пройти, пока все это будет.

Военный коммунизм, как это теперь называется. Тогда это названия не имело. Просто было трудно, темно, холодно, голодно.

Вспоминая об этом времени, он его уважал и даже в каком-то смысле жалел. Бедные годы, по-своему героические, но как их заслонила блокада, куда более страшная. Унесшая куда больше жертв. Как Великая Отечественная война заслонила финскую...

Все-таки стоило вспомнить, помянуть годы военного коммунизма. Мало осталось тех, кто их помнит. Данью уважения пусть будут мысли о них. Пусть отрывочные, бессвязные.

Зима какого-то там года (девятнадцатого? двадцатого?). Зима жестокая, скудная, бедная.

Папу мобилизовали, он воюет, они остались втроем: мама, он и Варя. Мама, смеясь, его обнимает: «Ты теперь единственный мужчина, глава семьи!» Удивительно, как она умеет всегда оставаться веселой. В квартире мороз. Топить нечем. Последние где-то выданные дрова сожжены.

Выходим гулять с Варей; во дворе кажется теплей, чем дома. Деревья бархатно-белы, мохнаты. Вороны прыгают молча.

Варя закутана по уши. На ней синее пальтишко с облезлым черным воротником: рукава короткие, из них торчат озябшие, фиолетовые запястья. Поверх всего — мамин дырявый платок, называется «бывший козий». На пухлом надгубье — болячка (от недоедания). Почему эта смешная фигурка видится так отчетливо, словно сейчас, сию минуту идут они по серому скрипучему снегу?

Заходим в обширный двор бывшего коммерческого училища (оно давно закрыто, здание пусто). И вдруг — находка! В углу двора, припорошенная снегом, какая-то груда вещей, накрытая рогожей. Оказывается, парты!

Чьи они? Очевидно, коммерческого училища. Но оно же закрыто? Значит, ничьи. Значит, мои с Варей. Мы же их нашли!

Законность ворочается в душе. Уважение к чужой собственности: «Не укради!» Кто-то же их накрывал рогожей? Значит, чьи-то.

Но они деревянные. Могут гореть. Вижу огонь, мысленно греюсь. Прекрасно! Дух захватывает. Решаю: парты все равно что ничьи. Пойдем вечером. Когда стемнеет.

Вот и вечер. Синий, угрюмый. Сани на поводке, сзади. Веревка в руке. Варя послушно плетется рядом с санями. На добычу идем, на добычу!

Страшновато. А вдруг у парт поставили сторожа, да еще с ружьем? Чтобы себя подбодрить, читаю загадочным голосом стихи А.К.Толстого «Волки». Может быть, не все слова помню. Но это неважно.

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян
И седой забелеет
Над болотом туман,
Из лесов тихомолком
По полям волк за волком
Отправляются все на добычу...

Вот и мы — тихомолком, крадучись. Варя не нравится, что я читаю, она трусит. А я продолжаю вполголоса, еще страшнее, таинственней:

Семь волков идут смело.
Впереди их идет
Волк восьмой, шерсти белой...

— Ой, не надо! — кричит Варя. А я безжалостно:

А таинственный ход
Заключает девятый.
С окровавленной пятой
Он за ними идет и хромает.

Именно «пятой», а не «пятой». Так страшнее. Варя затыкает уши, бежит прочь от саней. «Вернись, дура!» Возвращается: «Федя, только не надо про волков!» — «Ладно, не буду, раз ты такая глупая». Бодрюсь, но и мне страшно. Увидят, поймут, посадят в тюрьму. А то и подстрелят...

Вот и двор коммерческого училища, и парты тут. И никого. Карабкаюсь на грудь парт. Отогнув рогожу, привязываю веревку к деревянной ноге. Лезу вниз. Тяну за веревку. Парта трещит, обрушивается. Никто не слышал? Никто. Темнота.

Парту — на сани. Привязать. Теперь — домой. Тянем вдвоем. Повизгивает снег, подмораживает. Варя — чумазая, с болячкой. Жалко ее. И все-таки что-то подхлестывает, снова читаю:

Их глаза словно свечи,
Зубы — шила острей...

— Ой, ой, ой! — кричит Варя, словно ее быют.
А я — дальше:

Ты тринадцать картечей
Козьей шерстью забей

И стреляй по ним смело.
Прежде рухнет волк белый,
А за ним упадут и другие...

Варя бросает сани и убегает, плача, в темноту. Побежал за ней. Ухватил за пальтишко. Что-то треснуло. Ревет, бедная! Напугал. А вслух: «Балда, что же, я один должен тащить?» Умоляет: «Не надо так страшно!» Обещаю: «Не буду». Снова впрягаемся. Молчу. В уме звучат последние строки, самые страшные:

На селе ж, когда спящих
Всех разбудит петух,
Ты увидишь лежащих
Девять мертвых старух.
Впереди их — седая,
Позади их — хромая,
Все в крови. С нами сила Господня!

Варя подозрительно прислушивается к безмолвному бормотанию. Но и мне самому страшно. Девять мертвых старух...

Отлично понимаю, что украл парту, именно украл, и это плохо. Плохо, но и чем-то прекрасно. Страшноватая радость преступления кружит голову. «Преступление» — от «переступить», перейти. Первый раз перешел. Виноват, но герой...

Ташим парту на пятый этаж. Ох, и тяжела же! Мама удивлена: «Что это вы притащили?» — «Парту», — правдиво отвечает Варя. «Откуда взяли?» — «Нашли», — полуправдиво отвечаю я. «Где?» — «Во дворе».

Словно бы и не соврал — и соврал. Первый раз соврал маме, осквернил детскую клятву:

«Перед мамочкой скажу!» Варя молчит. Мама как будто сомневается, но видно, что рада.

Украл, соврал — и ничего, небо не обрушилось. Вот уже парта расколота на мелкие части, пылает печная топка, яркий огонь оранжев, и в нем сгорает все — и преступление, и ложь, и Варины слезы, и даже стихи про волков... Блаженное тепло наполняет комнату, и два зеленых плюшевых кресла становятся похожими на добрых зверей. И замерзшее пианино оттаивает, издает звук.

12

Перелома не было. Но все-таки каким-то рубежом была эта первая кража. Раз переступив, шагнув за пределы дозволенного, он стал другим человеком. Попробовали бы теперь одноклассники его бить — ого!

Почти каждый день он отправлялся на промысел. Семь волков идут смело... Он уже ничего не боялся.

Груда парт быстро растаяла. Видно, по его следам пошли другие. Не беда! Разве мало в городе того, что может гореть? Он проникал в пустые, покинутые жильцами квартиры. В бывшие учреждения, магазины. Искал и находил горючее: доску, ножку стула, раму от разбитого зеркала. Вооружась «фомкой», посягал и на подоконники, плитусы, пороги. Что-то манящее было во всем этом: азарт разрушения. Совесть молчала. Он крал, но ни у кого. Крал у разрухи, у запустения. Не он возьмет, так другие.

И все-таки иногда страшновато было ломать. Запомнилась одна дверь со стеклянными створ-

ками, расписанными любовно, затейливо. Цветы там были, люди, звери... Когда он стал ее выворачивать с петель, она запищала, как женщина. Он испугался: что делаю? Но преодолел себя. Нарочно поднял ногу в валенке и разбил расписное стекло. Люди, звери, цветы посыпались на пол...

Уж не так ли в дальнейшем — сперва робея, потом привыкая, рубил, рвал, разметывал собственную жизнь? Душу свою единственную? Ну нет. Тогда он был еще почти невинен, мальчик с «фомкой» в невымытых руках, маленький охотник в дебрях пустого города... Без его промысла семья могла погибнуть холодной смертью.

Приносил топливо домой. «Откуда дровишки?» — спрашивала мама. «Из лесу, вестимо», — отвечал он. Все очень просто. Добыча не кража.

Топили не толстую печь-голландку (на нее дров не напасешься!), а маленькую буржуйку. Железная, даже, пожалуй, чугунная, на искривленных, неуклюжих ногах (дразнил Варю, показывая на них пальцем). Стояла косо, как пьяная. Трубу вывели в форточку. Когда дул ветер с той стороны, дым шел в комнату, ел глаза. Из сочленений трубы капал деготь. Чтобы он не пачкал мебель, вещи, к трубе на проволочках подвешивали банки. Когда дул ветер, банки качались...

Все это видится как вчера. Гораздо яснее, чем другая буржуйка — блокадная. Буржуйка в комнате у мамы с Клавдией. Какие там были ножки? Хоть убей, не помню.

...Мама, Клавдия сидели рядом, протянув к огню исхудалые руки. На острых, одинаково старческих плечах — ватники. Сидели рядом, но отделенные друг от друга взаимной неприязнью,

это он сразу понял, как только вошел. Сын Петя уже спал, накрытый всем теплым, что было в доме, целый ворох одежд и одеял... У тени на стене были заячьи уши...

Спросил: «Чем топите?» Мама равнодушно ответила: «Пока — книгами». Это равнодушие — ведь так любила книги! — было почти как холодная смерть. К тому же книги не грели. Один пепел и шелест...

«Ломайте полы», — сказал он, вспомнив свои детские подвиги. Клавдия косо усмехнулась и ответила: «Сил нет».

Он понял тогда, в чем была разница с временем его отрочества: тогда город опустел, жители разъехались. А в блокаду ехать было некуда. Оставайся, умирай.

Куда он мог их увезти? Не к себе же, на фронт?

Ну ладно, хватит себя терзать. Лучше вспоминать о том, первом голоде. Носил дровишки, носил — и все-таки было холодно. Какой-то постоянный сквозняк, то ли из незанятых комнат, то ли от окон. Дуло, дуло... Спали не раздеваясь, в пальто, шапках, а то и в валенках. Мама на кровати с шарами, он на зеленом диване, Варя на двух сдвинутых креслах. По утрам она выглядывала из своего логова, как худенький, пухлогубый зверек.

Какое-то подобие обеда было у них каждый день. По карточкам давали овес, рожь, сушеные овощи — назывались «хряпа». Много лет спустя, когда Федор Филатович где-то прочел слово «хряпа», у него защемило сердце и в ноздрях запахло дымом. Вся еда припахивала дымком. Варили ее в чугушке на буржуйке, сняв две вьюшки.

Дым проскальзывал в щели, огибал посудину... Готовил еду и топил буржуйку он — Варя не допускалась. Его право: он добывал дрова. А готовя, мог на законном основании пробовать, облизывать ложку... Варя обижалась, звала его «истопником» и «поваром».

Блаженством был хлеб. Давали, кажется, по три восьмушки на день (три восьмых фунта значит сто пятьдесят граммов, почти блокадная норма!). Мама, служащая, получала больше, но немного. Делили поровну, мама норовила ему подсунуть побольше, но все равно было мало, мучительно мало! Вот когда он понял давние папины слова: «Голод — это когда нет хлеба». Хлеб снился, мерещился — влажный, сырой, липкий, с торчавшей из мякоти соломой — но хлеб!

Кроме хлеба, давали еще дуранду — подсолнечный или льняной жмых. Нечто черное, плотное, маслянисто блестящее. Дуранда хороша была тем, что долго жевалась, прилипая к зубам. Долго-долго рот был занят делом, и голод словно бы притуплялся.

Картофельные очистки. Их тоже давали по карточкам. Оставалось неясным, какие же счастливицы ели саму картошку? О ней можно было только грезить. Из очисток мама пекла оладьи на касторовом масле. Только подумать, та самая ненавистная в детстве касторка! Как же она была хороша!

И вообще как была хороша еда — любая! Куда потом девается этот восторг еды? Тело забывает о голоде; только разум помнит. Уважение к еде сохраняется на всю жизнь.

Сохранил его и Федор Филатович. Буквально не мог видеть брошенных, заплесневевших, в грязь

затоптанных кусков хлеба. Потому и размачивал корки, скармливал голубям.

А вода? Тоже драгоценность. Ее привозили на санках. В ведрах она плескалась, намерзали кружева по краям. Он жалел каждую каплю.

Варя — в той же упряжке, он — коренник, она — пристяжная. «Завивайся кольцом!» — командовал Варе. Что это значило «завиваться кольцом», не вполне было ясно, но она завивалась.

Самое трудное — ведро на пятый этаж. Вода тяжелая, плещется, сразу замерзает на ступенях — местами они похожи на ледяную горку, так бы и съехал вниз на зад, но нельзя — надо нести ведро. Пока он несет одно ведро, Варя внизу сторожит другое: могут украсть.

Вода — драгоценность. Может быть, оттуда, из отрочества, эта бешеная ненависть к крану? Возможно. Ранние впечатления врезаются в душу. Крепче их не бывает на свете.

13

Кажется, в ту самую голодную, самую холодную зиму он не учился. Во всяком случае, учения своего не помнил.

Петроградские зимние вечера и всегда-то темны, а в ту зиму были черны, как уголь. В глубоких потемках мерз город. Электричества, конечно, не было. Освещались самодельной коптилкой. Это была баночка, наполненная темной жидкостью (керосином? лампадным маслом?). В ней плавал фитилек, скрученный из ниток. Он держался на разогнутой шпильке. Все это напоминало человечка: огненная голова, раскинутые

руки, туловище, нога. Огонек — слабый, чахлый, сине-желтый. Но прищуришь глаза — и во все стороны радужные лучи. Сияют ресницы. Сияет душа. В ту зиму, как ни странно, он был счастлив. Он сочинял оперу!

Опера была новаторская, бытовая. Пели в ней люди, пели и вещи.

Увертюра. Щелканье выстрелов. Вой ветра. Людской крик. Марсельеза.

Занавес поднят. Темнота. Бодрая утренняя ария мамы, призывающая детей вставать:

Вставайте, ребятишки,
Несите-ка дровишки,
Сейчас
Втроем
Мы печку разожжем!

И жемчужная рулада — мамин смех. А ну-ка, бодрее!

Жалобный дуэт Феди и Вари:

Ох, мамочка, не хочется вставать!
Позволь еще минуточку поспать!
Еще ведь ночь, совсем темно кругом!
Ведь в темноте мы чай не отопьем!

Слово «отопьем» его немного раздражало. Может быть, так:

Ведь в темноте мы чаю не попьем?

Неважно. Главное — музыка.

Темнота рассеивается. Загорается коптилка (они ее звали почти по-итальянски «кабадилла»).

Ария кабадиллы. Ария самовара. Ария чайника. Дуэт самовара и чайника...

Слова сочиняла Варя, а музыку — он. Сначала музыку, потом слова. Он напевал Варе мотив, она схватывала ритм и отвечала стихами. Неважные были стишки, он и не скрывал своего к ним презрения. Сам-то не умел рифмовать даже так, но делал вид, что до этого не снисходит.

Мама уходила на службу, а он, надев ее перчатки без пальцев (назывались «митенки»), садился за пианино и разыгрывал на ледяных клавишах отрывки из оперы. Темнота обозначалась звуками самых низких басов. Возникающий свет — движением вверх по клавиатуре. Пел арии — их с каждым днем становилось больше. Варя сидела рядом, восхищенно-покорная, закутанная выше ушей, и подсказывала слова, когда он их забывал. Очень хотела петь, но он ей почти не позволял: не тот слух. Волей-неволей допускал ее к участию в дуэтах, но придирался немилосердно: «Опять соврала на четверть тона!» Бедная, она и полтона-то с трудом различала. Всегда подчиненная, на вторых ролях. Чайник при самоваре. Как она чихала тоненько: «Ти!» Это «ти!» он ввел в партию чайника.

Один раз, впрочем, она его удивила: позволила себе критику. Сказала, что мотив арии мамы напоминает известную песенку «По улице ходила большая крокодила...». Он ее сразу же поставил на место: «Что ты понимаешь в музыке?» — хотя, в сущности, она была права, он и сам что-то такое чувствовал. Но дело не в этом. Как он был горд и счастлив, сочинив коронный номер своей оперы — арию воблы!

Вобла — в наше время деликатес, за которым давятся в очередях, — тогда была не редкостью,

а едой, наряду с дурандой, столовским супом, картофельными очистками. Сухая, красно-бурая, с кристаллами выступившей соли, твердая, как доска. Перед тем как есть, ее долго колотили о кухонную плиту, чтобы размягчить, пока не распадалась на тонкие ремешки — волокна. Такое волокно можно было жевать и сосать, жевать и сосать, не глотая! Часами длилось наслаждение одной рыбиной...

И вот однажды ночью, не вставая с постели, он сочинил и спел в уме свой шедевр — арию воблы. Без слов, одна музыка. Но какая! Торжествующая, светлая (теперь сказали бы «жизнеутверждающая»). Не терпелось тут же, сразу, сыграть ее на пианино. Но маму нельзя было будить (Варя не в счет). Он только нетерпеливо барабанил пальцами по бедру, мычал мелодию где-то у себя в носу и неслышно в такт пристукивал валенками по спинке дивана.

Утром Варя сочинила слова арии воблы. Он против обыкновения долго к ним придирался: не хватало в них ликования, не было чудесного вкуса коричневых ремешков. Варя не понимала, чего он хочет, хныкала (он ей съездил за это по шее). Наконец вдохновилась.

Весь этот день с утра до вечера, не чувствуя ни холода, ни голода, он играл и пел арию воблы — свой шедевр...

Вот и сейчас, вспоминая, Федор Филатович мычал про себя внутри радостную мелодию. Холодные слезы восторга выступали у него на глазах и одна за другой катились к носу. Он не мог их вытереть, а если бы и мог — не стал бы. Мотив он помнил, а слова не все. Варю бы спросить, но где она, Варя? Была бы здесь, спросить все равно не

мог бы. Нем. Хуже, чем слеп. Неподвижен и нем. Начисто отрезан. Это ли не страдание?

Хорошо бы перед смертью повидать Варю. На что она в конце концов стала похожа? Чем встретила свою старость (ведь она же стара, как и он!).

Говорят, старость милостива к некрасивым. Возможно, Варя к старости похорошела, хотя трудно себе это представить. Не то что он — бывший красавец, а ныне старый гриб, пень, коряга. Все бранные слова адресовал он своему телу, сыгравшему с ним такой неприличный, издевательский фарс.

Варя, сестра его детства... Не видел ее давным-давно, с самых тех пор, как сошелся с Дашей, бросил Клавдию (вернее, она его бросила). Тогда Варя приезжала как Анна Каренина — мстить брата с женой. Не помирила. Была целиком на стороне Клавдии, его осуждала: «Когда же ты опомнишься, начнешь жить, как человек?» А он осуждения не любил. Никакого не любил дискомфорта. Расстались с Варей холодно, с тех пор только переписывались, и то нечасто. «Дорогая сестрица!» — обращался он к ней.

А она просто: «Федор!» Давно чужие. А теперь почему-то нужна...

Всегда усердная, усидчивая (пухлое надгубье выпячено), самозабвенная трудяга. Окончила биологический, стала микологом — специалистом по грибам. «Грибологом» называл он ее в шутку, словно бы смеясь над ее занятиями: подумаешь, грибы! А для Вари ее грибы были делом жизни. Чего-то она там достигла, не бог знает чего, но кандидатскую защитила. Печаталась в специальных изданиях, однажды даже прислала ему эк-

земпляр журнала «Природа» со своей статьей... Потерял, куда-то засунул... А после войны Варя в Ленинград уже не вернулась, застряла в своей Сибири. Замуж так и не вышла. Не нашлось, видно, охотника. Но семья какая-то была у нее: воспитывала двух сирот, подобранных в странствиях во время войны. Усыновила их, обучила, вывела в люди. Кажется, мальчик и девочка. Теперь, поди, уже взрослые, немолодые. Он их ни разу не видел. Для него они были не люди — знаки. Сколько живых людей перевел он в знаки! Варю не перевел. Детская дружба с сестрой — пусть он ее обижал, но дружба! — до сих пор светит из прошлого.

Все-таки почему так получилось, что пошли они с Варей в жизни совсем разными путями? Он — в расточители, она — в собиратели? А ведь вместе росли, в одно время, в одних условиях. Вместе таскали парты...

Ничего не скажешь, трудное было время, но чем-то и прекрасное. Холодно, голодно, но богато: он тогда не расточал — собирал. Пусть по чужим квартирам. Тогда, впрочем, никто не расточал — берегли каждую крошку. Не голубям — людям. Голубей всех съели...

Без голубей, без воробьев город был странен. Вся жизнь тогда была странной, парадоксальной.

Одно время совсем отменили деньги. Все — бесплатно. Бесплатный суп — его выдавали в столовой, надо было выстоять очередь, он стоял, ветер дул пронзительно. Стоял за супом, чтобы прокормить семью. Носил его домой в жестяном ведерке, накрытом салфеткой с лягушечками. Когда-то их вышила крестиком Варя — первая ее работа. Три зеленых пляшущих лягушонка с желтыми животами...

Однажды пришел домой: ведро с супом тут, а салфетки нет. Плакала Варя: «Мои лягушечки!» Нашлись на дне ведерка, утонувшие в жидком супе (пшенном). Радовалась Варя: «Мои лягушечки!» Салфетку обсосали вместе...

Трамвай — тоже бесплатно. Но они почти не ходили. Тащились, обвешанные гроздьями людей, то и дело останавливаясь. На остановках — огромные очереди, завивавшиеся кругом афишных тумб. Тумбы были — афиш на них не было. Только иногда — извещения, их почти сразу же обрывали «на растопку». Извещения об изменении продовольственных норм (почему-то помнятся только уменьшения). Еще одно, крупными буквами: «Товарищи, над городом революции нависла опасность!» Кажется, ждали Юденича. Слышно было рокотание пушек, как в летнюю ночь — дальняя гроза. Такое сравнение он придумал и гордился его художественностью.

...Отменили деньги. Жалованье одно время платили старыми, отмененными, а потом перестали платить вообще. Все равно деньги цены не имели, только продукты. Но вот странно: почему-то не отменили плату за проезд по железной дороге. Какая-то ничтожная, но сохранялась. Можно было, впрочем, проехать и даром, если ловко проскользнуть сквозь охрану. Скрещенные винтовки, брань. Вооруженные люди боролись с «мешочниками», хватали, сажали. Ему ездить было некуда и незачем, но он ездил — из чистого азарта. Пригороды... Петергоф с сухими, мертвыми фонтанами. Пустынный, задумчивый Павловск. Казенная Гатчина на скрещении дорог — Балтийской и Варшавской... Где-то сра-

зу за Гатчиной была уже линия фронта: шла Гражданская война...

На одной из станций по платформе бродила курица. Это хорошо запомнилось своей необычностью. Бродила, взмахивала гребнем, клевала, глядела боком. Мелькнула мысль: поймасть, украсть? Нет, на это он был неспособен. Крал только ничье, а курица явно была чья-то. Бродила по перрону, пестренькая, мотала гребнем. Почему до сих пор никто ее не украл?

А город все пустел — бесплотный, призрачный, прозрачный от пустоты, безлюдья. На улицах росла трава. Иногда высовывал голову даже цветок. Запомнился василек на Невском, пробившийся между торцами. Что-то жалкое в неярком, тощем венчике. Пришибленный общим голодом, он тоже был истощен...

Тихо. Не чирикали птицы, не ворковали голуби, не гремели телеги. Молчаливое небо было чисто, бездымно. Странной, опаловой нежностью отливало оно над Невой.

Оперу свою он закончил и начисто в ней разочаровался. Нет, он не композитор, он художник! Это опаловое небо — нарисовать бы его акварелью! Но не на чем. Даже краски какие-то сохранились от прошлого, мама сберегла. Бумаги не было; все, что было, сожгли. Кругом только пустые, безглазые, никем не охраняемые дома. Бывшие учреждения. Бесплодные: все, что можно было украсть, украдено. Он все-таки по ним бродил. И вдруг — повезло! В одном из закоулков нашел кучу конторских книг. Тяжелые, переплетенные солидно, в коленкор, а внутри — трудно даже поверить! — бумага! Превосходная, плотная. Каллиграфические надписи: «Кредит»,

«Дебет», цифры столбиками, а некоторые страницы чисты!

Великолепная находка! Забилося сердце. Обнял, прижал к груди охапку книг. Еле донес до дома. Взял с собой Варю — еще! Несколько раз ходили за книгами, пока не вынесли все.

Тут начался у него рисовальный запой, вроде того, когда сочинял оперу. Отыскал, отмыл старые краски. Кисточка тоже нашлась (спасибо маме!). Начал писать пейзажи — по несколько в день. Изображал город во всей его пустынной необычности, неизвестно для чего, мелькала мысль — для потомства...

Торжественная Нева с ее тяжелыми, низкопролетными мостами (по каждому из них еле плелся один пешеход; он изображал его беглым движением кисти сверху вниз. Было видно, что пешеход одинок, озабочен). Перламутровое небо, его торопливое отражение в воде. Темноводные каналы, обведенные грязным гранитом. И, контрастом к ним, шпиль Адмиралтейства с летящим корабликом наверху...

Бумага была линованная, но это не мешало пейзажам. Даже наоборот, сообщало им строгий линейчатый ритм.

Мостов было много, но любимым был мост Петра Великого, не тяжелый, напротив, изящно висящий, словно бы ни на что не опертый. Писал его во всех ракурсах, со всех сторон, инстинктивно постигая, как постигал все законы перспективы. Мама однажды посмотрела на такой пейзаж со слезами на глазах; он ей сразу же его подарил...

Может быть, мост и не был по-настоящему красив, думал сейчас Федор Филатович, да и

существовал ли в действительности? Может быть, это был призрак, фантазия? В своих ночных бдениях, одурманенный снотворными, он мечтал — нет, не выздороветь, он уже знал, что это невозможно, — но хотя бы раз пройти на своих ногах, поглядеть на Петровский мост — существует ли? — а там можно и умереть.

Скоро запой рисования кончился: кончились краски. Бумага еще была. Долго еще была бумага. Последние остатки сожгли в блокаду.

14

Сейчас, вероятно, осень. Углом глаза он видит окно — плачущее, исполосованное. Вот и тогда была осень. Когда? Когда вернулся с фронта папа, отец. С простреленной грудью, сам на себя непохожий.

Харкал кровью в стеклянную банку. Получил длительный отпуск, если не «чистую». Бледен, худ, почти совсем лыс, только на висках — потные пряди. Борода же — густая, рыжая, с блестками седины.

Хорошо помню бороду. Поглядывал на нее с завистью. В ней, наверно, куда теплее спать, чем с голым лицом. Значит, отец вернулся зимой, не осенью.

Да, безусловно, зима. Ледяные цветы на окнах. Потом уже не цветы — бугры, наледи. Дует ветер — и на улице, и в квартире. Голод внутри, уже привычный: сосет, а не режет.

Они с Варей идут в школу, наклонясь против ветра. Значит, была все-таки школа? Была, и на-

зывалась она ЕТШ — единая трудовая школа. Тогда не заботились о благозвучии сокращений.

Чему их там, в ЕТШе, учили педагоги — сами голодные, оборванные, с заплечными мешками, не снимавшимися даже на уроках? А ведь учили, и неплохо! Обрывки знаний до сих пор сохранились в памяти. Алгебраические формулы. Таблица Менделеева. Рутений, родий, палладий... Осмий, иридий, платина...

Мама преподавала немецкий язык в той же школе. Тоже носила заплечный мешок. Забот было много, особенно после возвращения папы. Удручена была его болезнью. Почти перестала смеяться. Мама — и как будто не мама. Казалась старой, а ведь была молода. Сорока еще не было...

А папа лежал дома и кашлял. Его надо было питать. Именно «питать», а не кормить. А чем, на какие средства? В доме было уже продано, выменано на продукты все, что можно. Кроме пианино. С ним мама не могла расстаться — не из-за себя, из-за сына. А ведь и детей надо было кормить! Как, должно быть, она разрывалась на части! А он, дурак, не понимал. Он, дурак, ревновал ее к отцу.

Любил ли он отца? В каком-то смысле да. Любил, но чуждался. Ускользал от его голубых, воспаленных, тяжелых глаз. В них было осуждение. А за что? Разве что за будущее.

А что, вполне возможно, отец видел его будущее странным прозрением, свойственным, говорят, умирающим.

Я, в свою очередь, умираю, но прозревать мне нечего. Даша будет горевать, но утешится. На могиле будет стоять памятник: имя, отчество, фамилия. Год рождения, год смерти. Ничем не про-

славлен. Даша будет сажать цветы, пока сама не умрет. Мои дети не избегают меня, как я избегал папу. Они просто не знают, где я и что со мной...

Папа был болен, опасен для окружающих, особенно для детей, — так объяснил доктор. И его нужно было питать. Случилось страшное: их с Варей отдали в школу-интернат, по-нынешнему — в детский дом. «Временно, — плача, говорила мама. — Вот папа поправится, возьмем вас обратно. Мы будем часто видеться, каждую неделю...»

Мама плакала, и Варя с ней, а он, остолоп, обиделся. Неужели так-таки и нельзя было прокормить? Пошел бы на службу, получил бы паек... Заразы он не боялся. В общем, озлобился. Разорвал и выбросил свой лучший пейзаж, который когда-то подарил маме: мост Петра Великого с лодочкой...

Виделись, как и было обещано, каждую неделю. Но нерадостными были эти встречи. Варя радовалась, а он — нет. Даже за пианино не присел ни разу, подлец, хоть и просила мама.

...Ты тринадцать карточек...

Школа-интернат, сформированная на базе двух кадетских корпусов и двух девичьих институтов, была кричаще разнородна. Кого только там не было! Беспризорники, кокаинисты, воры. Крали все, что можно было украсть, замки на тумбочках не помогали. Дневной паек хлеба — три четверти фунта — приходилось съесть сразу, не то украдут. Воры были грязные, циничные, вшивые, со своим жаргоном («блатная музыка»), ко-со плевали сквозь дырки от выбитых зубов, не выпускали изо рта сигарки даже на уроках, отве-

чали руганью на замечания педагогов... И рядом с ними, на тех же правах — гордые кадеты, «тонниги». Те свято блюли свои корпусные традиции, говорили между собой по-французски, правда, с ошибками. Нещадно «цукали» младших. Подражали гвардейскому произношению в нос, «с оттяжечкой». Всех, кто не они, называли «плебс».

Сам принадлежавший к «плебсу», хотя и лучше их знавший французский, он кадетов терпеть не мог. Почти как воров...

Еще разнороднее были девочки. Церемонные институтки называли друг друга «медамочки». Тоже цеплялись за свои традиции, «обожали» учителей, старших воспитанниц. До дыр зачитывали книжки Лидии Чарской «Люда Влассовская», «Княжна Джаваха». Подражая героиням этих книг, то и дело хлопались в обморок... Была среди институток даже одна графиня, фамилия которой произносилась шепотом, — тонкая красавица с зелеными глазами. Даже стриженная под машинку после сыпного тифа, она была неотразима. Ее «обожали» многие... И тут же рядом с «обожаящими» и «обожаемыми», «прелестями» и «душками» — юные проститутки, кокаиnistки, чахоточные; спускали с острых ключиц форменные камлотовые платья, курили, дрались, ругались сиплыми голосами...

Все это сборное племя копошилось в огромных, нетопленых «дортуарах» — так по старинке назывались спальни, коек по пятьдесят в каждой. Мальчишеские были ужасны: грязь, вонь, scomканные постели, табачный дым, висящий в нем мат... У девочек было еще туда-сюда: койки застланы, кое-где даже картинки на стенах — кошечки с бантами, белокурые ангелы... Раз видел, по-

жалел, что не девочка. У Вари какие-то были подружки, у него — никого.

Среди мальчишек невозбранно царили два отъявленных бандита: Гарин и Портянкин. Кошмар его ночей. Гарин — огромный, толстый, с заплавленными глазками, не просто вор, а разбойник (вырывал из рук у младшего дневную порцию хлеба и тут же сжирал). Циник и садист. Любил поднимать маленьких за уши и «показывать им Москву»...

Портянкин — совсем другой на вид. Худой, мелкий, вертлявый, словоохотливый. Полный циничных историй, прибауток. Любил войти в доверие, польстить, растрогать, а потом — обокрасть да поиздеваться...

Разные, а в чем-то одинаковые. Оба грязные. Оба жестокие. Оба — не люди. Он их боялся. Он ими брезгал. Всего страшнее была их внезапная ласковость... Пускай бы били, лишь бы не гладили...

Дома он ни на что не жаловался. Отдали, чтобы не кормить, ну и черт с вами — это, конечно, в мыслях, не вслух. Слово «черт», строго запрещенное когда-то, стало для него обиходным, часто срывалось с языка, правда, не дома. Да и другие слова, похуже, тоже срывались, волновали болезненно.

Пожалуй, пора сказать «уже да». В каком-то смысле — «да»...

Но тут история с партой. Парта, опять парта...

Во главе школы стоял Борис Иванович Поповский, бывший воспитатель кадетского корпуса, гроза кадетов — мужчина крупный, мощный, громкоголосый. За одну ножку поднимал стул

с сидящим на нем человеком. Не стеснялся при случае пустить в ход кулаки (его даже Гарин с Портянкиным побаивались). Свирепой честности человек. За казенное добро стоял горой. А от своей порции нет-нет да и уделит кусочек кому-нибудь из маленьких, попрыщавее...

Топить было нечем, а холод нестерпимый. Воспитанники замерзали. Кому-то (не ему!) пришло в голову жечь парты. То одну сожгут, то другую. Парт становилось все меньше. Сидели за ними по трое...

Борис Иванович гремел, грозил — не помогало. Наконец, распаясь окончательно, произнес речь. Приказал строго-настрого, чтобы каждый сам следил за своей партией. А первого, чью парту сожгут, он своими руками вышвырнет вон из школы.

Тут Федя Азанчевский в первый, а может быть, и в последний раз в жизни стал общественным деятелем. Подговорил двух мальчиков из «плебса», но не воров (как же их звали? Память проклятая!), и они втроем темной ночью («когда в селах пустеет...»), трясясь от страха, сожгли парту Гарина и Портянкина, сплошь изрезанную похабными словами и рисунками. Жгли, вздрагивая от малейшего шума. Крыса пробежала, царапая когтями пол. Они чуть не умерли...

Наутро Борис Иванович обнаружил пропажу, разъярился, поднял в воздух за рваные шивороты Гарина и Портянкина, стукнул их друг о друга и вынес вон. Он так оглушительно орал, что в его зычном крике потонул скулеж без вины виноватых...

Несколько недель смертельного страха. Прямо в животе было холодно. А вдруг Гарин с Портянки-

ным вернуться? Узнают о его руководящей роли, отомстят ему страшно, по-своему? Сны, в которых они возвращались, хватали его, поджигали на нем одежду... До сих пор он не свободен от этих снов. Нет-нет да и приснятся ему, старому, Гарин с Портянкиным, мстящие за свою парту... Крадутся в темноте, как крысы, скребя подметками...

Что дальше? Кто-то из сподвижников по сожжению проболтался, видимо, жаждал славы. А ему было не до славы. Весь возраст знал о его роли в операции сожжения (в интернате главное деление шло не на классы, а на «возрасты»). После изгнания Гарина с Портянкиным возраст вздохнул свободнее. А он? Днем-то ничего, днем он упивался своей славой избавителя, а ночи были страшны — в холодном поту, полные крадущихся шумов...

Случай с партией запомнился еще и потому, что верная Варя, его собственность, его раба Варя первый раз в жизни взбунтовалась. Она уже все знала от соседок по дортуару и не только не разделяла всеобщего восхищения, но осмелилась впрямую осудить брата, когда они встретились в родительском доме. «Ты поступил нечестно», — сказала она по-взрослому, глядя на него снизу вверх, но прямо. Он немедленно дал ей по шее, а она дрогнувшим голосом: «Драться легко!» Только что он собрался поставить ее на место, но тут внезапно раздался странный, щебечущий звук: пошла вода! Давным-давно молчавший кран заговорил, зажурчал, забулькал! Было это на кухне. Оба они обомлели...

Или ему это чудится в полубреду? Может быть, просто сегодня, «сегоночи», слушая вечную песню крана, он придумал, что тогда пошла вода?

Нет, ему не чудится. В самом деле тогда в кухне пошла вода! И потом иногда вдруг ни с того ни с сего водопровод начинал работать. И надо было заполнить водой всю посуду в доме, пока волшебная струя не иссякнет. Значит, что-то все-таки двигалось с места, кто-то пытался дать людям воду, наладить жизнь... Надо знать, что это тогда означало: вода, щедро и вольно текущая из крана...

Эх, была бы тут Варя, мог бы он говорить, спросил бы: «Помнишь, как впервые пошла вода?» Она бы, конечно, вспомнила. Не только воду — первую свою непокорность. Как упрямо она тогда подняла рыжую головенку! До тех пор она была незаметна, как рыжик во мху...

Когда же это было? Весна была, это ясно. Но какого года весна? Все года, все даты спутались в старческой памяти. Вот если бы тогда он вел дневник... Впрочем, все равно дневник не сохранился бы. Как не сохранились пейзажи на плотной линованной бумаге. Как не сохранились Варины стихи. Только память одна все это хранит. Но и она ненадежна, вот-вот погаснет.

Да, безусловно, весна. Он стоял у окна дортуара. Сквозь невымытые стекла светило солнце. Плясали пылинки. Жизнь начиналась. Жизнь и тепло. Он стоял и твердил про себя стишок из хрестоматии:

Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор (кажется, говор) народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей.
Вон даль голубая видна.
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна.

Чьи это стихи? Майкова, Плещеева? Уже забыл, а скорее всего и не знал никогда. Но до сих пор помнит иголки, проходившие от них по спине. Даже сейчас отдаленно щекочущие его парализованную спину. Иголки счастья, восторга. Эти стихи дышали правдой. Даром что в интернате никогда не выставлялись рамы — ни «первая», ни «вторая». Что стекла были серы, и голубизна неба — сера. Что никакого «благовеста» давно и в помине не было. Все равно — он был счастлив.

И тут подошел сзади Борис Иванович, взял его за плечи, повернул к себе и сказал очень мягко: «Мальчик, тебе надо пойти домой». Именно «мальчик», а не «Азанчевский». Он понял: случилось что-то ужасное. Папа умер?

Побежал, задыхаясь. Весны уже не было, она не шествовала, сыпля цветами, нигде в мире. Папа умер! Уже давно был болен, тяжело, неизлечимо. Рана плюс туберкулез легких... Был обречен. С каждым разом становился все тише, все востроносее... А он-то, мерзавец, негодяй, подлец, ничего не понимал, обижался на маму, что отдала их в интернат!

Бежал, торопясь, захлебываясь раскаянием. Но папа был еще жив. Бледный, почти синий, почти бесплотный, почти безволосый. Он разлепил темные, в трещинах губы и сказал одно слово: «Сын». Сын — и ничего больше.

Сын стоял болван болваном, разглядывая уменьшенное отражение окна в никелированном

шаре кровати. Искаженная, вверх ногами перевернутая весна. Значит, зря бежал. Значит, зря вырвали его из весны... И стыд за эти мысли, и нетерпение — поскорее уйти... Папа умер через два часа после его ухода.

Горевал, но не очень. Того рвущего горя, с которым бежал домой, уже не было. На похоронах стоял рядом с мамой, держа ее под руку. Стоял истуканом — ни слезинки. Варя плакала. А мама горевала без слез, и это было страшно. Сжатые губы, восковой лоб. Словно и не она, не мама. Думал: «Теперь-то она нас возьмет из интерната, и заживем, как прежде». Ошибся. Маму положили в больницу. Болела тяжело, долго.

15

Федор Филатович не только лежал, одурманенный снотворным. Не только бродил по лабиринтам памяти. Иногда он спал по-настоящему и видел сны. Сна от яви он почти не отличал, разве что сны были разнообразнее (раз, например, он дирижировал оркестром!), а наяву было все то же. Та же неподвижность, тот же кран. Он уже бросил кричать «а!» — бесполезно.

День от ночи он тоже с трудом отличал. Днем приходила Даша, мыла его, меняла ему белье, делала все остальное, до сих пор тягостное, но постепенно становившееся безразличным. Все чаще стала она приходить и ночью. Наклоняла над ним лохматую крашеную голову с белым пробором шириной в палец, вытягивала из-под него простыню, шуршала клеенкой. Чужая женщина,

с равнодушием думал он. Даже ее пожилое плечо, пересеченное лямкой от лифчика, раньше так раздражавшее, стало ему безразлично. Он жил другими интересами, жил в прошлом. Он уже не надеялся что-то понять. Просто вспоминать вошло у него в привычку.

Какой-то год. Лето. В Петрограде холера. Удрав из интерната, пошел на рынок. В руках палка с гвоздем на конце — вбит поперек, острым концом наружу. Охотничье оружие. У многих в интернате были такие палки. Охота требовала ловкости, быстроты. Облюбовать на прилавке картофелину покрупнее. Размахнуться, вонзить в нее гвоздь. А потом бежать сломя голову, чтобы не поймали и не побили.

Вот и на этот раз: засек гвоздем картошку, большую, бугристую. Побежал со всех ног. Его заметили, обступили. «Бей ворюгу!» — кричал огромный, рыжий, в два раза его больше. Ударили в спину чем-то острым. Погиб — сейчас забьют, затопчут.

И вдруг люди кругом расступились. Рядом, белый и страшный, упал человек и забился в судорогах. «Холера!» — тихим криком раздалось в толпе. В мгновение ока стало пусто вокруг. Только их двое осталось в середине круга — тот, умирающий, и он сам с палкой в руках, с гвоздем на конце, с картофелиной на гвозде. До него с его добычей никому уже не было дела. Человек корчился. Неужели никто ему не поможет? Никто не помог. Человек умер. Очень быстро он умер, в какие-нибудь две-три минуты. Это был первый человек, который умер у него на глазах.

Двинулся, держа свою палку с картофелиной. Как палицу, как булаву, как оружие. Люди расступались, словно и он, держащий палицу, только что умер от холеры и был заразен. Защищенный заразой, прошел живым коридором и только потом кинулся бежать.

Дортуар — запущенный, полупустой. Многие кровати — без подушек, а то и без матрацев, без одеял. Праздно гуляющие мухи. На припрятанных щепках испек в печке свою картофелину. Пек и думал: «Снесу маме». Она тогда голодала ужасно, почти ничего не ела, папу надо было питать. Но не выдержал — съел полусырую, обугленную. Ел, давился и плакал. Видел перед собой маму. Только от нее и осталось, что нос с «пумпочкой»... Прости меня, мама.

А вот еще какое-то лето (то ли же самое? Или другое?)... Интернат вывезли на дачу, под Петергоф.

Мелкое, бледное море, заросшее тростниками. Облупленные дачки. Худые, протекающие крыши. Дождь по ним стучал, будто когтями.

Новый заведующий — высокий, узколицый, в чеховском пенсне. Говорил в нос, детей ненавидел. Его жена — худая, косоротая певица. Числилась, кажется, «инструктором по худвоспитанию», короче, по «худвосу». «Худвос» состоял в том, что собирала детей — голодных, грязных, босых — и пела им романсы, сопровождая себе на рояле. Когда она пела, рот кривился больше обычного, прямо до уха. «О» у нее выходило как «а»: «Унеслася ма-ла-дасть ясная моя». Ребята так и звали ее «маладасть».

Раз он пробрался на террасу, где стоял рояль, сел на табурет, хотел поиграть. Пальцы прямо

чесались, тоскуя по клавишам. Тут-то она и появилась, «маладасть», как из-под земли: «Мальчик, это не для тебя», — углом косога рта...

И вот в одно прекрасное утро и заведующий, и «маладасть» исчезли неведомо куда. Вместе с ними исчез весь интернатский запас продовольствия. Кормить стало нечем. Кормить перестали.

То есть как перестали? — спрашивал себя Федор Филатович. Не может быть, чтобы весь интернат, сотни две детей, перестали кормить! Но память твердила: да, перестали.

Сколько времени это продолжалось? Он уже не мог припомнить. Шкала времени у него разладилась. События прыгали по ней, то теснясь, то раздвигаясь. Одно было несомненно: кормить перестали.

Куда-то делись почти все воспитатели. Во всяком случае, их стало гораздо меньше. Разбежались, что ли, испугавшись бескормицы? Ребята, никем не руководимые, частью тоже разбежались, частью перешли на самоснабжение. Старшие ловили и ели собак, кошек. Стреляли птиц из самодельных луков. Кое-кто ловил в море рыбу наволочкой. Попадались только мальки, костлявые, одни скелетики. Кое-кто промышлял по крестьянским огородам. Это требовало мужества: можно было получить заряд дроби в спину.

Младшие, мелюзга, совсем бы захирели, если бы не Василий Семенович, учитель естествознания, «естества», как у них говорили. Маленький, козлобородый, похожий на гнома. Собирал детей и вел их в лес. Учил их добывать себе пищу. И тут же давал им уроки, читал свои лекции-проповеди. «Природа, — учил он, — не оставит в беде человека. Надо только ее любить, уметь к ней прислушаться».

Василий Семенович знал по имени каждое дерево, каждую травку, каждый гриб. Знал, что можно есть, а чего нельзя. Под его руководством ребята собирали, варили, пекли и ели. Непривычная, но еда. Каша из стручков акации. Печеные желуди. Корни репейника, вкусом и сладковатостью похожие на морковь... День и ночь не погасала на кухне огромная плита. Топили хворостом, в лесу его было много, а вот спичек не было. Раз зажженный огонь надо было хранить.

Сколько, оказывается, на свете съедобного! Но всего интереснее — грибы. Самые таинственные из растений, сокровенные, лезущие на свет из моха, из пней, из завали прелых листьев. У каждого свои привычки, своя любимая почва, свой патрон — дерево.

Оказывается, то, что мы привыкли называть «грибом», — это и не гриб вовсе, а только его «плодовое тело». Само растение — это грибница, иначе «мицелий». Она ветвится под землей длинными белыми нитями, оплетает древесные корни. Если не вытаптывать грибницу, грибы образуют так называемый «ведьмин круг». Василий Семенович такие круги находил и показывал.

До Василия Семеновича Федя знал в лицо только некоторые из грибов, самые известные: белый, подберезовик, подосиновик, ну сыроежка, ну рыжик... А оказалось, что разных грибов великое множество. «Сорок сороков», по словам Василия Семеновича. И что самое важное, почти все они съедобны! Вот это было открытие, обогатившее его на всю жизнь. Те грибы, которые он считал «поганками», сбивал и растаптывал, стали желанной добычей, приобрели имена. Уж на что ядовитый с виду, например, гриб-зонтик, «му-

хомор наоборот» — белый с коричневыми чешуйками, с оборкой на статной, твердой ноге. Прямотаки лесной разбойник — крупнее всех, выше всех. Враг! Так вот, этот «враг» оказался не только съедобным, но и удивительно вкусным! Да он ли один? Кольчатый колпак, чернильный гриб, рядовка — повторяли ребята за Василием Семеновичем. По-настоящему ядовиты были только немногие, редкие, выродки из грибов. «Их так же мало, как злодеев среди людей, — пояснял Василий Семенович, — но их надо знать и остерегаться». Среди «злодеев» всех злей была страшная даже на вид бледная поганка. На нее Василий Семенович указывал тонким, прямым пальцем и предупреждал: «Ядовита смертельно!» Но сбивать и растаптывать даже ее не позволял: «Природа сама знает, что ей нужно, а что нет».

Да, в этих лесных походах Василий Семенович не только учил ребят своей «полезной ботанике», но и воспитывал их. Не ломать веток! Не рвать цветов! Прикасаться к природе только для еды, а не для забавы... Модного сейчас слова «экология» еще не было в обиходе. Василий Семенович предвосхитил будущее...

Самой верной, самой преданной его ученицей была Варя. Чумазая, пухлогубая, всегда шла рядом и чуть-чуть позади, почтительно неся его «ботанизируку». Именно тогда она полюбила ботанику, будущую свою специальность.

Он, Федя, тоже одно время увлекся лесными уроками Василия Семеновича. Но ботаником не стал. Никем не стал вообще.

Я лежу, думал Федор Филатович, и я никто.

Над лежащим «никем» проносились мысли. Он их уже не ощущал своими. Они приходили из-

вне, из пустого пространства, где звучало пение крана и долбящее “waste, waste”... Не были ли те походы с невзрачным остробородым учителем предупреждением? Он ему не внял. Растратил, расточил, растоптал свою жизнь. Одну-единственную...

Что дальше? Лето уже кончалось, когда приехала комиссия. Деятельность Василия Семеновича не одобрила. Особенно возмущалась одна церемонная дама: «Разве можно кормить детей бог знает чем? Ведь там может быть инфекция...» Интернат расформировали. Ребят, кого могли, распихали по другим детским домам. А их с Варей — о счастье! — отпустили домой...

Мама уже вышла из больницы и была худенькая-худенькая, худее Вари. И ростом уменьшилась. И личико обтянулось. Решили раз и навсегда больше не разлучаться. Никогда в жизни. Что бы ни было. Пускай голод, пускай что угодно! Но жизнь понемногу уже налаживалась. И вода шла, и свет был. Приближался нэп.

16

Очень быстро он воцарился, нэп. Отовсюду полезли ростки частной инициативы. Обнаружились какие-то дельцы с припрятанными царскими золотыми десятками. В городе, еще не пришедшем в себя после разрухи, как грибы, как ведьмины круги, появились частные лавочки, засверкали витрины. В некоторых была выставлена еда. Больше всего поражали пирожные: люди забыли, что они существуют. Пухлые, жирные, аппе-

титные, с глазурью, с кремом... Ловкие торговцы делали свой бизнес на людском голоде. На жадности к непривычной, роскошной еде...

«Конкурс едоков» — было написано крупно в одной из витрин. И помельче: «Милости просим!»

Условия «конкурса» такие: кто одолеет за один присест двадцать пирожных, может вообще ничего не платить. Возьмется, но не справится с двадцатью — плати за каждое. Многие попадались — платили. Никто, кажется, не съел двадцать.

Ему казалось, что он съест и двадцать, и тридцать, и сколько угодно. Лишь бы допустили! Явился в кондитерскую, предложил свою кандидатуру. Высмеяли, выгнали. Обозвали голоштанником. Надолго осталось в душе оскорбление.

Витрины, пирожные, а дома по-прежнему бедно и скудно. Одно только изменилось: иногда к обеду мама готовила мясо — конину. Сладковатую, непривычную, но очень вкусную. Все равно вечно был голоден. В воображении — еда, еда!

А кругом — вовсе уже непонятное. Роскошь, богатство. Рысаки под синими сетками. Нэпманы в котелках. Их жены с маскообразными, густо запудренными лицами. На белом фоне — немислимо яркий, кровавый рот. «Мишень для поцелуев», как было сказано в одной из парфюмерных реклам. Все это пило, ело, веселилось, танцевало под звуки разухабистой музыки. Из дверей ресторанов, откуда одуряюще пахло жареным, «вышибалы» выталкивали пьяных. Один раз он видел, как буянил «вышибленный», как упал мордой в грязь, как высыпались у него из кармана денежные ку-

пюры, «червонцы». На одну из них он украдкой наступил ногой, хотел было подобрать и скрыться. Но швейцар-вышибала стукнул его кулаком в челюсть, сказал: «Проваливай, шибздик!» — и прибавил кое-что покрепче. Опять оскорбление, опять ненависть.

Он ненавидел нэп. При военном коммунизме было всем одинаково плохо. При нэпе убивало неравенство. Чем я хуже других?

Семья держалась на маме, а на чем она сама держалась, неизвестно. Тяжелое заболевание сердца. И все-таки учительствовала в школе и сверх того давала уроки музыки нэпманским дочкам. Уроков было мало, платили за них гроши. Трудно ей было, и реже слышался ее светлый смех. А он, почти уже взрослый, сидел на ее шее! Чуть-чуть прирабатывал, по малости монтерил, но что это давало? Сущие пустяки. Заработанные деньги не все отдавал маме, нет. Иногда покупал, мерзавец, плитку шоколада и съедал ее сразу, изнемогая от счастья. Ни с чем не сравнимое счастье от сладкого, когда голоден. Пьяница не так наслаждается водкой...

Начал промышлять и по-другому — на лампочках. Тогда лампочки на лестничных клетках заключались в проволочную сетку, чтобы не сперли. Страховали, как и многое другое. Ложки в столовых приковывали на цепь. На мисках делали надпись: «Украдена там-то...» Он приспособился снимать с лампочки сетку кусачками. Три-четыре движения — и готово! Добычу продавал на толчке. Деньги иной раз отдавал маме: «заработал», а нередко и на себя тратил, на то же сладкое...

В сущности, «уже да»... Один из признаков, что «уже да», — музыка от него отдалилась. Иногда вечером мама садилась за пианино. Те же звуки, что когда-то доводили до слез, теперь стукались в закрытую, черствую душу. «Сыграй и ты, Федя», — просила мама. Но он теперь за пианино почти никогда не садился. Он переживал свою весну — бурную, вздорную. Она не «шествовала, сыпля цветами» — какое там! Она его ломала, крутила.

17

Незадолго перед тем их, как это тогда называлось, «уплотнили». Город бурно заселялся, жилья не хватало. И у них, Азанчевских, из четырех комнат изъяли две.

Не то чтобы им очень были нужны эти две комнаты — из-за отсутствия мебели они стояли почти пустыми, хотя одна и называлась «столовой». Страшновато было пускать чужих людей.

Вселили семью из трех человек (хорошо, что не больше!). Какой-то деятель новой культуры по фамилии Пенкин, белый и кислый, как плохо взошедшее тесто, с женой Валерией Тихоновной и дочкой Зоей. После уплотнения мама с Варей заняли комнату побольше, а он — маленькую. Ничего, понемногу привыкли к жильцам. Жили мирно, даже с мелкими друг другу одолжениями: пару картофелин, ложку соли... По вечерам Валерия Тихоновна приходила к маме жаловаться на жизнь.

Это была неработающая, полная, крупная дама с золотыми зубами и вечно болтающей у ни-

жней губы папиросой «Сафо» («А вот кому “Сафо” толстое!» — кричали на улицах мальчишки, продававшие папиросы россыпью, поштучно). А дочка Зоя — его ровесница, совсем на мать непохожая, даже странно, что у нее родилась, — была тоненькая, узкая, эфирная блондинка с вздернутым носиком. Полупрозрачная, не шла, а витала. Какой-то прохладный, маленький ветер следовал за ней по пятам.

Так вот, об этой Зое с некоторых пор стал он исступленно грезить по ночам, ворочаясь на старом, продавленном диване, боясь звоном пружин разбудить маму. Но она спала крепко, умученная службой, хозяйством, уроками. Варю нельзя было разбудить даже стрельбой из пушек. А он не спал, сходил с ума, думая о Зое. Сам не понимал, что ему было нужно. Раздавить ее, уничтожить, чтобы не ходила, таская за собой ветер? Когда становилось совсем уже невмоготу, он вставал с дивана и ложился голым телом на голый пол. Куда было девать себя, куда?

Так промучился он всю весну. Он все еще учился в школе, но это мало его заботило. Отметки были отменены (наследие прошлого!), вместо них — какие-то характеристики. Он знал, что так или иначе свою получит. Какое там ученье? От этих ночей можно было сойти с ума. Из раскрытого окна тонко дуло прохладой. Одурающе пахла молодая листва, скрипели грачи, а может быть, звезды. Весь мир полнился звоном, как натянутая струна. Зоя, Зоя! — кричало в нем. Это не любовь была — скорей ненависть.

Однажды утром, вконец обалдевший после такой ночи (даже в школу не пошел!), он вышел на кухню, чтобы облить голову под краном: боле-

ла отчаянно. Там была Валерия Тихоновна, разжигала примус. В квартире тихо: мама — на службе, Варя и Зоя — в школе. Звенело в ушах.

Валерия — толстая, с бугристой родинкой на складчатой шее — разжигала примус; у нее не получалось. Он смотрел на нее с презрением: баба!

— Помоги мне, красивенький, — вдруг попросила она. Станным голосом. Стало ему жутко. Не чуя под собой ног, взялся за примус. Так и есть, засорен. Прочистил иголкой. Подкачал насос. Брызнула струйка, заполнила чашечку под горелкой. Теперь надо было поджечь керосин, но он почему-то не мог. Все качал и качал. Лилось через край, на стол, со стола на пол... «Хватит!» — просила Валерия Тихоновна, удерживая его руку, а он все качал. «Хватит, ну хватит!» Рука у нее была сильная, широкая. Он перестал качать. И вдруг, сам не зная как, очутился в комнате Пенкиных, бывшей столовой. Все та же печка — коричневая, с рифлеными изразцами — стояла в углу. Кроме печки, все было другое, всего было много. Кровать за ширмой, зеркало, тумбочки, картинки на стене, зеленые занавески с шариками по краю... И вдруг все это — печка, ширма, кровать, шарики — стало медленно и неотвратно вращаться. У Валерии Тихоновны было злое лицо, и оно тоже вращалось...

Вот так, значит, он потерял невинность (глупое слово!). Сколько было у него потом женщин, девушек, вдов, мужних жен... Но уже ни разу ничто не вращалось. Трезво и точно шел он к своей цели, зная, что ему нужно, и получал именно это. Только с Лизой было иначе. Но о Лизе — потом. Впереди еще не одна ночь.

Валерия Тихоновна была немолода, толста и истерична. «Шесть пудов истерик», — называл он ее про себя. Любила в интимные минуты поговорить. Сыпала уменьшительными. Она его раздражала. Он стыдился этой связи, но она была удобна. Кончились мучительные ночи со скрипом звезд, холодом голого пола. Мечты о Зое потускнели, выцвели.

От Валерии Тихоновны он впервые узнал, что красив, осознал свою красоту. «Да ты посмотри в зеркало!» — сказала она. Он посмотрел и увидел себя — с копной густейших темных волос, с огромными хлопающими ресницами, с молочно-лунной бледностью тонко очерченного лица — и понял, что в самом деле красив...

«Посмотрела бы она на меня сейчас», — думал с каким-то злорадством Федор Филатович. Но Валерии Тихоновны, поди, давно уже нет в живых, раз и он, настолько моложе ее, — старик.

...А к Зое он тоже однажды пришел, зная, что ему надо. И получил свое. Только длилось это недолго: был скандал, истерика Валерии Тихоновны, от папы-Пенкина все скрыли, а Зою спешно выдали замуж за какого-то военмора.

18

Когда в селах пустеет...

Пустеет жизнь — непоправимо. Ничего не происходит. И ничего уже никогда не произойдет. Кроме одного — смерти. Но он ее еще не хотел.

Кран и мысли — вот что ему осталось. Но и мысли выцветают, рвутся. Прошрое видится

пунктиром. Все реже яркие вспышки, все глубже, чернее провалы.

Совершенно забыл, как окончил школу. А ведь окончил, и не так плохо. Получил рекомендацию. Поступил в Технологический институт, знаменитую «Техноложку». Вот это кое-как помнится. Там кипела жизнь. Полуголодные, бродячие, с бору да с сосенки собранные студенты. Кое-кто по традиции в форменной фуражке с бархатным зеленым околышем. У него такой не было, а хотелось иметь...

Стипендий не полагалось, они были редкостью, платили только «выдвиженцам», посланным на учебу с заводов, из деревни. Остальные пробавлялись кто как. Чаше всего грузили и разгружали баржи на Неве. Баржи лучше оплачивались, чем вагоны.

Кто-то учился, кто-то нет. На лекции ходить не приневоливали. Он не ходил. И его закадычный друг Костя Буланов не ходил тоже.

Костя, Костя! Сколько с тобой хожено, говорено, выдумано! Не было в жизни другого такого друга. Собственно, Костя был вообще единственный друг, остальные — приятели.

Костя — щеголь с намеком на раннюю лысину, остроносый, остроумный, изобретательный. Вдохновенный враль — чего только не придумывал! Ни на что в жизни не смотрел серьезно. Была у него поговорка: «Пока суд да дело, бери, не зевай». И брал, не зевал. Легкость какая-то, летучесть...

У Кости была сестра Лиза. Лиза Буланова, та самая, которую потом любил. Но до этого было еще далеко. Когда в первый раз увидел — ну никакого впечатления. Нехороша, высока ростом.

Тогда высокий рост у женщин был редок, считался скорей недостатком: неженственно.

А кругом полным-полно было женственных женщин. По вечерам у Булановых собиралась компания молодежи обоего пола. Вечеринками назывались такие встречи (теперь этого слова что-то не слышно). Устраивались они в складчину. Без вина — оно еще не было в обычае, да и дорого. Только чай с бутербродами. Были пьяны, но одной своей молодостью.

Молодые — ох, до чего же все были молоды!

Девушки — по-тогдашнему «барышни» (в ходу были термины: «совбарышня», «пишбарышня»...). Кокетливые, но целомудренные, с густо напудренными по крему лицами (того требовала мода), но губы не крашены. Платья с голыми от плеч руками, с большим цветком на плече. Низко, по самые глаза, надвинутые шляпки в форме колокола. Все эти барышни где-то работали, лакированные туфельки покупали на сбереженные гроши. Зачастую подголаживали — отсюда интересная бледность...

Молодые люди (тогда еще не «парни», не «ребята»), бедные, веселые, плохо одетые, не стеснявшиеся дырявых подметок. Эти овальные дырочки, давно не приходилось их видеть! Тогда обувь отдавали в починку. Новую подметку прибавляли деревянными шпильками. Чуть отставая, она напоминала щучью пасть...

До чего же все это было прекрасно! Молодость прекрасна сама по себе. Молодость своя, молодость страны...

Множество перекрестных влюбленностей. Проводы домой, стояние на улице в дымном морозе. Руки, вытянутые из варежек. Касание рук.

Иногда поцелуй в озябшую щеку, пахнущую пудрой «Рашель»... Сегодня одна, через неделю другая...

У Кости Буланова почему-то все были Нины. Нина-большая, Нина-маленькая, Нина-певица...

Развлекались разнообразно, изобретательно. Ребусы, шарады, фанты, «мнения». Шутовские спектакли. Костя и он изображали балетную пару: принц и принцесса. Принц — в обтянутых кальсонах, в бархатной безрукавке, вышитой бисером. Принцесса — в пышной пачке из газетного листа и огромных полуботинках. Принц поднимал свою партнершу, пыхтя, говорил: «И тяжела же ты, мать!» Принцесса жеманилась, опускала ресницы. Потом принц командовал: «Господин капельмейстер! Дайте что-нибудь на два!» Нина-певица барабанила по роялю на два счета, а принц прыгал, заноса ноги вбок, выше головы и усердно колотя ими друг о друга. Потом — очередь принцессы. Она с трудом, медленно становилась на пуанты и теряла пачку... Смеху было!

Особая радость — прогулки по Неве в лодках. Простор, легкое качание, облака в небе перьями... Упругость в руках, ведущих весла. А главное — купание! всю жизнь — самое большое из наслаждений.

Купались чаще всего у бастионов Петропавловской крепости. Узкая кромка гравия, гранитные древние стены, высокий собор. На шпиле поворачивался и скрипел флюгер (может быть, этого слышно не было, но помнится, что скрипел). Развернутое вбок крыло. Высоко-далеко в бледном небе, неизменно бледном, или так вспоминается? Ведь не могло же оно быть всегда бледным. Были же и солнечные дни.

Раскинувшийся, почти необъятный простор Невы. Холодная, суровая, оловянная вода. Она казалась выпуклой, эта вода. Выпуклой и маслянистой. По ней, обгоняя друг друга, бежали вихорьки — знак сильного течения. Он любил плавать в этой сильной, быстрой воде. Из всей компании — лучший пловец. Что там лучший — единственный. Только он один мог переплыть на ту сторону. Сносило ужасно! Добираться назад было трудно. Иногда подхватит чья-нибудь лодка. Любил притворно пропасть, чтобы беспокоились, ахали...

Несколько лет назад Федор Филатович, вернувшись из плавания, специально сходил на поклон к местам этих юных купаний. Какая-то неопределенная тоска его повлекла. Чувствовал, что идет к закату...

Пошел, подключился к экскурсии. Смотрел со стен бастиона на то самое место, где был когда-то счастлив и молод. Нет, свидания с прошлым не получилось. Все изменилось неузнаваемо. Даже Нева была словно бы не такой широкой. У стен крепости вместо узкой каменистой кромки — благоустроенный пляж с намытым песком. Деловито загорающие мужчины в плавках, девушки в бикини. Транзисторные приемники с их нестерпимой разноголосицей... Тогда не было ни плавок, ни бикини, не говоря уже о приемниках. Мужские трусы висели почти до колен. Барышни, стесняясь своей полунаготы, скромно купались в сторонке; у кого не было купального костюма — в сорочке, мокрыми звездами облипавшей грудь. Бедна была страна, бедны были с нею и они, молодые. И все-таки, ворчливо думал Фе-

дор Филатович, мы с нашей бедностью были, пожалуй, счастливее, чем эти с их импортным барахлом. «Мы кузнецы, и дух наш молод...» — вспомнил он тогдашнюю песенку...

Вполуха слушал он объяснения экскурсовода — стильной дамы в брюках на бедрах и опаловых очках. Она говорила что-то обычное о крепости, о романе «Одеты камнем»... И вдруг насто-рожился. Устремив указку в направлении шпиля, дама сказала: «Товарищи, обратите внимание на флюгер наверху. Это ангел-флюгер».

И в самом деле, развернутое вбок крыло было крылом ангела. Раньше он этого не замечал, как-то не обращал внимания...

Ангел-флюгер. Сочетание было смешным. Федор Филатович положил его в свою внутреннюю копилку, чтобы рассказать при случае. Впрочем, в теперешних его компаниях некому, пожалуй, было оценить, рассмеяться. Собираясь, больше пили. Вот Костя Буланов — тот оценил бы. Но нет Кости, давно нет.

Только сейчас, лежа неподвижно, просматривая задним числом свою жизнь, Федор Филатович не засмеялся тем словам, а ужаснулся. «Ангел-флюгер» — это же он сам! Как будто полет — и в то же время жесткая подчиненность. Всю жизнь поворачивался по ветру — как проще, как удобнее.

...Крыло ангела, крыло птицы. Тогда, в молодости, он выработал свою подпись: ФАзан — и затейливый росчерк, птичье крыло, вольно раскинувшее перья. Федор Азанчевский, короче — Фазан. Все его звали Фазаном, прозвище ему шло. Красивый, талантливый, неистощимый на вы-

думки, золотокрылый. Всегдашний заводила, номер первый во всех играх, затеях, представлениях. Играл на рояле, эффектно педалируя (у Булановых был и рояль). Пел модные песенки, тогда еще не из кинофильмов, кино было немое. Рисовал карикатуры, мгновенно схватывая сходство. Горел всеми цветами радуги — Фазан...

Так и жил, не задумываясь, хватая то там, то здесь частицу веселья, блеск пера... Понимал ли, что происходило вокруг, какие вершились перемены, какие сдвиги? Нет, не понимал. И не задумывался. Его просто несло по жизни, а он, зажмурившись, уносился...

19

А институт? Ну что ж институт. Он туда почти не ходил. Посещение было необязательным, хочешь — слушай лекции, не хочешь — нет. Какие-то сроки были установлены для зачетов. Не сдал вовремя — пеняй на себя. Отчисляли без всяких церемоний, не то что теперь. Некоторые зачеты он с грехом пополам сдавал, выезжая на беглости речи и общем развитии (тогда оно у него еще было, еще не одичал), да по-немецки у него было устойчивое «вуд» (весьма удовлетворительно). Споткнулся на черчении. Прекрасно рисовавший, он черчения не переносил: рабское копирование. А оно преподавалось дотошно, въедливо, было чуть ли не главным предметом. Работали тушью по ватману. Терпение требовалось дявольское, как у Вари.

И вот что смешно — первым заданием по черчению, которого он, конечно, не сдал, был кран.

Конечно, не водопроводный, а подъемный, с огромным крючком, но именно кран. «Не выйдет из вас инженера», — сказал профессор, отодвигая в сторону его творение. И не вышло. Из-за этого крана (он никак не мог его одолеть) Федора Азанчевского, Фазана по прозвищу, исключили из института на втором году обучения.

Тут уже все пошло вразнос. Не мог сказать маме — не мог! — что его исключили. Не мог сказать и Варе. Ведь она для него всем пожертвовала. Решила, что учиться должен он, мужчина, надежда семьи. А сама пошла работать. Не так-то это было просто тогда — устроиться на работу. Безработица, огромные очереди у биржи труда. Выстояла, устроилась почтальоном. С гордостью носила потертую черную сумку (оттопыренная крышка вроде ее собственной верхней губы...). С гордостью приносила домой заработанные гроши. Нет, не мог сказать им — двум труженицам! — что его исключили. Легче было скрыть. Повернуться по ветру, как флюгер. Ангел-флюгер, черт тебя возьми! Будь ты проклят!

Так и пошла жизнь. Делал вид, что учится, скрывал от всех, что уже нет. Другу Косте — и тому не сказал. Соврал, будто перевелся в Политехнический. Тот поверил, не до того ему было, он и сам-то в «Техноложке» еле держался, запустил учение, но все-таки старался, наверстывал. В конце концов навестал, выправился. Крепко взялся за ум его легкомысленный друг.

А Фазан жил своей двойной жизнью, двойной ложью. Сначала трудно было, потом привык. Как будто так и надо. Жизнь без обязанностей, приятно-веселая, уносила волной. Мама с Варей

кормили его, одевали, обували, обстирывали. А он почти не бывал дома. Пропадал — летом на Островах, в гребном клубе. Зимой — на лыжах. Вечером у Булановых. Или у Лизы. Жила она отдельно от семьи, в обшарпанной комнатенке под лестницей, со ступенчатым потолком. Серые честные глаза...

Домой заходил ненадолго. Жадно ел, что ему было оставлено. Притворялся, что очень занят, усердно учится (тогда это называлось «грызть гранит науки»). Делал вид, что грызет...

Каким-то уголком сознания понимал, что долго так не протянется: рано или поздно обман выйдет наружу, придется держать ответ. Но он эти мысли гнал. Уж больно она была хороша — эта молодая, забубенная, лживая пора!

Плавал в успехе. Где бы ни появлялся — сразу становился душой общества. Центром, вокруг которого все вращалось. По природе первый — первый во всем. Барышни, обступив, щебетали: «Фазан, Фазан...»

Играл на рояле все, что попросят. Модные песенки, ими тогда звенела улица: «Кирпичики», «Две увядших розы», «Слышен звон бубенцов издалека»... До сих пор звенят они, бубенцы молодости...

А знаменитые «Бублики» — любимая песня петроградских беспризорников? Они ютились в подвалах, канализационных люках, в бочках из-под асфальта. Оборванные, опасные, отважные. На них устраивались облавы. А они, как согнанные со спины лошади слепни, тут же возникали снова. Вездесущие, вороватые, весело-грязные. Зимой и летом в шапках-ушанках, одно ухо вверх, другое вниз.

И всюду с ними — неотразимая, грустно-за-
лихватская мелодия «Бубликов». До сих пор от
нее щемит сердце. Играл ее на рояле, взмахивая
ресницами. И пел, возможно, слегка перевирая
слова:

Купите бублики,
Гоните рублики,
Гоните рублики,
Да поскорей...
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную
Ты пожалей!

Пел, да с каким надрывом! Пел, доподлинно
чувствуя себя этой отверженной, всеми нелюби-
мой, лгущей обманщицей — частной торговкой.
А барышни обмирали.

Лиза — та не обмирала. Просто любила.
Сильно любила, но не слепо, зряче. Все про него
знала. Возможно, и про институт догадывалась,
что не учится. Но никогда об этом не говорила.

Иногда, устав от вечной своей игры, от вра-
нья, от кокетничанья, ища простоты и покоя,
приходил к ней. Крал голову к ней на колени
и замирал. Она гладила его по волосам — таким
густым тогда и упругим! — и говорила низким
своим, теплым голосом: «Фазан, Фазан, глупая
ты птица!»

Конечно, всему этому наступил конец. Иначе
и быть не могло. Нет, он не признался в обмане.
Разоблачила сама судьба. Шел ей навстречу, за-
жмурился глазами: авось вывезет. Не вывезло.

Кто его выдал? Неизвестно. Так и не узнал никогда. Да разве это важно, кто? Пришел домой и понял: все, разоблачен. Понял по трагическому, злему взгляду Вари. По маминому лицу, вдруг за одну ночь постаревшему. Отпираться даже не пробовал. «Это правда?» — спросила Варя. Не ответил. «Значит, правда?» Кивнул.

Тогда мама схватила себя сзади за волосы и несколько раз стукнула своей головой по столу. Как молотком, забивая гвоздь. Ох, этот стук! До сих пор слышен. Как будто здесь, в комнате, стучит мама головой по столу...

Плакал. Клялся: никогда больше, никогда! Обещал, что исправится, все наверстает. Они — как каменные, с чужими лицами.

Валялся у них в ногах. Буквально валялся. Варя ткнула его в бок башмаком — жалким, много раз чиненным, с щучьим оскалом. Поцеловал башмак. Твердил: «Бей больше, больше!» Варя ногу поджала с брезгливостью. Их молчание — вот что было хуже всего. Только потом, в коридоре, искаженное лицо Вари и свистящий, сдавленный шепот: «С ее-то больным сердцем! Негодяй!»

Обещал себе и им начать новую жизнь. Совсем новую! Прежде всего начисто порвал с булановской компанией: понял, что там уже все известно, не мог вынести сочувствия, жалости. От лучшего — единственного! — друга Кости и от того отдалился. Не ссорился, просто пропал, перестал бывать. Тот пробовал как-то объясниться, но безуспешно. Впрочем, Косте сейчас было некогда: он по уши был погружен в свои студенческие заботы, в зачеты, экзамены, чертежи. Юная

дурь быстро с него соскочила, а ведь и дружили-то больше по юной дури...

Самое тяжелое — расстался с Лизой. Новое так новое. Без объяснений — так было легче. Всегда избегал объяснений. Признаться, думал, что она сама его найдет. Не искала. До сих пор непонятно: почему? Значит, не любила? Безусловно, любила. Но не искала. Возможно, ждала: сам придет. А он не шел. Так и не пришел никогда. Потерял Лизу — лучшее, что у него было.

Поступил в техникум, где готовили радистов для торгового флота. Шуточки — музыку, рисование — к черту! Только радио.

Тогда оно было новостью. Последнее слово техники. Смешно вспомнить! Детекторный приемник. Кристаллик в коробочке, щупальце-искаатель. Ощупью находят точку, где слышно.

Азбука Морзе. Прием на слух. Передача. Все это схватывал на лету. По скорости передачи был на первом месте. Пальцы пианиста — вот где пригодились.

Годы учения помнятся смутно. Теория давалась плохо, практика — отлично. Важнее была практика.

Была довольно милая радисточка. Катался с ней с американских гор. И не только...

Запомнился случай, когда его премировали ордером на ботинки. Взял не для себя — для Вари. Когда принес ей ботинки, она улыбнулась. Эта улыбка!словно весть с неба: прощен. Мама уже давно простила, а Варя — только тогда.

Быстро промелькнуло незапомнившееся время. Окончил техникум благополучно. Не из первых, но и не из последних.

Потом — полоса заграничных плаваний. Тогда это было редкостью: мало кто бывал за границей. Мало кто знал языки, а он знал. Переимчивый, как попугай. Не его заслуга, но гордился. Входил опять в свою роль первого, выдающегося. Приятная роль, созданная для него. Желанный член команды любого корабля, идущего в заграничку. Мог и переводчиком быть, и радиogramмы принимать на разных языках...

А носило его, носило — по всем странам света, куда только ходили суда Совторгфлота. Не только Европа — Азия, Африка, Америка. Знакомые по школе экзотические слова — такие, как Суматра, Ява, Борнео, — обросли реальностью. Бросить этак непринужденно: «Я там был». А у слушающего — вздох зависти.

Отовсюду привозил сувениры: нос рыбы-пиры, бивень моржа, мохнатый кокосовый орех... Одежду, обувь, галстуки покупал в Европе. Недорогие, но броские. Фазаньи. Снова вышла из забвения и приклеилась к нему кличка Фазан...

Судовая жизнь давалась ему легко. Качки не боялся, твердо стоял на своих не длинных, но стройных крепких ногах. Удивительно шла ему морская форма, особенно ее тропический, снежно-белый вариант. Загорал ровно, без ожогов.

Команда любила его. Пожалуй, больше всего — за музыку. Уж больно лихо наяривал он в уют-компани на пианино любой, по заказу, фокстрот или шимми. А моряки танцевали друг с другом: женщин не было, одна буфетчица на всех.

Успех у буфетчиц он, Фазан, имел огромный. Не танцевал с ними (играл во время танцев), зато потом... Сколько перепало ему от них и вкусных вещей, и другого чего. Обожание он прини-

мал снисходительно, по обычаю обмахиваясь ресницами (скромность ему шла). Начал находить вкус в вине; особенно нравился ром. Здесь предупредительный звоночек: еще не пьющий, но уже выпивающий...

20

А между рейсами — Ленинград. Дом. Квартира все та же, давно не отремонтированная. Папа-Пенкин умер, к Валерии Тихоновне из неудачного замужества вернулась Зоя, постаревшая, тусклая. Где-то служила. Одну комнату у них отобрали, поселилась там уборщица Фекла, усатая женщина лет пятидесяти, все понимавшая лучше всех. Когда она, высоко подняв зад, мыла пол на кухне, он всегда ощущал ее неодобрение. «В каждой избушке свои бездельюшки», — говорила она. Он это принимал на свой счет. Валерия Тихоновна потеряла передние зубы, говоря, прикрывала рукой рот. Он и ее, и Зои сторонился. Не его это были поля ягоды. Он нарядный, весь заграничный, петушиный галстук, булавка с фальшивым бриллиантом — и они...

Маму с Варей ошеломлял дарами не нашего производства: пестрые блузы, шелковые чулки, духи, пудра... Они принимали их неохотно, стесняясь. Уж больно не вязалось все это с их привычно бедным укладом (жили они очень стесненно, на Варину стипендию и мамину учительскую зарплату). Заштопанная локти, чиненая обувь... Варя, кажется, и не пудрилась-то никогда...

Зато очень пудрились и очень душились женщины в новых компаниях, которые стал посещать

Фазан. Там пили вино, танцевали модные танцы «с разложением». Женщины сидели у мужчин на коленях, целовались с ними в открытую, а для более подробных бесед удалялись. Только тогда понял, как невинно и чисто было у Булановых. Уже не говоря о Лизе. Лиза была сама чистота. Но туда обратно ему пути не было. Все-таки иногда разузнавал стороной о Лизе. Ему говорили: все такая же, преподает физкультуру, какая-то сверхидейная — комсомолка двадцатых годов. Теперь такие уже не в моде. Он все это выслушивал не без горечи, но сам себя успокаивал: а что, в конце концов, произошло? Ну, расстались, пошли в разные стороны. У нее своя жизнь, у него — своя. Уходила, терялась в прошлом, постепенно забывалась, да, забывалась Лиза с ее честностью, чистотой, любовью. С ее низким, теплым, остерегающим голосом: «Фазан, Фазан, глупая ты птица...»

Вот так и пошла жизнь. Закружилась, завихрилась. Плавание. Побывка. Снова плавание...

Вот что важно: в одну из побывок встретил Клавдию.

Полузнакомая компания шумела, танцевала, пила. В углу сидела девушка — смуглая, с кошачьими глазами. Как притаившаяся кошка, она сидела, прелестная, но отдельная. «Интересное лицо», — подумал Фазан, и что-то внутри у него шевельнулось, клюнуло. Попал на удочку.

Она сидела особняком, гневно противостоя окружающим. Не для нее все это было: питье, еда, поцелуи, уединения... Когда кто-то сказал циничную фразу, она встала, молча взяла свою сумку и вышла. Он — за ней.

Подал ей пальто. «Не понравилось здесь?» Она мотнула головой строптиво. Обрадовался:

«Мне здесь тоже не нравится. Позвольте вас проводить».

Позволила. А через два дня они уже любили друг друга без памяти. Что-что, а любить Клавдия умела. Не женщина — шторм.

Еще через две недели поженились. Тогда это просто было: женись, разведись. Никаких церемоний.

Встал вопрос: где жить? У нее — негде, одна комната, там же мать и сестра. У него? Мама сказала: «Пожалуйста». Привел в дом молодую жену. Маме Клавдия понравилась, сказала: «Милая». Ну, милой-то Клавдия не была. Волевая, целеустремленная — это да.

Зажили супружеской жизнью. Довольно долго она ему давалась легко. Он в плавании, она дома, работает, его ждет. Ждет жертвенно, отказывая себе во всем. Лишь бы его принять, угостить, порадовать... Мама: «Ты бы сказал ей, чтобы она... ну хоть топила у себя изредка, пока тебя нет. Ведь замерзает».

Не сказал. Избегал сложностей.

Преданная, преданная жена. Может быть, слишком преданная? Мягкости ей не хватало. Чувства юмора, смеха. Серьезна была во всем. Держала его железной хваткой. Понемногу он от этой хватки стал ежиться. А что было делать? Она была сильна, он слаб. Слаб, но шкодлив. Изменять ей начал с первого же года.

Родился сын Петр. Крепкий, красивый, широкоглазый, с материнским овалом лица. Гордился сыном, звал Петром Федоровичем. Тот отца дичился. Дичился, впрочем, и матери. Сам по себе. Клавдия была матерью суровой, без нежности. Она и мужа-то так любила: крепко, но без неж-

ности. А ему как раз хотелось нежности: растаять, расплавиться. Нежна была мама. Нежна была Даша (это уже потом, после войны). Многие из его женщин были нежны, а Клавдия — нет.

И тут в воспоминаниях — порог, особое место. Подходит дело к войне. Кажется, нет никого из живших в то время, кого бы война обошла стороной. Не обошла и его. Великая Отечественная. Началась и все себе подчинила. Целых четыре года. Они и длинные, они и короткие. Особые... Проба человека. Проба характера.

Протекал ли тогда, в годы войны, кран его жизни? Федор Филатович спрашивал об этом себя и не находил ответа. Как будто бы не в чем было ему себя упрекнуть. Воевал, как все, исполнял свой долг, как другие. Было ему к началу войны тридцать пять лет. Был призван, пошел. Все четыре года в армии. Сначала недолго радистом, потом — переводчиком. Допрашивал пленных немцев. Тут ему не было равных. Мало того что знал язык как родной. Умел войти в доверие, прикинуться «своим». Раскалывал самых упорных. Потом — последний взгляд уводимого, похожего чертами лица на Пауля с Бубой — товарищей ранних, прибалтийских лет...

Почему при этом воспоминании вздрагивает сердце? Ведь это же была его обязанность — войти в доверие? Или не так?

На передовой, под самым огнем, пробыл совсем недолго. Запомнились сырые, инеем опушенные стены блиндажа, красные ракеты в темном небе, холодок в груди при шелесте летящего снаряда, звук передатчика, беспрестанно шлющего в эфир свои позывные... Нет, жизнь не утекала тогда, как вода из крана! Жизнь была осмыслен-

ной. Отчего же совесть начинает тревожно возиться при мысли о годах войны? Виноват ли он, что война его пощадила?

Ранен был всего два раза, и оба раза легко. Отлеживался в госпиталях... Мимолетные романы с медсестрами, санитарками. Пряменькие плечи с погонами, перетянутая ремнем талия... Врачей очаровывать остерегался. Впрочем, одна — черная, узкобровая, стетоскоп в кармане — крепко была равнодушна. После первого же раза заговорила о будущем. Он ускользнул...

Какой-то намек на «кран» был все-таки в этих мимолетных связях. Не забыть, как плакала, расставаясь с ним, голубоглазая санитарка Машенька в мятом перманенте. Обещал ей, что будет писать, да так ни разу и не написал...

Но ведь не он же один! Многие тогда заводили короткие эти романы. «Живем один раз, а меня, может быть, завтра убьют...» Многие из них и в самом деле полегли... Виноват ли я в том, что меня не убили? Не виноват. А в том, что не написал Машеньке? В этом виноват. Но ведь многие не писали своим Машенькам, и это не мешало им быть героями. Или мешало?

Он-то, во всяком случае, героем не был. Плыл по течению. Куда только его, военного переводчика, не носила судьба! Когда встречал где-нибудь рояль или пианино — играл. Но уже не пел: голос не тот, сказывалась привычка к спиртному. Беглость пальцев — прежняя. Внимательные, восхищенные женские глаза... Играл военные песни: «Катюшу», «Землянку»... Запомнился, уже в конце войны на территории врага, великолепный белый с золотом рояль в каком-то брошенном хозяевами поместье. На этом рояле

он играл ту прекрасную, незабвенную песню: «Священная война». Играл вдохновенно, как никогда еще не играл. Слушая его, товарищи один за другим вставали и снимали фуражки, а у женщин были слезы на глазах. Вот песня! Сочинить раз в жизни такую песню — тогда можно было бы и умереть: не зря жил. Но как раз сочинять он с некоторых пор совсем перестал. Жужжали мелодии в уме, но все чужие.

Война... В общем, он сравнительно легко ее отбыл. Легко, но достойно. Не трусил, не прятался, не ловчил. Чего же ты хочешь от меня, совесть? Кажется, наконец понял, в чем дело. Ленинград. Мама.

В Ленинграде оставались мама и Клавдия с сыном Петром (Варя эвакуировалась со своим институтом, хотела взять с собой маму, но та не поехала).

А он одно время воевал неподалеку, чуть ли не в черте города. На этом участке фронта было сравнительно тихо. Конечно, были бомбежки, обстрелы, но куда страшнее были в Ленинграде блокадном. Он это знал: иногда ему удавалось попасть к своим...

В памяти — комната, густо заросшая инеем; черный потолок с висящими слоями штукатурки. «Что это у вас с потолком?» Равнодушный ответ: «Бомба попала». Черным обведенные, измученные лица. Не лица — одни контуры. Что-то новое в глазах мамы: страх. Смотрела на Клавдию искося, исподлобья, как собака на строгого хозяина.

Опять и опять вопрос: виноват или нет в ее смерти? Формально — нет, а по существу — да. Клавдия маму не любила. Все для нее делала,

кормила ее наравне с собой, но не любила. А маме как раз нужна была любовь. Без нее она пропадала, без нее умерла. Мама — нежное существо с крохотными ногами в детских валенках...

Он-то любил ее почти по-прежнему. «Почти» — ибо не мог противостоять Клавдии. В те редкие разы, когда заезжал домой, мама взглядом умоляла его о любви, а он отводил глаза. Вынимал из рюкзака сбереженный паек — несколько сухарей, кусков сахара, иногда — банку консервов. Говорил: «Мне пора». Целовал Клавдию в темные, властные губы. Целовал маму в щеку. Если не спал Петя — целовал и его. Мальчик, черненький, дичился, не шел на руки — отвык. А он не настаивал. Махнув рукой, уходил. Туда, к себе, на фронт, где ему было легче.

Мама умерла в самую страшную, первую блокадную зиму.

Никогда не хватало мужества расспросить Клавдию: как умерла? Очень ли мучилась? Вспоминала ли его, любимого сына? Эта непогашенная смерть так и осталась на совести. Саднит до сих пор. Без вины виноват? Нет, с виной.

А Клавдия с Петей выжили, эвакуировались на Большую Землю. В сорок четвертом вернулись. В сорок пятом вернулся и он, Фазан, глупая птица. Стал опять плавать. Опять повернулся к ветру: как проще, привольнее. Возобновилась привычная, легкая жизнь. Менялись только песенки, которые он наигрывал на фортепиано. Да все больше стал выпивать. Обратилось уже в привычку.

...Как-то раз захотелось потряхнуть стариной: нарисовал карикатуру на капитана. Вышло пло-

хо, никто не смеялся. Куда-то исчезла его с детства твердая линия, рисовал беспомощно, равными черточками. Видно, разучился. Больше не пробовал. Рояль — это беспроегранный номер.

Клавдия любила его все так же свирепо, собственнически. А он становился к ней холоден, боялся ее желтых, к самым вискам разведенных глаз. Товарищи дразнили его «подкаблучником»... А что? Справедливо. Противостоять Клавдии мог бы сильный. А он был слаб.

Вскоре после войны родился второй сын. Черт возьми, как же его звали? Не дает покоя имя второго сына. Плохо с памятью. Целыми полосами заливают ее мраком. Вспышки, а между ними черно.

Ну ладно, не могу припомнить имя младшего, назову его заново, будто он только что родился. Назову Николаем, Колей. Мальчик с родинкой над верхней губой, в самой канавке, ведущей к носу. Особая примета: родинка на верхней губе. Будет мешать бриться, когда вырастет. Мешает ли теперь, когда вырос?

Красивый мальчик. Не на кошку — на голубя, вот на кого он был похож. Круглый, гладенький, с воркующей речью. Речи, собственно, еще не было — отдельные слова. «Пень», — вспомнил Федор Филатович и внутренне рассмеялся. Запомнилось-таки это слово. Первое, которое произнес Коля (условный Коля).

А дело было так. Коля долго не говорил. Другие дети в его возрасте всю болтали, он — ни в какую. Родители приходили, хвастались. «А мой-то пень ничего не говорит», — отвечал Федор Филатович.

Коля не раз слушал такие беседы. И вот однажды при мальчике опять зашел разговор о его отсталости. «До сих пор ничего не говорит», — пожаловался отец. И Коля вдруг подсказал: «Пень...»

«Пень», — чирикнул, как чижик. Первое слово. Что было дальше? Как пошло его развитие? Ничего этого Федор Филатович не знал. Потому что вскоре расстался навсегда и с Клавдией, и с сыновьями. Вышел наружу его роман с Дашей. Они переписывались «до востребования». Клавдия что-то заподозрила, явилась в почтовое отделение и «востребовала». Девушка на почте не смогла ей противостоять. Пришел домой — ливень пощечин, лавина презрения. Растоптан, раздавлен. Уехала — и с сыновьями. Как в воду канула...

А у него — Даша. Чудесная, обольстительная, тогда еще молодая. Тридцати не было, а ему за сорок. Воскрес с нею, обрел себя. Мелкокудрявая, вечно вострепанная, крутобокая, с ярким румянцем. Заразительный, мелкозвонный смех... Даша!

При Даше все становилось просто. Клавдия — та, напротив, все усложняла. Вырвался к Даше, как на волю. Особенно вольно стало, когда отпала еще одна забота — Дашин муж.

Ничего был парень Витя. Серьезный, добросовестный, переполненный, как и Клавдия, чувством долга. Их бы свести с Клавдией — отлично поняли бы друг друга. Но любовь не спрашивает, кого с кем свести. Даша Витю жалела, но не грустной, а какой-то веселой жалостью. Весело путалась между двумя любовями — старой и новой, законной и незаконной. Новая протека-

ла бесстрашно и авантюрно. Ночевали то здесь, то там. Иногда удавалось попасть в гостиницу, минуя запреты. А то — где-нибудь в загородной лачуге. Садилась в поезд и ехали наугад — в Шувалово, Репино, Сестрорецк... Стучалась в первый попавшийся дом. Очаровывала хозяйку. Роняла слезу: нам, мол, с мужем негде переночевать, в гостиницах нет мест, ночуй хоть на вокзале... Хозяйка, разжалобившись, пускала — иной раз в гостиницу, а то и в сараюшку. Чужие, узкие койки (как счастливо на них спалось вдвоем!), подушки, из которых лезло перо. Утром — перышко в мелкокудрявой, вечно встрепанной голове... Счастье — веселое, праздное счастье.

Не могла бросить Витю: «Он без меня погибнет!» А когда погиб — поплакала, но недолго. Не умела долго плакать.

Даша, милая моя Даша! Изю всех любовей — самая развеселая, самая легкая. Жизнь с нею улетала, как воздушный шарик. Ей-то бы не пришлось в голову упрекать, судить, казнить себя за то, что зря потратила свою жизнь. Конечно, не зря! Сколько от нее было людям радости, пусть не безгрешной!

...Кран возражает, твердит свое “waste”.

— Замолчи, идиот! — кричал ему мысленно Федор Филатович. — Не трогай мою Дашу!

Да и он-то сам, может быть, не так виноват, как об этом долбит кран. Если б хоть ненадолго заставить его замолчать, можно было бы собраться с мыслями. Кран же не Бог, с ним можно и поспорить, да и с Богом спорили некоторые...

Иной раз он и впрямь, доведенный до отчаяния, вступал с краном в воображаемый спор.

— Ну не совсем же зря я прожил на свете, — ожесточенно возражал крану Федор Филатович, — ведь было же кому-то и хорошо со мной, весело, легко? Ведь украшал же я кому-то жизнь? Когда я появлялся, забывали же многие свои заботы? Ведь шла же от меня людям радость — пусть временная, пусть дешевая?

...А вот Варя, которую ты все время тычешь мне в нос, образцовая Варя, которая жила правильно, ни разу не солгала, не ошиблась, не растратила ни копейки из того небольшого, что ей было отпущено, — кому была от нее радость?

Маме? Ну нет. И не сумела она, образцовая дочь, спасти маму, увезти с собой хоть насильно. Оставила на Клавдию. А ведь знала, что этого делать нельзя!

— Хочешь оправдаться? — ехидно подзуживал кран. — Ну валяй!

Нет, он не хотел оправдаться. Он уже ничего не хотел, кроме самой простой тишины. Чтобы он мог сам, без прокурорской подсказки, осмыслить прожитое, подвести итоги. Нужно ли ему уж так жестоко казнить самого себя? Но кран продолжал свое “waste”. И не было на него управы. Даша не понимала, чего ему нужно было до смерти, до зарезу! Чтобы замолчал, заткнулся, умер кран!

Лиза — та поняла бы.

Лиза, Лиза... И опять и опять — она.

21

Сестра Кости. Даже трудно поверить, что брат и сестра, хотя внешне чем-то похожи. Оба высокие, остроносые, плечистые, но какие разные!

Лиза — сама прямота, Костя — сама уклончивость. У него глаза с голубизной, с косиной, навывкате. У нее ни голубизны, ни косины, ни выката. Чисто-серые глаза.

С веселой компанией брата она не сливалась. Не осуждала, но держалась особняком. Ушла из дому — в школе, где она преподавала физкультуру, выделили ей комнатку, ту самую, под лестницей, со скошенным потолком. Где еле умещались койка и стул. Где так отрадно было встречаться с Лизой, пить ее бедный суррогатный чай, жевать сухари.

Жилось ей нелегко. Но никогда не жаловалась. О доме покинутом не жалела. Что ее оттуда погнало? Наверно, какая-нибудь неправда. Кривда, по-старинному. Но я же был по уши в кривде? Как же она меня могла любить? Неизвестно как, но любила. И все-таки не стала меня искать, когда я пропал...

С чего у нас началось? Надо вспомнить. Давно не вспоминал. С похода на яхте. Как это я мог забыть? Тогда еще Лиза жила дома, но уже насто-рожившаяся, отгороженная. С Костей, впрочем, еще дружила. Он занимался парусным спортом, даже, кажется, был инструктором.

Осень, ветер. Пошли под парусами в залив. Четверо: Костя с очередной Ниной (Нина-певица), Лиза и я.

Идти было трудно. Лавировали против ветра, часто меняя галсы. Все ладони изрезали шкотами. Лиза помогала. Нина просто сидела на корме и хихикала, низко надвинув колокол-шляпку. Было холодно, но она не хотела запахнуть на шее пальто с пушистым воротником.

Осенняя, промозглая погода — и совсем открытая, откровенная шея. Тогда так носили. Ба-

рышни презирали шарфы. В «Золотой лихорадке» Чаплина можно и сейчас увидеть женщин в меховых шубках, распахнутых на шее. Странная, навязчивая открытость. Помню, с вожделем смотрел на Нинину голую шею, белое наглое горло, окруженное черным мехом.

Погода портилась. Ветер крепчал. Похоже, дело шло к наводнению. Краткими залпами брызгал дождь. Такелаж резал до крови. Темнело. Буря в Маркизовой луже — это тебе не буря в стакане воды. Немножко зазеваешься — и оверкиль. Идти дальше опасно. Решили заночевать в Стрельне.

Тогда Стрельна была дачным местом, и не из самых близких. Летом населенным, к осени опустелым. Пусто-пусто было в поселке. Пусто и черно: ни огня, ни человека. Дождь уже хлестал, хлопбыстал. Измокли, иззябли. Забрались на террасу какой-то дачи. Окна заколочены, ни души. Темно, доски скрипят под ногами. Терраса большая, как зал.

Костя отвел его в сторону: «Ты меня понимаешь? Возьми на себя Лизавету». Он кивнул. Лизавета мало его привлекала, куда охотнее он «взял бы на себя» Нину с ее распахнутым горлом. Но дружба есть дружба. Две пары разошлись по разным углам террасы. Бревенчатые стены, конопаченные паклей. Пол ледяной. Попытался оторвать с окна доски — не вышло.

На Лизе было грубое, плотное пальто вроде военной шинели, ворот плотно застегнут. На голове красная косынка — общий признак трудящихся женщин тех лет. В своей буржуазной семье Лиза была демонстративно трудящейся, комсомолкой.

Сели на пол рядом, поджав колени. «Холодно?» — спросил он. «Да нет, ничего». — «А мне холодно. Особенно рукам». — «Отчего без перчаток?» — «А их у меня нет». — «Дайте ваши руки, — сказала она, — я их согрею».

Говорили на «вы». Тогда еще не было нынешнего огульного «ты» среди молодежи. На «ты» надо было еще перейти...

«Дайте ваши руки», — сказала она. Он дал. Она сунула их к себе за пазуху. Он обомлел: так это было просто, невинно, по-деловому. Согрела его руки на своей груди. Эта трезвая, теплая, крепкая грудь... Он был молод и пылок, отнюдь не наивен, но, право же, ничего не желал.

Руки согрелись, все остальное зябло жестоко. Пальтишко на нем было жидкое, на рыбьем меху («сигом» называлось оно дома, «на меху сига»). Прижались друг к другу, обнялись, оба пальто — «сиг» и ее шинель — положили сверху. Постепенно согревались. Он все еще блаженно ничего не желал. В том углу, между Костей и Ниной, шла какая-то хихикающая возня, но он не слушал, не слышал. Весь был поглощен горячей невинностью — ее и своей.

Говорили вполголоса. Вернее, говорила она — он слушал. Низкий, теплый, льющийся голос с чуть заметной картавинкой. Этот голос не тревожил ночь, а сливался с нею. «Я давно с вами хотела поговорить, вы ведь Костин друг, правда?» Рассказывала, как Костя ее беспокоит, он стал совершенный нэпач (именно «нэпач», а не «нэпман», сказала она). Какие-то у него дела, «гешефты», она за него боится. А эти барышни с пудренными лицами? Лакированные туфли, сумочки. Платья за баснословную цену. Ужас!

Она говорила с ужасом как раз о том, что больше всего его привлекало. Даже сказала что-то брезгливое про открытое на холоде горло Нины. И он, слушая, заразился ее отвращением. Чувствовал себя активно, воинственно бедным. Это было нетрудно, он и в самом деле был беден.

В ту ночь он был предельно беден, предельно чист. Лежа, обнявшись, они стали словно братом и сестрой, перешли на «ты». Возможно, тогда, в ту ночь, он впервые услышал от нее фразу: «Фазан, Фазан, глупая ты птица».

«Лиза, можно я тебя поцелую?» — спросил он. «Куда?» — «Хочется в шею». — «Целуй, но один раз». Он поцеловал ее в шею ровно один раз. В ту самую голубую жилку, которую потом так любил.

Всю ночь они почти не спали, только иногда ненадолго задремывали. Теплое Лизино дыхание на щеке было блаженством. Это была еще не любовь, но и уже не любовь. Нечто несравненно большее, переросшее любовь...

К утру ветер стих, подморозило. Встало солнце, растопырив лучи над забором соседней дачи. Лучи были ярко-оранжевые. Лиза спала, приоткрыв розовый рот с неправильными, друг на друга сдвинутыми зубами. Как это он раньше не видел, что она прекрасна? Он любил ее до боли в груди.

В другом углу, накрывшись женским пальто и студенческой шинелью, спали Костя и Нина. Они тоже были прекрасны. Все было прекрасно в это удивительное утро.

Встал осторожно — не разбудить Лизу. Подошел к запотевшему за ночь стеклу. Увидел на нем

искрящиеся капли влаги, увидел в лицо встающее солнце и поднял навстречу ему руки, прямые, как лучи.

Был счастлив, как никогда в жизни. Ни до этого, ни после. Как можно было забыть такое? А ведь забыл...

Ощущение счастья длится столько, сколько нужно, чтобы завести часы.

«Часы в халатике» — мамины часы! — стоят на буфете, и никто их не заводит. До болезни заводил он. Только часы будут его вспоминать. Даша поплачет и забудет. Счастливый характер!

Устал безмерно от лежания, от неподвижности.

И еще, и еще раз: зря тогда не женился на Лизе. Мама была бы рада. Она любила Лизу. Никогда особенно не любила Клавдию, хоть и сказала: «Милая». Последний год с Клавдией особенно был тяжел. Постарела она, что ли, окислилась. Ослабела ее слепая преданность. Но не ослабела хватка собственника. Ее вещь, ее владение. Все чаще стала она им помыкать.

Запомнился пустяк. В одну из последних побывок между плаваниями у них в окне стало дребезжать стекло. Видно, плохо его вставили. Выбито было в блокаду.

«Дребезжит», — сказала Клавдия, обращаясь, видимо, к нему. Он промолчал, продолжал читать газету. Привык, что домашние дела его не касались. «Дребезжит», — повторила Клавдия, уже громче. Он все молчал. «Ваты туда засунуть», — приказала она. Он понял, что должен, что раб. Пошел, взял ваты, засунул. Дребезжать перестало.

Значит, так: засунуть. Шел вечером к Даше (соврал, что на дежурство) и все повторял глупую фразу: «Ваты туда засунуть».

Даша и Клавдия — два полюса. Легкость и тяжесть.

А Лиза? Была ли она легка? По-своему — да. Никогда не лгала. Никогда не приказывала. Шла своим путем. Любила...

Что это я все о Лизе? Давным-давно расстались. Забыл ее сравнительно скоро. Не отпечаталась, не завладела. Отчего же теперь так стала нужна?

В свое время почти спокойно узнал о ее гибели. От Кости, которого случайно встретил на улице. Погибла на фронте, под Ленинградом, вместе со всем отрядом девушек-лыжниц, снайперов. Костя об этом рассказывал тоже вроде бы спокойно. Смерть была делом житейским: блокада.

Костя сам уже тогда погибал от голода. Работал инженером на оборонном заводе, видно, дельным был специалистом; на фронт не взяли. На судьбу не жаловался, но видно было, что долго не протянет: острый, синий нос, особенный, стеклянный взгляд дистрофика... Умер.

Семья у него осталась: жена, дочь. Жена — та самая Нина с распахнутым горлом. Заходил к ним. Нина страшна, столетняя старуха. Обеими руками взяла хлеб. Дочь, маленькая, лежала в кровати, прикрытая чем-то вроде половичка. Нина казалась сумасшедшей. Многие тогда казались сумасшедшими. Дочь погибла, а Нина выжила.

Терраса, ночь, Лиза. Чистота, честность. Именно теперь, больному, неподвижному, ему понадобилась Лиза. Даша его обхаживала, об-

служивала, а он смотрел на ее приоткрытое плечо и видел другое плечо, другую шею. Прямое, развернутое плечо. Стройную шею с голубой жилкой.

Он понимал, что это глупо. Лизы нет. Голубая жилка истлела в братской могиле. Ему оставалась Даша — заботливая, ласковая. Надо благодарить судьбу за Дашу. Это он понимал умом, чувством — нет.

22

Что-то случилось. Он сел, выпрямил ноги. Большая красная волна подняла его и опять опустила. Сидя, он видел *себя*, лежащего. У того его, который сидел, ноги были выпрямлены, а у того, который лежал, — поджаты.

Что-то случилось. Наступил беспорядок. Он уже не понимал, где верх, а где низ. Волна поднялась, подхватила его и утопила. Было очень плохо ему. Нет, не больно, а плохо, отвратительно. Волна хозяйничала в каждой клеточке его тела, в каждом волосе, каждом ногте. От волны надо было избавиться любой ценой. Даже ценой смерти. Жить с нею было нельзя.

Он хотел застонать, чтобы пришла Даша. Стона не получилось. Я же зову тебя: «Даша, приди!» Не идет. А я тут — умираю.

Он погрузился в обморок, черный, долгий, омерзительный. Когда очнулся, было уже светло. Он видел комнату, в комнате людей, но предметы двоились.

Женщина в халате — а может быть, две? — сидела на стуле, складывала инструменты. Они

звякали. Значит, слух у него сохранился. Но со зрением было неладно. Над женщиной в халате стояла Даша и тоже двоилась. Лицо у нее, больше натуральной величины, напозало само на себя. Стояла она в воздухе, не на полу. Что за безумие.

— Второй, — сказала женщина в халате, и он договорил за нее: «Второй инсульт», — хотя слова «инсульт» она не произнесла. Слово висело в воздухе, ни на что не опираясь.

Ему было все равно. Там, где недавно бушевали гнев, раскаяние, злоба, любовь, было пусто. Хоть шаром покати. Он видел его, этот катящийся шар.

Поползли дни и ночи. Бессонницы больше не было, но не было и сна. Чем-то его кололи. Укола не чувствовал. Ему было все равно: уколы, сон, бессонница.

Кое-что соображать он еще мог. Заметил, что пальцы левой руки, раньше чуть-чуть шевелившиеся, совсем онемели. Это тоже было ему все равно. Заметил, что когда предметы начинали двоиться, помогало закрыть один глаз. Закрывал.

Даша кормила его, рот не принимал пищу, что-то лилось мимо, смачивая ворот рубашки. Ему было все равно. Единственное, что еще трогало, — это кран. Если бы замолчал кран, было бы совсем все равно.

Однажды, лежа в мутном полузабытье, он отчетливо услышал Лизин голос: «Фазан, Фазан, глупая ты птица! Что же ты наделал, Фазан?» Он открыл глаза и увидел Лизу, сидевшую на стуле у его изголовья. Собственно, Лиз было две, но он прикрыл глаз, и осталась одна. Ножки стула ни на что не опирались, а парили в воздухе, к таким

фокусам он уже привык. Стул был не совсем реальный, призрак стула. Но Лиза была реальная, та самая, молодая, в продольно-полосатой футболке, с голубой жилкой на шее. Он спросил: «Лиза, это ты? Почему молодая?» Она улыбнулась, показав свои особенные, друг на друга сдвинутые зубы.

Он мог говорить, а она нет. Это его не удивляло. Она мертвая, а он живой. Висячий стул спланировал на пол и твердо стал на ножки. Ничего удивительного, все в порядке.

На стуле все еще сидела женщина, но это была не Лиза. Какая-то другая, незнакомая. Без удивления, без любопытства разглядывал он ее одним глазом. Зачем она здесь? Старая, седая, с заколотым на затылке пучком волос. В темном платье, в пепельно-серой вязаной кофте. Противно было на нее смотреть. Он закрыл глаз, отгородился веком.

Тут старая женщина чихнула дискантом: «Ти!» — и он узнал свою сестру Варю. Раскрыл глаз, взгляделся. И в самом деле — Варя.

Старая-старая. Должно быть, и я такой. Только и осталось в этой старухе от Вари, что «ти!» да еще надутая выпуклость губ.

«Видно, совсем худо мне, — подумал Федор Филатович, — если она приехала. Ведь у нее семья, дети, внуки». Не такими словами подумал, вообще, может быть, не словами. Мыслями подумал. Сдвинутые, они налезали друг на друга. И еще подумал, тоже не словами, а мыслями: «Это смерть моя за мной приехала». Идея смерти его не испугала. Ему было все равно.

Варя наклонилась к нему, взяла его руку в свою. Рука не ощущалась никак, не была ни

теплой, ни холодной, ни мягкой, ни жесткой. Варя заговорила свободно, непринужденно, даже весело. Как будто он мог ей ответить. Что она там рассказывала? Про детей, про внуков. Про жизнь в большом сибирском городе, где недавно построили плотину, сделали море, и зимой река не замерзает, над ней все время стоит пар. Зато летом вода холоднющая, совсем нельзя купаться.

— Все-таки купаются некоторые, — сказала Варя и засмеялась по-своему, чуть вбок. — Помнишь, как мама водила нас купаться?

Он отвечал «помню», хотя не мог говорить. Впрочем, говорить и не надо было. Говорила Варя, не умолкая, держа его за руку, с каждой минутой все больше превращаясь в ту рыженькую, преданную сестру его детства. Над рекой стоял пар и мешал ему разглядывать Варю.

— А знаешь, — говорила Варя, — я недавно на одном конгрессе встретила, подумать только, Клавдию! Представь себе, изучила стенографию, до сих пор работает, на пенсию — ни за что. Все такая же, хотя и постарела. О тебе и слушать не хочет. Непреклонная. Петя — инженер-программист, давно женат, живет отдельно, у него две девочки, близнецы, Люба и Соня. А Митя — тот зубной врач. Вообрази, так и не женился. Живет с матерью, выносит ее деспотизм. — Варя засмеялась: — Ты знаешь Клавдию!

«Митя, Митя! — закричал внутренне Федор Филатович. — Значит, Митей звали второго сына! Как это я мог забыть?! Митя же, Митя!»

И рваные, сквозь сон, сквозь Варину болтовню, потекли воспоминания. Митя в коляске, с соской, зажатой в руке. Митя в цинковой, звездами, ванночке. Мыльная пена. Мальчик стоит на

красненьких кривоватых ножках, держась руками за края ванны. Клавдия — молодая, смуглая, сзади его оберегает: не упал бы! А муж с развернутой мохнатой простыней стоит наготове, чтобы принять в нее сына. Кто это сказал, что в жизни он не любил ни одного ребенка? Митю же он любил, Митю!

Этой ночью кран бормотал с удвоенной силой. Он журчал, щебетал, чирикал. Он точил, расточал. Федору Филатовичу было все равно. Пусть себе течет, пусть надорвется, пусть разорвется этот кран!

После полуночи прекратилась подача воды. Кран несколько раз всхлипнул, втянул в себя воздух, свистнул и замолк.

Федор Филатович ничего этого уже не слышал, потому что он умер.

РАССКАЗЫ

«СКРИПКА РОТШИЛЬДА»

Рита и Полина Ивановна были приятельницами. Рита работала в школе преподавателем русского языка и литературы, а Полина Ивановна — лифтершей в доме, где жила Рита.

Очень были они разные. Рита — высокая, худая, шарнирная женщина, одни руки и ноги, помесь Дон Кихота с ветряной мельницей. Полина Ивановна, напротив, ростом небольшая, вся упакованная, крутопузатенькая, с черными твердыми антрацитовыми глазами.

Риту всегда одолевали проблемы, роившиеся вокруг нее, как слепни вокруг лошади. Для Полины Ивановны проблем не существовало — все они были уже решены. Тем не менее они с Ритой отлично ладили, охотно встречались, когда позволяло время. Времени у обеих было в обрез.

Рита по уши была занята в школе: уроки, советы, успеваемость, отчетность, сбор макулатуры да еще куча несправедливостей, с которыми она почитала долгом бороться. А пуще всего — тетради, от которых не было ни спасу, ни роздыху. Каждую надо было проверить, и она проверяла на совесть, до последней букочки, до точки с запя-

той, обильно посыпая страницы пеплом своих сигарет, которые курила непрестанно, с утра до ночи. Проверив работу, Рита в конце не просто ставила отметку, а писала развернутый отзыв. Русскую литературу она любила страстно и так же не могла прожить без книги, как без сигареты.

Полина Ивановна тоже была занята сверх меры. Дежурила она, правда, раз в три дня — сутки на работе, двое свободных, — но свое дежурство считала отдыхом. Зарабатывала она в другие, нерабочие дни: ходила частным образом убирать квартиры в том же доме, где жили в большинстве высокооплачиваемые. Брала она за уборку пятнадцать рублей (за окна отдельно) и говорила, что по нынешним временам это даром: берут и по двадцать, и по двадцать пять. В часы уборки сами высокооплачиваемые трудились на своих ответственных постах, а их жены — изнеженные и раскрашенные, во всем заграничном — прогуливали собак, послушно пережидая, пока породистый пес, задрав ногу, справлял естественную нужду. Иногда собаки снюхивались попарно, а их хозяйки, натянув поводки, как вожжи, вели между собой культурные беседы.

Тем временем Полина Ивановна проводила уборку. Высоко подоткнув и без того коротенькое платьице над белыми коленками, она мыла полы в местах общего пользования, по старому обычаю — головой вниз. Потом, уже головой вверх, вооружившись техникой (пылесосом или полотером) обрабатывала ковры, паркет и все остальное. К коврам, сервизам, магнитофонам и статуэткам Полина Ивановна относилась с уважением, а книг, грешным делом, не любила. Главное, и пылесосом толком до них не добраться — обти-

рай каждую отдельно. Сама она книг не читала — некогда. Работа, да и по дому дел невпроворот: купи, приготовь, выстирай. Семья! Муж, Николай Иванович, инвалид Отечественной войны, сын Игорь в армии и дочь Люда в неудачном браке. Сын Игорь отбывал службу исправно, получал поощрения, а с дочерью не повезло: муж оказался пьяницей и лодырем. Люда с ним помучилась-помучилась и развелась, и сели они с маленьким Садиком (большое имя Садат) туда же, на шею Полине Ивановне.

Рита же была женщина одинокая. Был у нее когда-то муж, тоже высокооплачиваемый, но ушел к другой. Спасибо, оставил Рите квартиру и книги, а себе взял машину и дачу. Как будто и со второй женой он не ужился — Рита в точности не знала. Было это давно, она уже и грустить кончила. Детей у нее не было, но она от этого не очень страдала: ученики — это дети в квадрате.

Полина Ивановна ходила к Рите не убирать, а так, по дружбе: денег лишних у Риты не было, да и нелишних до полочки редко хватало. Убирала она сама, неумело воюя с полотером и пылесосом, купленными еще тогда, при муже. Их устройство она, закоренелый гуманитарий, понять не могла даже в общих чертах (какую вилку куда). Вообще для нее электрический ток был враждебной загадкой, и словно чуя это, приборы у нее все время портились. Пылесос еще иногда, припадками, начинал работать, а полотер стал на вечный прикол в углу коридора.

Дружба Полины Ивановны с Ритой началась, когда однажды Рита застряла в лифте между этажами: монтера на месте не было, и Полина Ивановна сбегала куда-то и привела своего знакомо-

го, который согласился произвести спасательную операцию за бутылку. Рита на радостях дала ему шесть рублей (такие были цены!), а Полину Ивановну пригласила к себе на чашку кофе. Так оно и пошло — дружба на кофейной почве. Обе любили кофе, но Рита его покупала, а Полина Ивановна нет — дорого.

Полина Ивановна забегала к Рите между делами, нечасто и нередко, раз в несколько дней. Рита сразу же хваталась за кофейную мельницу. Мельница была старая, треснувшая, кругом обмотанная изоляционной лентой; в процессе работы она стонала и выла, вот-вот грозя развалиться, но все же молола.

За кофейком Рита с Полиной Ивановной по душам разговаривали, как говорится, «делились». Полина Ивановна, постарше годами, учила свою приятельницу уму-разуму:

— Смотрю я на вас, Рита Петровна, и, не обижайтесь, совсем жить вы не умеете. Вот вы кофе пьете, курите, и не какие-нибудь, а «Столичные». Книги покупаете. Трех дней не прошло — опять книга! Сколько же на это денег надо! Хоть бы вы у соседок поучились, как жить. У них сервизы, серванты, от платьев шкафы ломаются. А на вас свитерок один, и тот на локтях светится. А если бы не курить, и кофе не пить да книги побоку? Был бы у вас и свитер мохер, и ковер, и дубленка... А еще лучше — деньги на книжке. Лежат, есть не просят. Копили бы себе и копили.

— А зачем?

— Как зачем? На черный день.

— Будет ли он, этот черный день, — неизвестно. А может, я раньше умру? Я лучше сейчас поживу как хочется.

— Дело ваше. А по-моему, не так. Жить надо с обзором, с оглядкой. Мой Николай Иванович, даром что инвалид войны, раньше курил запоем. Я отучила. Спрячу деньги в потайное место, он тыр-пыр, а купить не на что. «Паша, — говорит (он меня Пашей зовет, по паспорту я Парасковья), — сил моих больше нет, душа просит курева. У нас на фронте и то давали, а в стране какая бедность была!» А я ему: «Потерпи, здесь не фронт. Там ты кровь проливал, а здесь не за что». И что же? Отвык. Перековался. Он у меня под дисциплиной! А ваш-то где сейчас, Рита Петровна?

— Не знаю. Гуляет где-то.

— Котует, значит.

— Ну, зачем так-таки и котует? У него своя жизнь.

— Все-таки, не обижайтесь на меня, Рита Петровна, профукали вы своего мужика. Много воли ему дали. За мужиком надо в четыре глаза следить: два при себе, два — за ним. А самое главное — денег ему не давать. Получку принесет — забери, спрячь. Ему в день на руки пятьдесят копеек. А если без транспорта, то и меньше. Вы у своего получку забирали?

— Нет.

— Интеллигенция! Вот и дождались.

— Дело не в этом. Может быть, я сама виновата, что он ушел. Не сумела создать ему домашний уют. Это ведь тоже наука.

— Уют уютом, а глаз само собой. Не порхай!

Вопрос о Ритиных заработках тоже тревожил Полину Ивановну:

— Только-то и всего? А тринадцатая зарплата? Премияльные?

— В школе этого нет.

— А больше ничем не прирабатываете?

— Ну, за проверку тетрадей. Пять рублей в месяц.

— Пять рублей! — возмущалась Полина Ивановна. — Это же два окна помыть, а если большое, с дверью, так и одно... Я помою за час, за полтора от силы. А вы на тетрадки сколько времени тратите?

— Не знаю... Много. Не считала.

— А надо считать. Выходит, я неученая, а больше вас зарабатываю. Если бы на мне бы не семья, у меня сберкнижка была бы во какая!

И показывала пальцами толстенький томик — вроде романа «Дворянское гнездо».

Однажды Полина Ивановна пришла взволнованная:

— Мой-то, Николай Иваныч, вы только подумайте, на курорты уехал!

— Да что вы? Куда же это? На юг?

— Нет, в средней полосе. Дали ему бесплатную путевку как инвалиду войны.

— Ой, как хорошо! — обрадовалась Рита.

— Хорошо, да не очень. С одного боку хорошо. Почти месяц — двадцать четыре дня — не поить его, не кормить: экономия. И свету меньше согрит. Он по вечерам читать любит — борюсь с этим. Подождет, пока засну, и обратно читает. Люда-то с Садиком рано ложатся...

— А что же вас беспокоит?

— Боюсь, загуляет он там с приятелями-инвалидами. Я ему денег в обрез дала: дорога туда-обратно. На эти деньги не разгуляешься. А все-таки сердце неспокойно. Боюсь на него дурного влияния. Он у меня слабовольный.

...Недели через две пришла Полина Ивановна чернее ночи, и губы поджаты:

— Телеграмму отбил Николай-то мой Иваныч. Чуяло мое сердце, смотрите.

Рита прочла:

ПАША ВЫШЛИ ПЯТЬ РУБЛЕЙ НЕ МОГУ УЕХАТЬ КОЛЯ

— Видали буржуя-капиталиста? — спросила Полина Ивановна. — Как в воду глядела: растратился там с дружками-приятелями. Вот и пускай такого на курорты.

— А вы ему выслали деньги?

— Как же, выслала! Держи карман! Я эти деньги горбом зарабатываю, тру-скребу, а ему на забаву. Нет уж, пускай сам как хочет, так и выпутывается. Меня тут нет.

У Риты защемило сердце. Вспомнила она Николая Ивановича, скромного, лысого, с палочкой, со скрюченной правой рукой и полуподвижной левой, как приходил он к ней чинить пылесос, как говорил вместо «видите ли» — «винтили»... Как не хотел брать денег за починку, как, сопротивляясь, все-таки взял, и какие у него были грустные глаза... У Риты даже в носу защипало.

— Полина Ивановна, возьмите, ради бога, у меня пять рублей, пошлите ему!

Полина Ивановна обиделась:

— Я не нищая. У меня деньги есть. Я для воспитания не пошлю, из принципа.

Ушла. И кофе не выпила. И дверью не то что хлопнула — просто громко ее за собой закрыла. Рита совсем расстроилась, но оказалось, что зря: через несколько дней пришла Полина Ивановна

как ни в чем не бывало, забыла обиду. Рита обрадовалась и включила мельницу. На этот раз мельница заржала, но опомнилась и стала молоть. Рита каждый раз чувствовала, что это — последний раз. Еще один помол — и мельница выйдет из строя непоправимо...

— Ну как, вернулся Николай Иванович? — спросила она.

— Как миленький. Куда он денется...

— Вы, значит, ему деньги послали?

— Нашли дуру! Ни копейки. Соседи по палате скинулись, собрали ему на дорогу. И правильно. Я не миллиардерка какая-нибудь, чтобы зря деньги кидать. У меня еще своей яхты нет. А он-то оттуда — вообразите! — пачку привез сигарет. Выйдет на лестницу и там втихаря смолит. Отобрала, выбросила. Не надо мне курящего мужа, и без него одни нехватки в доме. Садику вчера пинетки купила, импортные. На одну чайную заварку сколько идет! Говорю: «Пей пожизне», — а он погуще норовит. А сколько я из-за него работы пропустила! В дорогу собирала — раз. К Софье Петровне не пошла, из шестого подъезда. Встречала — целый отгул на него потратила. Это что же? Тридцати рублей как не было!

Рита принахмурилась. Какое-то навязчивое воспоминание кололо ей душу. Откуда это? Где это она читала похожее? Ах, да! Вспомнила.

— Какие убытки! — сказала она полувслух. Но у Полины Ивановны слух был отличный.

— Что за убытки? — спросила она. — И чего это вы, Рита Петровна, про убытки начали? Это что я у вас кофе пью? Так я не навязывалась, сами звали. Могу и не приходиться.

Рита расхохоталась:

— Да что вы, Полина Ивановна, бог с вами! Это не я про убытки, это Чехов, «Скрипка Ротшильда», любимый мой рассказ. Читали?

— Чехов? В школе как будто проходили. «Каштанка».

— Не «Каштанка», а «Скрипка Ротшильда». Удивительный рассказ! Вам непременно надо его прочесть.

— Когда мне читать? — обиделась Полина Ивановна. — При моей-то жизни! Крутишься-вертишься, как шар голубой, тут и голову расчесать некогда, не то что рассказы!

Риту осенило:

— Давайте я вам прочту вслух этот рассказ. Он короткий, увидите, вам будет интересно.

— Не надо мне, Рита Петровна, даром не надо. Я художественное чтение и по радио всегда выключаю.

— А я не художественно буду читать, а просто как человек человеку. Пожалуйста, Полина Ивановна! В порядке личного одолжения.

Уговорила. Принесла томик Чехова, начала читать. От странной, задумчивой мелодики рассказа у нее шли мурашки по коже...

...Рита читала про старого гробовщика Якова, по прозвищу Бронза. Как он жил, делал гробы, как играл на скрипке по свадьбам ради заработка. Полина Ивановна слушала безучастно, сразу видно, что в порядке личного одолжения. Даже разок зевнула, прикрыв рот рукой:

— «...Яков никогда не был в хорошем расположении духа, — читала Рита, — так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенье и праздники грешно

было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь какой убыток!

Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче».

Полина Ивановна впервые чуть-чуть оживилась.

— Скрипкой, значит, утешался, — сказала она. — Какой хитрый! На это они мастера.

— А что, интересно? — с надеждой спросила Рита.

— Вроде поинтересней стало. Сперва скучно.

— А вы послушайте. Дальше еще интереснее: «Марфа, жена Якова, вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке, когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами...»

— Надо же! — осудила Полина Ивановна. — Волю себе какую взял.

— «Он думал о том, — продолжала Рита, — что если бы эту пропащую тысячу положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей...»

— Это верно, — сказала Полина Ивановна. — Вот и я прошлый год получила отпускные и дома оставила, в шкатулке. А их бы на книжку, процент бы какой-никакой, а набежал.

Рита рассердилась:

— Это вы не по делу. Читать дальше? Или не надо? Если не нравится, могу перестать.

— Ша! Молчу. Читайте.

— «Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю».

Полина Ивановна ахнула.

— «Лицо у нее было розовое от жара, — читала Рита, — необыкновенно ясное и радостное...»

— А чего радоваться? — удивилась Полина Ивановна. — Что умирает?

— Вот именно. Тут так и сказано: «была рада, что уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова...»

— Что-то не верится. Всякое живое свою жизнь любит.

— Это смотря какая жизнь.

— Ох, верно! Бывает и жизнь хуже смерти.

Показалось Рите или нет, что в этих словах на миг что-то мелькнуло? Нет, показалось. Полина Ивановна слушала все так же невозмутимо, разве чуть повнимательнее, чем вначале.

— «Глядя на старуху, — читала Рита, — Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду...»

«Только горячую воду», — со значением повторила Рита, взглянула в глаза Полине Ивановне и где-то, в их каменноугольной черноте, увидела что-то влажное, подозрительно похожее на слезу...

— Бывают такие звери, — сказала Полина Ивановна. — Паразиты.

— Читать дальше?

— Ну.

...Рита читала дальше — как Яков отвез старуху к фельдшеру, как фельдшер сказал: «Пожила старушка, пора и честь знать», как упрасивал Яков фельдшера хоть банки ей поставить и как тот ответил: «Некогда, некогда, любезный, бери свою старуху и уходи с богом».

Полина Ивановна, слушая, становилась все грустнее и даже кулачком подперлась, как деревенская.

— Какая тогда медицина была! — сказала она. — Это при царском еще режиме?

— При царском. Но дело не в этом. Вы дальше послушайте.

— Умрет она?

— Умрет.

— Зачем же тогда читать? Только действовать на нервную систему.

— Литература, — сказала Рита самым педагогическим своим голосом, — тем и сильна, что действует на нервную систему. Ну как, перестать или будете слушать?

— Да нет уж, послушаю. Я все равно уже расстроилась. И стирку сегодня не успею, жаль, белье намочено...

Рита читала о том, как приехали они домой, как стояла Марфа, держась за печку, не решаясь

лечь, боясь, что Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она лежит и не хочет работать... Как рассчитал Яков, что старуха на днях непременно умрет, а завтра Иоанна Богослова, а там — Николая Чудотворца, а там — воскресенье, а за ним — понедельник, тяжелый день, и, значит, гроб надо делать сегодня. Как снял он со старухи мерку и стал делать для нее гроб. А закончив работу, записал в книжку убытков: «Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».

Рита очень надеялась на эту подробность: мерку снимают, гроб делают, а человек еще жив. Есть от чего растрогаться. Но Полину Ивановну заинтересовало другое: сумма 2 р. 40 к.

— Так дешево?

— Деньги другие были, — сухо ответила Рита. — Ну как, будете слушать или считать, почему гроб?

— Буду слушать, только не сердитесь. Слова сказать нельзя. Читайте.

...Рита приближалась к самому любимому своему, заветному месту, и голос у нее киснул от внутренних слез:

— «...Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели... под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится, — сказал он».

Тут вдруг Полина Ивановна заплакала.

— И что это за люди такие? — сквозь слезу бормотала она. — Ребенок родился, а он и забыл. Это надо же!

— Читать? — строго спросила Рита, замирая от внутреннего торжества.

— Да уж чего там, читайте, одно горе, не два.

...Полина Ивановна комкала в руке мокрый платок и время от времени прерывисто вздыхала, а Рита читала о том, как умерла старуха, как возвращался Яков с кладбища, сам полубольной, и как одолевали его мысли об убытках: и почему это человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? И зачем люди мешают друг другу жить? И как Яков вспоминал о своей жизни с Марфой: «Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака...»

Это уподобление, кажется, доконало Полину Ивановну.

— Нет, не могу! — сказала она, рыдая. — Вы из меня все нервы вытянете. Вы лучше мне своими словами расскажите, что там дальше было, чем кончилось?

— Ладно, могу и своими, только учтите, будет хуже. Дальше приходит к нему еврей Ротшильд, с которым он вместе на свадьбах играл. Жалкий такой, тощий, на лице веснушки и жилки, красные и синие, как сеточка. И зовет его играть на свадьбе. А Яков заболевает, практически уже заболел. Ротшильд вдруг ему ужасно противен, Яков бросился на него с кулаками. А тот испугал-

ся, побежал... За ним мальчишки... а следом еще погнались собаки, лают, одна его укусила, Ротшильд жалобно так закричал... Так и слышу этот крик, там про него сказано: «болезненный»...

— Про Ротшильда неинтересно, — сказала Полина Ивановна. — С Яковом дальше что?

— Ну, идет он по городу куда глаза глядят и вдруг пришел на реку. Тут опять всякие рассуждения про убытки, я их пропущу. И вот... Постойте, я лучше вам это место по книге прочитаю, тут нельзя своими словами, тут каждое слово — жемчужина...

— Не надо, — взмолилась Полина Ивановна. — Вашими словами я еще могу вынести, а его — нет. Реву, как корова ненормальная.

— Ничего, тут совсем немного: «А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа... Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!»

Тут Полина Ивановна и в самом деле заревела — громко, с икотой, с подвывом. Рита даже испугалась:

— Успокойтесь, Полина Ивановна, воды выпейте!

Полина Ивановна не пила, отталкивала стакан, трясла головой и сквозь икоту все повторяла какое-то слово. «Младенец», — услышала Рита.

— Полина Ивановна, милая, перестаньте, нельзя же так!

— А вы чего хотели? Я же вас предупреждала!

Чуть-чуть успокоившись, она сказала с досадой:

— И слова-то какие подобрал ядовитые: «младенчик». Сказал бы по-простому «ребенок», а то «младенчик». А мне переживать. Нет уж, Рита Петровна, как хотите, а больше я его словами слушать не буду. Вы своими словами да покороче: чем кончилось?

— Кончилось тем, что Яков Бронза заболел и умер. А свою скрипку завещал Ротшильду.

— Это почему?

— Потому, что зря его обидел. Здесь как про это написано: «Он недоумевал...»

— Хватит, — решительно заявила Полина Ивановна, — больше не позволю. Поиграли на моих нервах. Я от его слов вся слезами изошла. И за что только им, писателям, деньги платят?

И опять заплакала. Рита заодно тоже пролила слезу.

Отплакалась, помолчали.

— Простите, что я вас расстроила. Я не ожидала такой реакции.

— Да уж что там. Только другой раз не надо. Уши закрою и слушать не стану.

— Может, еще кофейку?

— Давайте. Для укрепления нервов.

Налили еще по чашечке.

— А знаете, что я надумала, Рита Петровна? — неожиданно мягко сказала Полина. — Сведу-ка я сегодня своего Николая Иваныча в кино! Тоже жизнь у него не очень веселая. Шугаю я его да шпыняю — только и радости. Пойдем в кино, билет — пятьдесят копеек, на двоих — рубль. Что мне, рубля жалко?

Рита возликовала:

— Как вы хорошо придумали! Именно в кино!

— Свожу, честное слово.

Полина Ивановна допила кофе, вышла в прихожую, повязалась платком, взглянула на себя в зеркало, усмехнулась одним уголком рта, сказала: «Младенчик...» — и ушла.

Оставшись одна, Рита много думала о воспитательном значении великой русской литературы. А некоторые его недооценивают, из года в год сокращают часы! И еще она думала, что на уроках меньше надо говорить «своими словами», а больше «его словами», чтобы слушали и плакали...

Через неделю опять зашла Полина Ивановна, как всегда, спокойная, твердая. Мельница не хотела молот, но Рита стукнула ее кулаком по крышке — замолола. «Технику вообще полезно встряхнуть, — подумала Рита, — что-то там перемещается и вдруг встает на место. Так и человека иногда полезно встряхнуть».

Но Полина Ивановна о своей давешней встряске не вспоминала. Мирно пила кофе.

— Ну, как, свели вы тогда Николая Ивановича в кино? — не удержалась, спросила Рита.

— Нет, — ответила Полина Ивановна. — Не успели мы с ним в кино. Начали про вас разговаривать и считать. Сколько вы получаете и сколько тратите. Сколько на сигареты, сколько на кофе, да на прачечную, да на книжки... На счетах прикидывали... Так до вечера и просчитали.

ЗА ПРОХОДНОЙ

*Создателям первых
космических ракет*

Введение

Большой пустырь на окраине большого города. Конечная остановка трамвая. Дальше ехать некуда — кольцо. Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей, неприбранной окраины. Какие-то доски, черные под дождем, рельсы, шалаши, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей — тоненькие, в палец, деревья, высаженные в порядке обязательного озеленения, мокрые, в печальных каплях. На каждом — один-два уцелевших, крупных по дереву, черно-коричневых листа.

От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая, скользкая дорога, вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях — желтая, мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной, стеной. По верху стены — в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота; рядом часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают — без груза. Рядом с воротами — неказистое зданьеце вроде кирпичного сарая. Это — проходная.

Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской. Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было: краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит желтым худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света морозящего дня.

В стене — два окошка, за ними — девушки, выдающие пропуска. Медленная, равнодушная очередь. Люди ждут молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, обменяются с девушкой двумя-тремя фразами вроде: «В лабораторию Холодных»; «Ваше предписание»; «Пропуск заказан позавчера». Время тянется; слышно, как девушка кричит по телефону: «Вызываю сопровождающего по вашей заявке, прибыл Житков из двенадцатого». Житков из двенадцатого стоит и ждет сопровождающего.

Через четверть часа приходит сопровождающий. Это молодой парень в куртке с «молниями». Он осведомляется, кто здесь Житков, и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова — книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная, непреклонная надпись: «Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещается». Книгу приходится сдать в камеру хранения, где на полках навалом лежит всякое «и прочее»: сумки с продуктами, рулоны бумаги,

детский велосипед. Принимает этот крамольный реквизит тетя Маша, немолодая женщина в застиранном синем халате, спящая на ходу. Она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет до следующей вещи. Безграничная скука гардеробных, камер хранения (вообще всех пунктов, работа которых основана на недоверии) царит в проходной. Житков на минуту задумывается: а может ли любить свою работу эта, например, тетка? Стараться сделать ее лучше? Наверно, нет. Здесь не может быть лучше или хуже — можно только терпеть и ждать.

Впрочем, бог с ним, с Житковым. Мы больше с ним не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и сопровождающего — молодого парня в изрезанной «молниями» куртке, с такими острыми и белыми зубами, что кажется, будто во рту у него тысяча зубов, а на куртке — тысяча молний. Он научный сотрудник десятой лаборатории. Функции сопровождающего несут все инженеры и научные сотрудники по очереди.

Сегодня от десятой лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов, молодой ученый, один из ведущих в лаборатории, по прозвищу Вовка-критик. Кроме него в лаборатории есть еще два Владимира: Вовка-умный и просто Вовка. То, что в одной лаборатории три Владимира, неудивительно, если учесть общий процент Владимиров в населении. На этот счет Вовка-критик не поленился провести специальное исследование (методом выборочного анализа) и установил, что в составе мужского населения нашей страны около 13 процентов Владимиров и что в десятой

лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы.

Так вот эта лаборатория № 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа: у нее есть личность. Мне, во всяком случае, она кажется человеком.

Здесь, в институте — за проходной, — много лабораторий. Еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Эта, десятая, ничем выдающимся не примечательна. Впрочем, посмотрим.

В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию № 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в девятнадцатом веке — пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим.

Лаборатория

Десятая лаборатория — на втором этаже главного корпуса. Она занимает несколько комнат. Среди них: собственно лаборатория, препараторская, мастерская. Есть еще фотолаборатория, вернее, фоточулан. Две комнаты отведены для научной работы — одна большая, другая маленькая. В большой комнате довольно тесно, впритык и под углами расставлены канцелярские столы — желтые, плохо фанерованные, занозистые по краям. На некоторых столах — счетные машины-полуавтоматы. Для обеззвучивания они поставлены на пухлые резиновые коврики. Это мало помогает: когда работают сразу две-три машины, разговаривать можно только криком. Впрочем,

здесь привыкли к шуму. Шумят машины, шумят люди, надрывается телефон.

На стене — классная доска светло-коричневого цвета. На ней какие-то формулы (под одной крупно: кретинизм), кривые, наброски схем. Информация: «Желающие пойти на Рихтера запишайтесь в первом отделе». Справа вверху загадочная надпись: «Каюку каюк».

Стены — тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные. Висит портрет; от другого остался гвоздь. На противоположной стене плакат: «Храните деньги в сберегательной кассе». Улыбающаяся семья: муж, жена, ребенок на фоне сберкнижки. У всех совершенно одинаковые лица: русые, здоровые, розовые. Умеренно вздернутые носы, синие глаза, белые зубы. Похожи друг на друга, как двойники, и не только друг на друга — на тысячи персонажей с картин, реклам, открыток, календарей. Потому глаз и не задерживается на плакате. Спросите любого из тех, кто работает в комнате: что нарисовано на плакате? Наверняка не помнит. Не смотрел.

Странная все-таки штука — искусство. Мы замечаем его, когда оно выражено в больших вещах. Но ведь изо дня в день мы живем в окружении мелких, забываемых, проходных вещей, которые в каком-то смысле — тоже искусство. Взять, например, спичечные коробки. Ведь на каждом из них что-то нарисовано. Кто-то делал этикетку, старался, чтобы было хорошо. Красиво. А спроси у своего соседа: что нарисовано на коробке, который ты сегодня десять раз вынимал из кармана? Не скажет.

И так повсюду. Если посмотреть внимательно, можно заметить вокруг себя, в полном небреже-

нии, множество предметов искусства. Вот, например, ящик письменного стола. Вокруг замочной скважины — жестяная, погнутая, отставшая бляха. Скважина никому не нужна: ключ потерян, да и не запирает никогда. А всмотришься в бляху — и поди ж ты: вокруг рваного, режущего края выбит нехитрый узорчик — веночек из мелких цветочков. Для красоты. Где-то на фабрике, по неизвестно кем утвержденному образцу, штампуют жестянки с красотой, а они через три дня отваливаются.

На столе — табель-календарь. На нем, разумеется, картинка: семья на пляже, счастье. Напечатано плохо, неаккуратно. Красные трусики счастливой матери сместились на полбедре вбок, и красный флаг на речном вокзале трепыхается в небе отдельно от флагштока. Не все ли равно? Никто ведь не замечает, есть картинка или нет. Пожалуй, большинство (кроме, может быть, маленьких детей) предпочло бы календарь без картинки. Конверт без картинки. Чашку без картинки. Нет, нельзя почему-то. Так уж повелось: есть свободное место — валяй. Картинку туда, красоту. Вали, дави, штампуй. Вот и течет мимо нас красота: жестяная, бумажная, картонная, румяная, русая, счастливая, никакая. Течет, заливают все кругом, а ее никто, решительно никто не замечает. Больно подумать о тех, кто ее делал. Какая судьба: плодить красоту, чтобы ее не замечали!

Страшная судьба! Такой ли судьбы я хочу?

Это не мои мысли. Так думает, глядя на плакат со сберкассой, научный сотрудник десятой лаборатории Женя Стрельцов, по прозвищу Женькалирик. Лириком его прозвали за то, что пишет

стихи. Когда-то пробовал показывать их товарищам — высмеяли. И правда, стихи были неважные. Но что он мог поделаться с собой, если они жужжали у него в душе, как пчелиный рой, — жужжали и жалили?

По специальности Женька — физик и работает наравне с другими. Но чего-то в нем слишком много. Душевные излишества, как сказал однажды Вовка-критик.

Женька — высокий, черномазый, с острым, кривым на конце носом. На низком лбу — косая, черная с сединой прядь, а под ней глаза — угольные, дикие. Когда Женька работает, он все время издает звуки — не то пыхтит, не то стонет. Он сидит за столом, исступленно кусая ногти, по двадцать раз принимая и отбрасывая каждую гипотезу, сомневаясь, ликуя, отчаиваясь. И тут же, рядом с мыслями, в нем толкутся образы, яркие до боли. Он не просто смотрит — он видит. Желтая стена с трещиной, косые капли на грязном стекле, мокрые голуби на крыше, дым из трубы. Ему страшно интересно смотреть на все это. Просто смотреть, как расставлены в пространстве вещи: какая ближе, какая дальше. Ему горячо внутри, когда он все это видит. Когда-нибудь потом, когда кончится вечный аврал, он обо всем этом напишет такими словами, чтобы другим тоже стало горячо внутри. А пока что дела идут густо, как сельдь в косяке.

На товарищей своих он просто молится. Как ему повезло, что он попал в эту нашу, мою любимую десятую, где такие ребята, такая работа! От нее ошалевают, от нее падают с ног и все-таки не могут оторваться. Почему до сих пор никто не писал об этом? С такой же силой, как у Горького,

когда люди скопом грузили (или разгружали?) баржу. Вот так бы описать азарт коллективной умственной работы. Когда голоса (буквально!) сипнут от споров, давно потеряно чувство времени — день или ночь? — когда голубой прокуренный воздух так плотен, что, кажется, можно его резать ножом. Когда один не может, другой не может, а вот вместе — ухватились, навалились: «Раз, два, взяли!» — и сдвинули с места задачу, сперва тихонько, а там, смотришь, «сама пойдет, сама пойдет»... и эх, валяй, братцы, до чего ж хорошо! А кто об этом напишет? Женька Стрельцов напишет. Больше некому.

Каюк

За соседним столом сидит Кирилл — по прозвищу Каюк — и творит.

Здесь, в десятой лаборатории, вообще в ходу прозвища. Какое-то застарелое детство. Серьезные люди, научные работники, почти все — кандидаты, а по разговору — школьники: все шуточки да клички.

Почему Кирилла прозвали Каюк — этого уже никто не помнит, но имя идет ему. Маленький, круглый, жесткий, как жук, и рукава черного рабочего халата топорщатся, как надкрылья. Он пишет отчет и глух ко всему на свете. Как тетерев на току. Женька-лирик — поэт, Каюк — прозаик. Готов писать отчеты с утра до ночи, по четырнадцать часов в сутки, и все ему мало. Товарищи знают его страсть и пользуются ею: «Писать будет Каюк». И он пишет. Кругом спорят, шутят, ругаются. Каюк пишет. В отчеты он вкладывает чув-

ство, поэзию, драматизм. Выходит за всякие рамки. Товарищи над ним потешаются. Каждый раз, когда Каюк заканчивает отчет, начинается «номер»: коллективное художественное чтение.

— Братцы, вы только послушайте, что он пишет: «бесподобный метод интегрирования»...

— Нет, дальше лучше: «решение этой задачи дрожало у нас на кончике пера»...

— «Испытания носили двусмысленный характер»...

— «Интеграл ведет себя вполне прилично»...

И так далее. Каждая фраза встречается хохотом. Как пятиклассники на перемене, читающие любовное письмо. Каюк ежится и топорщит надкрылья. Заикаясь, пытается отвоевать свое право писать красиво. Но ему в этом праве неизменно отказывают: «Друг Аркадий, не говори красиво». Чаще всего за красный карандаш берется Вовка-критик. Он садится за отчет, вымарывает все цветистые фразы и вместо них ставит другие — скупые и скудные: «эффективный метод интегрирования»; «мы были близки к решению этой задачи»; «в процессе испытаний были выявлены противоречащие друг другу факты»; «интеграл сходится в смысле главного значения». Дурак Каюк, думает он, какая безвкусица. Не понимает, в чем настоящая поэзия. Для самого Критика стихами звучат такие, например, строки:

«Пересечение последовательности внутренне регулярных множеств внутренне регулярно; пересечение убывающей последовательности внешне регулярных множеств конечной меры внешне регулярно».

Четкость, лаконизм, ритм. Фраза, собранная из слов, как механизм — из деталей. Именно к та-

кой поэзии стремится сам Критик в своих писаниях и ненавидит, как он выражается, «литературные сопли» Каюка. После правки Критика отчет становится относительно пристойным. Разумеется, в нем не хватает высшей поэзии, но приличия соблюдены. И только иногда, читая отчет уже переплетенным, Критик морщится, натываясь на свои огрехи. Они торчат в гладком тексте, как занозы. Какие-то шершавые кусочки фраз: «а это как сказать», «может быть, и не так», «главное не в этом».

Не далее как сегодня любимый толстый отчет, последнее детище Каюка, которое товарищи называли «пестунчиком», подвергся жестокой правке Критика, о чем и свидетельствовала странная фраза на доске: «Каюку каюк». Не обошлось без споров. Женька-лирик заступился за Каюка и заявил, что править его отчеты — все равно что стирать пыльцу с крыльев бабочки. «А вот мы ее, эту пыльцу», — сурово изрек Критик и жирно перечеркнул красным карандашом целых полстраницы. А впрочем, Вовка-критик — совершенно живой человек, с этим не мог бы спорить даже сам пострадавший Каюк. В лаборатории о нем говорят: «Новый литературный тип — положительный стилига». Вовка вылощен, сух, подтянут, весь на шарнирчиках. Красивый, стройный, причесанный — волосы одним куском, как лакированное черное дерево. К его бледно-смуглому лицу очень идет светло-кремовая, до блеска отглаженная рубашка. За ней так и видится безупречный, идеально налаженный быт, чьи-то руки, которые в свое время стирают и гладят рубашку и бесшумно, услужливо подают ее утром хозяину дома. Но Критик

не женат и свои рубашки стирает и гладит сам — ночью, после работы. Щеголь, чистюля, брезгун — весь в иронии, как в отглаженной рубашке. Любое проявление чувств он считает неряшеством. Сегодня он дежурит на сопровождении и злится. Во-первых, ему предстоит провожать в лабораторию какого-то корреспондента. Шляются, бездельники. Во-вторых, Критику только сегодня стало ясно, что он любит Зинку. Неоригинально!

Зинка и Клара

Влюбляться в Зинку действительно было неоригинально. В разное время и по-разному в нее, кажется, перелюблялись все. А ведь она и не красива в обычном смысле слова. Вот уж кто не годится на плакат про сберкассу — Зинка. Небольшого роста, худенькая, со смуглым, матово-пепельным лицом, вся какая-то одноцветная: глаза, волосы, брови. Словно портрет сепией на оберточной бумаге. И одевается Зинка всегда скромно и бесцветно: какой-нибудь старенький свитер под самое горло, суконная юбочка по колено, на тонких пряменьких ногах — подростковые туфли. Голос — глухой и сипловатый, тоже пепельный. Ничего особенного. Разве что волосы: густые, полудлинные, не вьющиеся, а кривые. Каждая прядь, по шею длиной, падает, падает совершенно прямо, а под конец словно вздыхает и чуть-чуть загибается кверху. Вот и все.

В каждом коллективе, если он человек, бывает совесть. Зинка — совесть десятой лаборатории. При ней нельзя сказать пошлость,

сделать мелкость. Она видит все и осуждает жестоко.

В науке Зинка — из самых способных. Самая, пожалуй, способная после Вовки-умного и Мега-тонны. Никто лучше ее не может придумать опыт, поставить, отладить. На испытаниях ей нет равных. В ватнике, в стеганых брюках, в больших резиновых сапогах, по колено заляпанных грязью, в крохотных рукавичках, дующая в кулачок, озябшая Зинка выносливее всех мужчин. Главное — постоянная напряженность мысли. Зинке даже ночью нет покоя, она не спит и во сне. Сон весь клубится мыслями: формулы, приборы, решения. Что, если попробовать сделать вот так? Иногда она среди ночи вставала с постели и, стоя у стола на одной смуглой босой ноге, по-птичьи поджав другую, торопилась записать идею, пришедшую во сне.

В лабораторию Зинка пришла уже кандидатом. Да, не такая уж молоденькая — лет тридцати, может быть. А все-таки все в нее влюблялись. К влюбленным она относилась без всякого кокетства, серьезно и сочувственно, но сама никого полюбить не могла. «Наверное, у нее что-то в прошлом», — говорила Клара. Но Зинку никто о ее прошлом не спрашивал. Здесь вообще никого ни о чем не спрашивают: скажет сам — хорошо; промолчит — тоже неплохо.

А Клара работает за соседним столом, как нарочно, чтобы оттенить Зинку. Клара — пышная, яркая, золотая, с голубыми глазами, с четко выведенными губами, с такой чистой и гладкой розовой кожей, что смотреть на нее просто неловко. Слишком белая. Слишком розовая. Слишком красивая. Так не бывает. Между собой

товарищи называют ее не очень лестным прозвищем: «Три пирожных сразу». Как-то не вяжется она, в своем изобилии, с обмызганными стенами, канцелярскими столами. А вот Зинка — скромная, пепельная Зинка, — та словно приросла к этим стенам и столам. Зинка со своими поношенными туфельками и смуглыми пальцами без маникюра.

Рабочий шум

В десятой лаборатории идет работа. И вместе с ней, параллельно ей, внутри нее все время звучат разговоры. Рабочий шум, как говорят здесь. Послушаем, что это за шум. В углу за столом — двое. В руках у одного — бумажная лента с отпечатанными столбиками цифр. Другой заполняет ведомость и сверяет данные. Между ними идет диалог:

— Два. Альфа меньше.

— Четыре.

— Двадцать семь.

— Не может быть.

— Говорю тебе, двадцать семь. Возможен эксцесс.

— Иди ты к черту со своим эксцессом. Эксцесс! Любишь умные слова. Просто наврали при дешифрировании.

Этот диалог — словно фон, на котором идут все другие разговоры.

— Я же говорил вам, товарищи, что мы приняли неверную тактику. Мы уходили и приходили, а надо было просто не уходить. Раздразнили старца, он и развоевался.

— Нет, я просто не могу понять, какое право они имеют нас гнать? Это же посягательство на нашу свободу.

— Свобода есть осознанная необходимость. Учили-учили, а ты все свое.

— Учили. Конституцию тоже учили. Там так и написано: право на труд.

— Бедный. Труда ему не хватает.

— Труда хватает, но нужно создать условия. Может, я целый день думал, ничего не придумал, а к шести часам прорезалось. И вдруг звонок. На самой середине мысли.

— Воображаю, какая это была золотая мысль.

Этот разговор следует пояснить. Дело в том, что мы застали лабораторию в тревожное для нее время: в разгаре борьбы за десятичасовой рабочий день. Институтское начальство узнало, что во многих лабораториях засиживаются до поздней ночи, расходуют энергию, и издало приказ. Работающих стали выгонять вон по звонку. «На самой середине мысли». Они пробовали, потоптавшись на пустыре, вернуться обратно. Не тут-то было. Старик вахтер оборонял служебное помещение как личную собственность. Однажды проходную взяли приступом. Начальство (так называемый «старец») обещало репрессии. Парламентером был послан Критик, известный способностью говорить гладко и убедительно на любую тему. Начальство настаивало на семичасовом дне, в крайнем случае соглашалось на восьмичасовой. Критик сначала заломил двенадцатичасовой, но потом сбавил и сполз до десятичасового. Начальство не шло на уступки. Критик — тоже, оба вошли в азарт. Кончилось ничем: Критик вернулся в ла-

бораторию и с юмором изображал, как шел торг (совсем как на ярмарке, только не хватало шапки, чтобы кидать на пол). Сегодня все были в волнении и решили после звонка не уходить, и все тут. «Пусть выведут с милиционером» (это — Зинка).

Гудит фон:

— Восемь.

— Два.

— Семнадцать.

— Одиннадцать.

.....
А на фоне — разговоры, отдельные фразы:

— Опять целую серию заporоли. Смотрите, не пленка, а порнография.

— А может, так и было?

— Не может быть. Чудес не бывает. Если так и было, придется признать существование Бога.

— Ну что же. Идея сама по себе не так уж абсурдна. Не хуже многих твоих.

.....
— Смотрите, снова статья на тему «Сможет ли машина когда-нибудь полностью заменить человека?».

— Вопрос риторический и принадлежит к числу неправильно поставленных. Пользы от него немного. Примерно столько же, как от вопроса: может ли всемогущий Бог создать такой камень, который сам поднять не может?

— А я думаю, перед тем как ставить такой вопрос, нужно сначала дать определение: что такое человек и что такое машина? Разумеется, если определить машину как устройство, которое ни при каких условиях не может заменить человека, вопрос автоматически снимается.

— Слушай, ты совсем очумел! Сто часов машинного времени! Кто тебе даст? На твою паскудную задачку?

— Сам брал на свою паскудную! Двести часов слопал.

— Я брал в интересах науки.

— А я в чьих же? Личного обогащения?

.....
— Интегрировал, аж вспотел.

— А знаете что, друзья, ведь на нашем примере можно убедиться в правильности тезиса о стирании противоположности между умственным трудом и физическим. Наш умственный труд приобрел все черты физического.

— Ну, пошел разводить демагогию.

.....
А вот большой разговор, целой группой:

— И все-таки в чем-то Полетаев прав*.

— Прав он в том, что работает и знает почему фунт лиха. А статья его — верх идиотизма.

— А почему же все-таки на диспуте молодежь его так поддерживала?

— Очевидно, он задел какие-то струны. Молодежь чувствует, что сегодня нужно какое-то другое искусство, что культура — не в том, чтобы перечитывать, даже переводить Ронсара и Вийона (это — Женька).

— Давно пора перейти в искусстве на самообслуживание (это, кажется, Вовка-критик).

* Речь идет о широко обсуждавшейся в свое время дискуссии на тему о «физиках» и «лириках» между писателем И.Эренбургом и инженером И.Полетаевым, публиковавшейся на пороге шестидесятых годов в «Комсомольской правде». (Примеч. авт.)

— Товарищи, я лично — за Полетаева. Конечно, он выступил неудачно (заикается — значит, Каюк). Но в основном он прав. Почему культурным надо считать того, кто любит Баха и Блока? А мне, может быть, невкусно читать Баха и Блока. Не грохочите, это из Чернышевского: «Рахметову было вкусно».

— Послушайте — Каюк-то, Каюк! Валаамова ослица заговорила!

— Не ржите. Я серьезно говорю. Я предлагаю пойти к Эренбургу и спросить: что такое вторая космическая скорость? Наверняка не знает. Значит, он некультурен. Я к нему претензий не имею, пусть пишет. Но пусть он на нас не фыркает. Культура!

— Сам-то ты больно культурен.

— А я и не хвастаюсь. Я не очень культурен. Разве только чуточку культурнее Эренбурга.

— Тоже загнул. Эренбург языки знает.

...Смех. Постепенно он замирает, и вдруг становится слышен один голос — негромкий, сипловатый. Что это он читает? Как будто стихи. Голос звучит невыразительно, почти на одной ноте, запинаясь, останавливаясь, словно соображая:

— Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груды слов — ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...

— Что это? Постой, что это?

— Не что, а кто, дурья голова.

— Ну, кто это?

— Это он. Эренбург.

Молчание. Тут действительно ничего не скажешь. Молчит даже Каюк.

Романтики и статистики

За столом, что подальше от окна, стиснутый грудами справочников, сидит Яша-статистик. Он никогда ни с кем не спорит, только молчит и слушает. Уши у него оттопырены, каждый волос стоит и вьется отдельно, как черная пружинка.

Прозвище Яша получил за фанатическую, самозабвенную любовь к математической статистике.

В любой науке, связанной с экспериментом, приходится обрабатывать опытные данные. А математическая статистика — это наука о том, как их обрабатывать.

Экспериментаторы делятся, грубо говоря, на два класса. Одни — романтики (или халтурщики, как называют их другие). Этим — лишь бы поставить эксперимент, получить результаты. Обрабатывают они свои данные грубо: нахально проводят от руки среднюю кривую через группу разбредаящихся опытных точек и не ахти как задумываются, что означает этот разброд и как его оценить.

Другие — статистики. Факты заботят их не так, как методы. Методы обработки. Эти не делают шага без того, чтобы не оценить возможную погрешность. Они, например, не говорят: полученное из опыта значение величины X равно тому-то. Нет, они выражаются иначе. Они говорят: с вероятностью 0,95 можно утверждать, что истинное, неизвестное нам значение величины X заключено между X_1 и X_2 . Любое высказывание ставится в рамки: от и до. Не дальше, не шире, не категоричнее.

Между экспериментаторами двух классов — слегка ироническая вражда.

Статистики считают романтиков недоучками, а про их работы говорят, что они сделаны топором. Они говорят: то, что вы пишете, попросту ничего не значит. Вы утверждаете: скорость равна 5498 метрам в секунду. Это утверждение ничего не означает, пока вы не оцените его точность. Какова возможная ошибка вашего утверждения? Какова ее вероятность? Романтики отмахиваются. Они тоже грамотные и знают статистику, но им некогда оценивать точность. Им нужно скорей вперед, вперед.

Романтики считают статистиков скучными педантами. Им кажется, что тонкие статистические методы — просто переливание из пустого в порожнее. Нет, хуже: перенос ответственности из одной инстанции в другую. Все равно на том или ином этапе придется взять на себя ответственность. Все равно последнее, окончательное решение будет принято великолепным волевым актом. И расчетом надо пользоваться творчески, а не рабски. Работы статистиков кажутся им сделанными золотошвейной иглой.

Так и идет все время спор — то явный, то неявный. Топор или игла?

Я думаю, ясно, на чьей стороне автор. Он — за топор. А вот Яша-статистик — страстный золотошвей. Когда-то, еще в ранней юности, он увлекся трезвой, иронической поэзией статистики. И теперь утверждения без оценок казались ему неприличными, какими-то голыми. Но в десятой лаборатории он, в сущности, одинок. Остальные все как на подбор халтурщики. Яша выбивается из сил, работает за всех, пришивает ко всем отчетам фиговые листки оценок. Самое грустное, что неблагодарные над ним же подтрунивают.

Сейчас он сидит за своим столом, работает и одновременно слушает. Здесь вообще умеют работать в шуме, слушая споры, иногда даже споря: «Куда до нас Юлию Цезарю!» Яша никогда не спорит, он молчит, но про себя, внутри себя, говорит непрестанно. Вот и сегодня он мысленно наговорил целую кучу. Ему есть что сказать и про Полетаева, и про Эренбурга, и про культуру. Но вот беда: слова барахтаются у него внутри, теплые и живые, а вот наружу пробиться не могут. Яша — бессловесный поэт.

Мегатонна

Самые способные в лаборатории после Вовки-умного — Зинка и Мегатонна. Ух, какая сила этот Мегатонна! По-настоящему его зовут Саша, но все про это забыли. Его даже уборщица называет «товарищ Мегатонный», и он отзывается.

Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами, он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке, для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, по-слюнив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать, — думает он, — сам сделаю». И действительно, делает. Способности у него необыкновенные. «От земли», как сказал Вовка-критик.

Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не достаивает слова, чтобы их согласовывать; он просто роняет их, и они сами слипаются во фразы. «Это без когда ничему вовсе», — говорит он. Понимай как знаешь. И все-таки он сильнее всех. Когда никто не может, идут к Мегатонне: последнее средство, научный таран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш — пером писать он, в сущности, так и не научился — и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не мог запомнить, какая «кси», какая «пси». Дельту и бету называет одинаково: бельта. Зато альфу твердо знает в лицо: она у него нежно называется «козявка». «Вот эту козявку мы туда». И бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу: «Сокращая и собственно здесь чем».

Вовка-умный и Клара

Вовка-умный потерял глаза на испытаниях. Это случилось два года назад. Вся лаборатория была как неживая. Вовка долго лежал в больнице, а потом вернулся, бледный, в темных очках, с лиловым шрамом поперек щеки и с синими точками на лбу. Как встретить его? Что сказать? Еще накануне в лаборатории знали, что он придет, и горячо обсуждали этот вопрос.

Клара, которая пришла в лабораторию недавно и еще не знала Вовки-умного, заявила, что нужно проявить максимальную чуткость и окру-

жить слепого вниманием. «Как слепого музыканта», — почему-то сказала она.

«Брехня, — отвечал Вовка-критик. — Именно никакой чуткости — вот что ему теперь нужно. Мы не должны его жалеть. Мы должны требовать с него, как с самих себя. Только тогда он будет чувствовать себя человеком».

Нельзя сказать, чтобы все сразу с ним согласились. Решающее слово произнесла, как всегда, Зинка. Она сказала, что Критик прав, — нет ничего страшнее жалости.

И вот в лабораторию вошел Вовка-умный, а Зинка, та самая Зинка, смотрела на него, желтая, как мертвец, и по щекам у нее текли слезы. Но она первая подала ему руку и сказала, как будто видела его вчера: «Здравствуй, Вовка». Даже голосом не моргнула.

И правда, Вовка-умный чувствовал себя человеком в лаборатории № 10. Экспериментатором он быть не мог — только теоретиком, но здесь уж он был на месте. Свои работы он печатал на специальной машинке, которую просто Вовка оборудовал математическим шрифтом. Такие прелестные получались формулы. В лаборатории скоро привыкли, что Вовка-умный работает наравне со всеми, так, как все. Даже до того привыкли, что когда Вовка-умный иной раз ошибался — с кем этого не бывает? — могли попрекнуть его: ты что, совсем одурел? Не видишь, что ли, что тут навроно? И Вовка смущался так, как будто и вправду видел. Конечно, ему иногда помогали, но ведь и он помогал. В теории он был сильнее всех, даже Мегатонны. Впрочем, нет: каждый в своем роде. Мегатонна — по преобразованиям, а Вовка-умный — по физическому смыслу.

А потом как-то получилось, что чаще других стала ему помогать Клара. Клара, пышная, розовая Клара (три пирожных сразу) постоянно сидела у Вовкиного плеча, делала ему чертежи, исправляла опечатки, читала вслух статьи. Сначала в лаборатории боялись, как бы Клара не надурила со своей чуткостью. Но нет, ничего — они с Вовкой, кажется, отлично ладили. Глядя на них, ребята посмеивались, а про себя думали: а чем черт не шутит?

И в самом деле, чем только не шутит черт...

Чиф

Маленькая комната сегодня пустовала. Обычно там сидел Чиф. Чифом здесь называли шефа лаборатории, ее научного руководителя — профессора, члена-корреспондента Академии наук Лагинова Викентия Вячеславовича. Прозвище Чиф первоначально произошло от слова “chief” — «шеф» по-английски, но скоро утеряло английский акцент и произносилось по-русски — коротко и ясно: Чиф.

Чиф был главной достопримечательностью лаборатории. Им гордились. Его любили. Над ним подсмеивались, но тоже любя, с гордостью.

Чиф был, в сущности, еще не стар. Вряд ли ему было шестьдесят лет. Но рядом с ним все сотрудники, даже сорокалетние, чувствовали себя дошкольниками: такова была дремучая эрудиция Чифа. Чего только он не знал! Рядом с нормальными, прозаическими знаниями у него в голове лежали вороха посторонних, даже каких-то неуместных сведений. Он, например, знал наизусть

даты, на которые приходится Пасха, на целое столетие вперед. По поводу газетной статьи о президентских выборах в Америке мог перечислить поименно всех подряд президентов — от Вашингтона до наших дней — и сказать, с какого года по какой каждый из них президентствовал. Знал назубок все марки шампанских вин и коньяков с подробной историей каждого сорта, хотя сам ни вина, ни коньяка никогда не пил. Утверждал, что может видеть в четырехмерном пространстве, и брался выучить желающих.

Знания по специальности у него тоже были блестящие и обширные, но какие-то нереальные, словно огромный, напряженный, радужный мыльный пузырь. Часто, особенно раньше, сотрудники обращались к нему со своими сомнениями, ошибками, спорами. Он почти никогда не отвечал «да» или «нет» на прямой вопрос. Он отвечал обобщениями. С ловкостью фокусника он совершал какой-то волшебный поворот — и вопрос раскрывался в совершенно иной постановке, смыкался с другими — в причудливых, неожиданных связях. А тот, первоначальный вопрос, из-за которого, собственно, и пришел вопрошатель, тускнел, начинал казаться плоским, прозаичным. Пришедший замолкал, ошеломленный такими далекими перспективами, таким крылатым «завтра», что просто совестно было за свою сегодняшнюю мелкую болячку. Но стоило вернуться на рабочее место — и ясность пропадала, и снова вставал вопрос — скромный, незначительный и нерешенный.

И все-таки сотрудники любили ходить к Чифу, смотреть на него и слушать. Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики.

Чиф ставил ударения криком и на самых неожиданных местах, например на предлогах. Ему даже не нужно было гласной, чтобы поставить ударение. В! — кричал он. К! — и все становилось ясно. Это было зрелище — великолепное, яркое и слегка эксцентрическое. В поведении Чифа всегда был чуточный оттенок клоунады. Никогда нельзя было до конца понять: серьезен он или издевается? Что он сам внутри себя думает? Что такое, в конце концов, Чиф?

Проблема черного ящика

Никто не понимал, что такое Чиф, но больше всех бесился Вовка-критик. Для него — щеголя, скептика, остроумца — люди были ясны, по крайней мере казались ясными, а Чиф — нет.

Совершенно непонятны, например, были экскурсии Чифа в область искусства. Почти профессиональные. Какие он писал картины, ну и ну... Некоторые восхищались ими, другие фыркали, третьи просто смеялись. Это не была даже абстрактная живопись: там все-таки есть какие-то законы. Чифу не были писаны никакие законы. Он творил разнузданно, пышно, безвкусно и загадочно. Мог, к примеру, написать голую ярко-розовую нимфу верхом на пушке или бабу-ягу в реактивной ступе, с пламенем, бьющим из дюз. Или нарисовать картину, издали похожую на гравюру, а вблизи, если всмотреться, — всю из мелких-мелких точек-тире азбуки Морзе...

Вовка-критик был как-то у Чифа в гостях — специально напросился — и просто ошалел от картин. За ними не было видно обоев. Картины

и рамы. У Чифа была теория, что художники губят свои картины, предоставляя рамки ремесленникам. Он сам делал рамки, расписывая их, как картины, иногда даже с сюжетом, и смотреть на это было жутковато, словно бы пиджак вдруг стал человеком. Вообще все в этом доме было странно и немного жутко: и ободранная фанерка, прибитая к стене специально для того, чтобы голубой кот мог точить об нее свои когти; и детская железная дорога на рояле (хотя в доме детей не было), и домоправительница Чифа, не то сестра, не то тетка, — тощая крашенная дама с одним интеллигентным глазом, согнутая в спине, как кочерга, и называющая Чифа детским именем Вишенька.

А поэзия? Чиф не чуждался и поэзии. В лаборатории об этом узнали случайно, когда он внезапно предложил выступить со своими стихами на институтском вечере самодеятельности. После парня с десятью гармошками мал мала меньше, после толстой девицы в розовом (художественный свист) вышел конференсье и торжественно заявил: «Слово для зачитания стихов собственного сочинения имеет академик Лагинов». Боже, что это было! Свалив набок огромную красную голову, закрыв глаза и покачиваясь с ноги на ногу, Чиф не то зарыдал, не то завыл. Нараспев, как было принято в начале века, он читал какие-то оскорбительно скверные вирши. О чем — понять было нельзя. Упоминались там спутник, Иисус Христос и самообслуживание. Когда он кончил — внезапно, словно испортился, — никто не решался сразу хлопнуть. Чиф открыл глаза, поднял руку, сделал, как циркачи говорят, «комплимент» публике, игриво дрыгнул ножкой и ушел с эстрады. Только тогда раздались аплодисменты —

вразной, нерешительно — и прекратились. Нет, черт побери, этот Чиф был загадкой! В присутствии Чифа Критик чувствовал свой надежный, испытанный скептицизм как бы несуществующим. В чем был секрет Чифа? Иной раз Критик, выходя от него, просто зубами скрипел от досады.

В кибернетике есть понятие «черный ящик». Чтобы объяснить, что это такое (термин вряд ли понятен за пределами узкого круга), пожалуй, лучше всего будет процитировать специальную книгу, одну из тех, что высокими стопками громоздятся у Критика на столе. Там написано:

Проблема черного ящика возникает в электротехнике. Инженеру дается опечатанный ящик с входными зажимами, к которым он может подводить любые напряжения, и с выходными зажимами, на которых ему предоставляется наблюдать все, что он может. Он должен вывести относительно содержания ящика все, что окажется возможным.

Хотя проблема первоначально возникла в электротехнике, область ее применения значительно шире. Например, врач, исследующий больного с повреждением мозга, может предложить ему несколько вопросов (тестов) и, наблюдая ответную реакцию, вывести некоторые заключения о механизме заболевания.

Вообще проблема черного ящика возникает везде, где ставится вопрос о внутреннем устройстве системы или организма, познакомиться с которым нельзя без нарушения его функций. Единственный выход, остающийся наблюдателю, — это производить ряд наблюдений и проб, регистрируя их в специальном протоколе, например:

| Время | Состояние |
|-------------|--|
| 11 ч. 18 м. | Я ничего не делал — ящик испустил ровное жужжание частотой 240 герц. |
| 11 ч. 19 м. | Я нажал на переключатель, помеченный буквой «К», — звук поднялся до 480 герц и остался на этом уровне. |
| 11 ч. 20 м. | Я случайно нажал кнопку, помеченную знаком «!», — температура ящика поднялась на 20°C. |

И так далее.

Пожалуй, этой цитаты достаточно, чтобы понять, почему у Чифа было второе прозвище: Черный Ящик. Критик терпеливо вел протокол. Этот протокол хранился у него на столе под табелем-календарем. Иногда записи вносили и другие сотрудники.

Последняя запись была такая:

| Время | Состояние |
|-------------|---|
| 10 ч. 08 м. | Я ничего не делал — ящик испустил несколько телефонных звонков: а) в институт судебной психиатрии по вопросу о диагностической аппаратуре; |

| Время | Состояние |
|-------------|---|
| 10 ч. 18 м. | б) на кошачью выставку — предлагал принять у него кота, при условии, что кот (редкой голубой масти) не будет помещен в комнату с розовыми или оранжевыми стенами; |
| 10 ч. 18 м. | в) в редакцию газеты — условился о встрече с корреспондентом сегодня в 14:00. |
| 10 ч. 20 м. | Ящик отбыл в неизвестном направлении. |

Корреспондент

Итак, корреспондент должен был явиться сегодня в 14:00, а было уже четверть пятнадцатого, а он все не шел, а Чифа не было. Вовка-критик по многу раз со свистом расстегивал и застегивал свои «молнии». Ведь это ему нужно было сопровождать корреспондента, черт бы его побрал. Только работать мешают. А все-таки и ему было немножко интересно: какой такой корреспондент? К ним обычно посторонних не пускали. И вдруг звонок: сопровождающего.

В проходной стоял высокий, кудрявый, серовато-бледный человек с большим кадыком и блестящими, голодными глазами.

— Рязанцев, — сказал он, сунув Вовке руку.

— Климов, — сказал Вовка. — Я за вами.

Корреспонденту было все интересно. Он первый раз был в таком месте, и все на него произвело впечатление: колючая проволока, часовой, тетка за широким прилавком, бдительно охраняющая недозволенные вещи, вахтер, который, надев очки, долго читал пропуск, тщательно сверяя его с паспортом. Ему казалось, что сейчас он попадет в страну чудес. Однако за проходной, по крайней мере сразу, чудес не было. Все было очень обыкновенно: мокрый асфальт, тощие деревца. Вестибюль с деревянными, под мрамор, урнами. Рогатые вешалки. Объявления на стене: «шахматный турнир...», «желающие отправить детей в зимний лагерь...» ...А вот в траурной рамке портрет молодого парня: «...октября 19... года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей Володя Савицкий. Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах» (корреспондент автоматически мысленно поправил: «вечно будет жить в наших сердцах»). От этого портрета — совсем молодой парень, толстогубый, смешливый, наивный, — ему стало не по себе, и вместе с тем сердце выжидающе екнуло. Может быть, вот они, чудеса, начинаются. Однако лаборатория, куда провел его Климов, была простая комната, без чудес, с желтыми канцелярскими столами. Все было очень обыкновенно, кроме загадочной надписи: «Каюку каюк»; может быть, это шифр. Корреспондент обратился к Вовке:

— Смогу я увидеть академика Лагинова?

— К сожалению, в настоящий момент это невозможно, — ответил тот магнитофонным голосом. — Член-корреспондент Академии наук профессор Лагинов, вероятно, прибудет несколько позже. Тем временем, если вам угодно будет задать вопросы, я постараюсь ответить на те из них, которые окажутся в моей компетенции. Если таковых не будет — не взыщите.

Сотрудники, сидя, поглядывали на стоящих. Вовка-то, Вовка! Эка кроет, собака! Как по писаному. И не улыбнется. Только по голосу — уж они-то знали Вовку — можно было ожидать: сейчас будет спектакль.

— Мне бы хотелось, — сказал корреспондент, — узнать подробности о применении в вашей работе вычислительной техники. Кибернетических машин.

— О, нет ничего легче. Кибернетические устройства, в частности электронные цифровые вычислительные машины, являются мощным средством повышения производительности умственного труда. Расчеты, на которые раньше потребовались бы недели и даже месяцы, выполняются современными быстродействующими вычислительными машинами буквально за несколько минут. Мощные средства современной вычислительной техники, освобождая научных работников от «черного» умственного труда (кавычки аккуратно поставлены голосом), помогают советским ученым еще глубже постигать закономерности окружающего мира. Перед советской наукой разворачиваются широчайшие перспективы...

Корреспондент слушал, несколько сбитый с толку. Каждая из фраз сама по себе как будто

и правильная. Любая из них могла бы быть написана в его будущей статье. Но в устной речи они выглядели иначе, противнее. Кроме того, все эти фразы он либо читал, либо слышал, либо сам писал. Из них ничего нельзя было узнать. Ему казалось, что он жует бумагу. Это было не по правилам... По правилам люди должны были рассказывать обычными, человеческими словами, а он должен был сам потом делать из этого бумагу. Он перебил Критика:

— Прошу вас, поконкретнее. Я бы хотел узнать подробности о применении кибернетических машин именно здесь, в вашей лаборатории.

— Охотно. Истина всегда конкретна. Работы нашей лаборатории были бы просто невозможны без современной вычислительной техники. В ряде случаев, правда, мы умеем обходиться средствами малой механизации...

Тут Вовка ткнул пальцем в клавишу счетной машины, стоявшей на столе. Машина с коротким рыданием вздрогнула, рванулась, застучала, что-то прокрутила и затихла. Кто-то прыснул.

«Смеется он надо мной, что ли?» — подумал корреспондент. Но Вовка был невозмутим, застегнут на все «молнии».

— О, это очень интересно, — сказал корреспондент, записывая что-то в блокнот. — Нельзя ли посмотреть, как действует эта машина?

— Пожалуйста. Вы даже можете сами ее испытать. Нажмите на этом пульте кнопку «два».

Корреспондент осторожно поднял длинный бледный палец. Он очень боялся короткого замыкания, но нажал кнопку.

— Не так, сильнее. Не бойтесь. Теперь на другом пульте — вот на этом, маленьком, — надавите кнопку тоже с цифрой «два».

— И что будет? — опасливо спросил корреспондент.

— Пока ничего. Надавили? Так. Теперь нажмите эту клавишу со знаком умножения. Готово.

Машина коротко взрычала, словно выругалась, мелькнули какие-то цифры, и на верхнем регистре что-то выскочило.

— Четыре, — сказал Вовка, указывая пальцем. — Дважды два — четыре.

— Интересно, — сказал корреспондент. — А вы можете выполнять и более сложные действия?

— Любые. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. И даже извлечение корня. Хотя последнее не так просто. Требуется знать алгоритм.

«Алгоритм», — записал корреспондент. Впрочем, он сомневался — правильно ли. В школе, помнится, говорили «логарифм». Вслух он сказал: «Неужели?»

— Назовите любое действие, и машина его вам выполнит.

— Две тысячи семьсот восемьдесят девять, — сказал корреспондент, ужасаясь собственной смелости, — умножить на четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь. Или, может быть, это слишком сложно?

— Ничего нет проще. Набирайте. Вот здесь.

Корреспондент долго копался, Вовка взял его за палец, как маленького, и набрал. Клавишу со знаком умножения корреспондент нажал сам. Дальше было как смерч: машина взревела, за-

мелькала, защелкала, выбросила результат и торжествующе остановилась.

— Удивительно, — сказал корреспондент и вдруг, осмелев, протянул палец и сам нажал какую-то клавишу. Произошло нечто непонятное. Машина застучала каким-то другим, пустым стуком, запрыгали цифры, но страшно было, что это не прекращалось: машина не останавливалась. Вовка озабоченно бросился к ней и быстро нажал какие-то кнопки. Машина защелкала уже другим, человеческим голосом, покрутилась немного и стала.

— Что это было? — с ужасом спросил корреспондент.

— Ничего особенного. Просто вы вогнали ее в бесконечность. На пульте ничего не было, стоял нуль. Вы нажали рычажок деления. А знаете, на нуль делить нельзя. Получается бесконечность. Вот она и начала считать. До бесконечности.

— А если бы вы ее не остановили?

— Так и считала бы. Вечно. Если бы, разумеется, раньше не испортилась.

— Как это неприятно, — сказал корреспондент.

— Пустяки, — сказал Критик. — Это у нас на дню по десять раз бывает.

«Вогнал в бесконечность», — записал корреспондент и спросил:

— А где же здесь электронные лампы?

Опять кто-то прыснул. Но Вовка был невозмутимо спокоен:

— Видите ли, в подобных машинах нет электронных ламп. Это обыкновенный арифмометр с электрическим приводом и электрическим сдвигом каретки. Но если вас интересует насто-

ящая электронная вычислительная машина, это можно устроить. Машина — в другом корпусе, туда нужен специальный пропуск, но я это сейчас сделаю. Подождите меня в кабинете профессора.

Вовка ушел. Корреспондент ждал в кабинете профессора. На стене висела картина. Лилое, дымное небо, расколотое, как молнией, следом ракеты. Пустой берег моря с тяжелыми, пологими, серыми волнами. На камне сидит обезьяна, подперев лицо руками, и смотрит на светлый штрих — отражение следа ракеты в воде. В углу подпись: В.Лагинов. Вот так картина! Что бы это могло значить? Обезьяна предчувствует?..

Корреспондент поежился. Странные какие-то здесь люди. Все делают как будто не всерьез. Вот и этот острозубый, с «молниями». Смеялся он надо мной, что ли?

И другие...

На столе лежала рукопись. Из профессиональной деликатности корреспондент старался не смотреть в ту сторону. Но любопытство превозмогло, заглянул. Он увидел нечто необыкновенное, чистый лист бумаги и на нем, далеко друг от друга, отдельные слова:

отсюда

но если

то

и следовательно...

Сошел я с ума, что ли? Корреспондент приподнял страницу и заглянул дальше. Следующая

страница была совсем пустая. И только в самом низу, неожиданно понятно, было написано:

«Итак, неравенство (9.1) доказано».

Тут только он сообразил, в чем дело. Это был математический текст, отпечатанный на машинке, но в который еще не вписаны формулы.

А в соседней комнате шли разговоры. Через дверь он улавливал только обрывки. Тоже странные, вроде того сумасшедшего листа. Кажалось, они говорили на каком-то совершенно чужом языке. По большей части он не понимал даже слов, а когда улавливал и понимал, они были претенциозные, вычурные, как та обезьяна.

— Ветви гиперболы, — сказал кто-то.

«Слишком цветисто», — подумал корреспондент.

Электронный мозг

Он ожидал увидеть машину — большую, правда, но машину, с какими-то шестеренками, или как они там называются, — ну, словом, вроде той машины, которую он «вогнал в бесконечность», только, конечно, побольше и с лампами. Может быть, даже в форме человека, робота. С лампами вместо глаз. Он ведь читал фантастические романы и знал, что такое робот — бездушное, стальное, неумолимое существо с электронным мозгом. Но он твердо был убежден, что никогда машина не сможет полностью заменить человека. Не сможет, что бы ни говорили буржуазные ученые-идеалисты. Он даже по этому поводу однажды выступал на семинаре.

То, что он увидел, не было похоже ни на машину, ни на робота. У него вообще не было фигуры. Это просто был большой высокий зал с какими-то не то шкафами, не то стойками. Нет, пожалуй, больше всего это напоминало орган в Большом зале консерватории. Сразу много органов.

Машина работала: от нее веяло грозным теплом. Как от живого организма. Живо, зловеще, бесшумно переливались, мигая, желтоватые огоньки множества маленьких ламп. Каждая из них зажигалась и гасла, зажигалась и гасла, и по всей поверхности огромных стоек ходуном ходила неслышная, мерцающая жизнь. Глаз у машины не было: она мигала всем лицом, всем телом. От пульта к пульту тихо двигались люди в синих халатах, изредка перебрасываясь беззвучными короткими фразами. Машина не шелкала, не грохотала, но весь воздух вокруг нее был насыщен почти неслышным, тонким, как пыль, гудением.

Критик что-то объяснял, но корреспондент снова улавливал только обрывки фраз: «оперативная память», «долговременная память», «память на магнитном барабане» — и едва успевал записывать. Он уже устал.

«У этого — память, — думал он, — да еще на барабане. Дожили...»

— Электронный мозг, — сказал он, стараясь быть вежливым. — Удивительно интересно.

— Устарелый образец, — небрежно сказал Критик.

Когда они вернулись в лабораторию, Чиф уже приехал. Он встретил корреспондента с изысканной любезностью, которая пахла даже не девят-

надцатым, а восемнадцатым веком, и пропустил его в маленький кабинет.

— Чем могу быть полезен? — спросил он, раздвинув на столе локти и составив концами короткие красные пальцы.

...Корреспондент был в своем роде тоже поэт. Он многое видел и чувствовал. И вот сейчас, сидя напротив Лагинова, он жадно поглощал все, что видел. Еще нестарый человек, с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми короткими и густыми волосами, сидел в кресле, глядя на свои пальцы и чуть-чуть улыбаясь. Это он нарисовал обезьяну. Он был непонятен, как те самые... «ветви гиперболы».

Сейчас надо задать какой-то вопрос, но корреспондент почему-то забыл все приготовленные с утра вопросы. Кажется, он хотел спросить о машинах? Могут ли они заменить человека? Нет, не то. Ясно, не могут. О перспективах развития науки? О звездоплавании?

И вдруг, неожиданно и совсем тихо, Лагинов заговорил сам:

— Да. Многое меняется. Мир становится неузнаваем. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями... Человечность... Любовь.

И замолчал. Несколько секунд оба молчали. Зазвонил телефон.

— Да, да, да, — говорил Лагинов. — Этого как раз я и ожидал. Видимо, при этих скоростях мы сталкиваемся с совершенно новыми явлениями. Новыми свойствами материи. Любопытно, крайне любопытно. Приеду, непременно приеду.

Он положил трубку и, забыв о посетителе, некоторое время смотрел перед собой остановив-

шимися глазами. И вот такой, притихший, он почему-то был понятен. Сейчас за столом сидел усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек. Но это продолжалось одно мгновение. Чиф встряхнулся, помолодел и снова стал непонятен.

Вечером корреспондент сидел дома и работал над статьей о лаборатории Лагинова. Все виденное стояло у него перед глазами: тяжелая голова Чифа, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза; машина, дышащая теплом; воздух вокруг нее, дрожащий паутинным гулом; и тот острозубый, в «молниях» парень; и мимолетная, чуть асимметричная улыбка девушки, которая проводила его глазами. Сначала ему больше понравилась другая, блондинка. Но эта — лучше: как она улыбнулась, нагнувшись и чуть повернув голову над столом, а волосы лежали концами на книге...

Все это он видел, но это не имело никакого отношения к тому, что он собирался писать. Писать нужно было по правилам. Уж он-то знал эти правила назубок. Когда он читал свои статьи, он даже сам зажмурился от удовольствия и дочитывал каждую фразу наизусть. Его словно качало на плавных волнах. Все так гладко и правильно, как будто давно и не раз читано. Именно эта гладкость, привычность и была его особым щегольством. Ведь, танцующая салонные танцы, вовсе не нужно проявлять оригинальности: надо уметь выполнять установленные па. Писать иначе было бы просто неприлично, все равно как если бы на гладком паркете среди танцующих пар какой-нибудь оборот стал прохаживаться вразвалку, даже почесываясь.

Корреспондент писал статью со сноровкой, быстро, технично, почти без помарок:

«...Хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья, на улице пасмурно. Но в 10-й лаборатории предприятия, где начальником т. Н., — светло. Светло особым светом духовности, напряженной работы...»

Слова скользят по теме, как перо по бумаге:

«Отныне, — горячо сказал молодой талантливый ученый, кандидат технических наук В.А.Климов, — нет невыполнимых задач, непосильных проблем. Наша электронная вычислительная машина, выполняющая восемь тысяч операций в секунду, одна может заменить целую армию вычислителей.

Климов говорит искренне, увлеченно. В его глазах...»

(«Гм, его глаза... А все-таки: смеялся он или не смеялся?»)

«...Гудит машина (“напрягая электронный мозг”, вставил было корреспондент, но вычеркнул. Черт его знает, напрягается он или не напрягается?). Вспыхивают и гаснут лампочки умных приборов. У приборов — люди в синих халатах. Ритмично, слаженно работает весь коллектив, начиная с директора и кончая вахтером.

— Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности, — сказал в дружеской беседе заведующий лабораторией, член-корреспондент Академии наук, заслуженный деятель науки и техники профессор В.В.Лагинов. — Только твори, только дерзай.

Профессор уже не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неумемной энергией...»

На миг перед корреспондентом снова мелькнуло живое, малиновое, с яркими глазами, усталое лицо человека за письменным столом под странной обезьяной. Над этим стоило подумать, потом. К тому, что он делал сейчас, это не имело отношения. Он танцевал.

Разное

Проводив корреспондента, молодой талантливый ученый В.А.Климов вернулся в лабораторию. Ему почему-то было немного стыдно. И действительно, его осудили.

— И очень глупо, — сказала Зинка. — Зачем нужно было его разыгрывать? Ведь он тоже человек и не виноват, что никогда не видел машину. Может, его вообще направили сюда по ошибке, а он специалист по кукурузе... А ты: алгоритм. Хорош бы ты был, если бы он и правда попросил тебя извлечь корень. И не знаю, кто из вас хихикал, но только это было хулиганство.

— Хихикал я, — заявил Каюк, — и не раскаиваюсь.

В самом деле, что он за специалист? По чему бы то ни было. Смешно даже. Мы сами не хуже его могли бы написать про себя в газете. Да что я — «не хуже». Лучше в миллион раз.

— А кто тебе мешает? Возьми да и напиши.

— Некогда мне.

— Все так говорят: некогда. А ты ночью попробуй напиши. Пари держу, что ничего не выйдет.

Женя Стрельцов молчал и думал. «Я могу, — думал он. — Я еще буду писать. Я о вас напишу, това-

рищи вы мои, чудесные мои люди. И все вас увидят, как я вас вижу, и все вас полюбят, как я вас люблю».

Все еще чувствуя себя не совсем ловко, Критик свистнул «молниями» и пошел в фоточулан за пленками. За столом кто-то сидел. Это оказался Вовка-умный.

— Чего ты? — спросил Критик.

Вовка-умный сидел, подперев лицо руками. В оранжевом свете лицо было особенно бледное, даже трагическое, и совсем черными были темные очки. Как черная полумаска на мертвом лице.

— Чего ты? — еще раз спросил Критик.

— Слушай, Володя, — нарочито-небрежно, даже как-то разухабисто сказал Вовка-умный, — у меня к тебе есть вопрос.

— Ну? Оформляй.

— Ну как бы это его оформить... Ну, в общем, я хотел спросить тебя про Клару. Какая она?

— Какая? Станный вопрос. Клара есть Клара.

— Тривиально. А есть А. Первый закон формальной логики. Нет, я не об этом. Я бы хотел получить информацию насчет... ну, наружности, что ли, — сказал Вовка-умный, отвернувшись и барабаня пальцами по лабораторному столу. — Расскажи мне, какая она.

У Критика что-то дрогнуло внутри. Даже в носу зашипало. Фу ты, ерунда какая. Хорошо еще, что темно. Странно, ему сейчас не пришло в голову, что Вовка все равно не мог бы его видеть.

— Какая она? Вполне кондиционная. Красивая, светлая. Большая.

— «Клара» — это и значит «светлая», — глухо сказал Вовка. — Нет, все-таки ты подробнее. Опиши мне ее так, чтобы я увидел.

— Ну, как тебе ее описать? Она похожа на три... на три розы сразу.

Темный, черный, исхлестанный дождем вечер. После кровью отвоёванного десятичасового рабочего дня лаборатория № 10 расходится по домам. На пустыре большие лужи, огни редких фонарей дрожат в них и качаются. Последними уходят Зинка и Вовка-критик. На Зинке — дождевик с капюшончиком, под дождем она — как маленькая девочка. С капюшончика на короткий нос падают капли.

Вовка идет рядом, засунув руки в карманы кожаной куртки. Темная гладкая голова не покрыта, под дождем он не ежится, не сутулится — идет прямо, будто и нет дождя.

— Слушай, Зина, — говорит Вовка, — я хочу сказать тебе нечто неоригинальное.

— Я знаю, Вова, — серьезно и спокойно отвечает Зинка. — Не надо говорить.

— Ну ладно. Не буду говорить. Ты сама мне одно слово скажи.

— Одно слово? Ну, «нет».

Тут они помолчали. Снова заговорил Вовка:

— Я все понимаю, Зинка. Мы все догадывались, что у тебя что-то в прошлом. Но, может быть, когда-нибудь?..

— Дело не в прошлом, а в настоящем.

— Зинка, ты любишь кого-нибудь?

— Ну, да.

— Зинка, я знаю, что не имею права спрашивать, кто и что. Я сам назову имя. А ты только скажешь — да или нет. Просто Вовка?

— Ну, да.

«Просто Вовка, просто Вовка», — думал Критик по пути домой, по привычке обходя лужи, по привычке не сутулясь под дождем. А сейчас ему хотелось именно сутулиться. Он шел и все спрашивал себя: почему именно просто Вовка? Губы шевелились и шептали: почему именно просто Вовка? Но, в сущности, он знал. Именно потому, что «просто». Не щеголь, не скептик, не критик. Просто Вовка.

Просто Вовка — не кандидат, даже не инженер, а техник. Из себя невидный, худой паренек с якорьком на руке. Золотые руки. Когда его что-нибудь просили сделать, он улыбался и говорил: «Это можно». И улыбка у него открытая-открытая, как открытая дверь. Входите, это можно.

Зинка и просто Вовка. Он их часто видел вместе — и не догадывался. Никто не догадывался. Просто Вовка всегда собирал и налаживал Зинкины схемы, а она стояла рядом, объясняла, покусывая от нетерпения смуглые пальцы. Серьезная-серьезная.

Сегодня, идя домой под дождем, Вовка-критик, пожалуй, впервые почувствовал, что он не совсем настоящий. Зинка и просто Вовка. Это больно, но справедливо. Ничего, он еще будет настоящим.

Большой день

В жизни каждого человека бывают большие дни. Дни с большой буквы. И в жизни каждого коллектива (если он человек). Настал такой день и для десятой лаборатории. Большой день. Даже

не будет преувеличением сказать: великий, хотя здесь и не любят таких слов.

В этот день никто по-настоящему не работал. Только ходили из угла в угол, собирались кучками и говорили почему-то полусшепотом. Сегодня им официально разрешено было оставаться на работе сколько угодно. Хоть на всю ночь.

Все были на местах, кроме Чифа. Чиф уехал куда-то засветло, кажется, на кошачью выставку — выставлять кота. Никто не удивлялся. Чиф — всегда особняком.

Женька-лирик весь этот день писал стихи: марал, перечеркивал, переписывал, а когда к нему подходили — судорожно переворачивал листок. То, что ему нужно было сказать, он видел — отчетливо, словно написанное черным по белому, но не мог прочитать, не мог записать на бумаге. Он бился, как жук об оконное стекло, — стучался и падал.

«Никто — и все. Вас было слишком много...» — писал он и зачеркивал. Не то.

«Никто — и все. Имен не знают ваших...»

И снова — не то. Снова вычеркивал.

В углу возился с приемником просто Вовка, налаживал, проверял. Приемник уже был давно налажен, а он все крутил рукоятки, переезжая через свист с одной волны на другую, время от времени лоя резкое чириканье морзянки, и тогда все почему-то вздрагивали.

Вовка-критик, более задумчивый, чем обычно, стоял, тыкая наугад в кнопки счетной машины, и уже несколько раз вогнал ее в бесконечность. Ужасно медленно тянулся день. А Женька все писал: «Вы, физики, Вы лирики, поэты...» Плевался и зачеркивал.

Наконец, отчаявшись, испробовав десятки вариантов, решился и переписал, к черту, один. Может быть, даже наверное, не самый лучший. Но он больше не мог.

Он сам не знал, что у него получилось. Хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. Но все равно. Сегодня ночью, после «того», он прочтет стихи товарищам. Пусть смеются.

И вот — ночь.

Еще рано. По радио передают музыку. Странно, что в такую ночь передают музыку как всегда. А впрочем, отчего же. Ведь никто не знает. Почти никто. Завтра узнают все. Если только...

Нет, никакого «только»! Сигнал должен оборваться, должен. Оборвется — значит, попали, куда надо.

Теперь уже скоро. Полчаса до срока.

Просто Вовка, глядя на часы, крутит рукоятку. И вот в тишину врезались сигналы. Словно птица попискивала: «пи-пи-пи-пи» — тонко и мерно. Четверть часа до срока.

Все встали с мест и стеснились у приемника. Четверть часа. Как их пережить, как переждать? А может быть, ничего не будет? Нет, невозможно.

Пять минут до срока.

Идут минуты, ползут, окаянные, каждая как целая жизнь, и сердце сжато тисками, а сигналы все те же, птица попискивает себе. А ждать уже невозможно. Все стоят бледные, даже розовая Клара. А у Зинки губы светлее лица, а просто Вовка обнял Зинку, так и стоит, и рука с часами дрожит. В плечо ему вцепился Вовка-критик. А Вовка-умный закрыл глаза руками.

Что он там видит? Может быть, ту самую, последнюю вспышку — последнее, что он видел вообще?

Две минуты... одна...

И тишина. Полная тишина.

.....

Свершилось. Нет, сделано.

.....

Женька стоял, держась за спинку стула, и вдруг ему нестерпимо захотелось стать на колени, тут же, рядом с приемником. Но нет, нельзя — стыдно. Он стал одним коленом на стул, а голову опустил на руки. Все молчали.

Вдруг Женька издал горлом какой-то дурацкий звук, выпрямился и вышел большими шагами. На стуле осталась сложенная бумажка.

Первым заговорил, конечно, Вовка-критик. Голос показался всем до боли обыкновенным. Чего они ждали?

— Нервы, — хмыкнул Критик. — Ну-ка посмотрим, что это за бумажку потерял Стрельцов.

Бумажка была со стихами, а стихи такие:

Никто — и все. Ваш подвиг безымянен.
Вас слишком много. Вас нельзя назвать.
Нельзя. Вас не покажут на экране.
Не будут вас поэты воспевать.

Да знают ли о вас они, поэты,
Какие вы и кто из вас какой —
Философы, насмешники, аскеты,
Укрытые от мира — проходной?

Да знают ли поэты эти, кто вы
И как бывает горек, груб и крут

Ваш умственный, тяжелый и суровый —
Суровее физического — труд?

Что чувствуют они, поэты эти,
Когда приходит ваш великий час?
Они галдят и прыгают в газете,
А я, читая, думаю о вас:

Вы, пахари, идущие за плугом
По каторжной научной полосе.
Немыслимые друг без друга,
Вы, безымянные. Никто — и все.

Никто не смеялся. Напротив. Все как-то обидно молчали. Потом было краткое обсуждение.

— Высокопарно, — сказал один.

— Неточно, — сказал другой.

— Нет, товарищи, мне все-таки кажется, что в этом что-то есть.

— Твое замечание, Зинка, не несет информации. Если вещь существует, то в ней всегда что-нибудь есть.

Зазвонил телефон. Подошел Критик. Это говорил Чиф.

— Рад вас приветствовать, — сказал Чиф. — Как и полагается молодежи, вы празднуете. Это естественно. Это человечно. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что праздники существуют только у людей? Когда-нибудь, соперничая с Энгельсом, я напишу труд: «Роль праздника в процессе очеловечивания обезьяны». Однако чем выше развит человек, тем меньше он связывает праздники с определен-

ными днями. Он начинает видеть праздники в буднях.

— А как кот? — глухо спросил Вовка.

— Какой кот? Ах да, вы о выставке. Благодарю. Получил серебряную медаль. Должен был получить золотую, но — интриги! Итак, приветствую вас. Не забудьте — завтра у нас будни. Поздравляю с буднями!

1961

БЕЗ УЛЫБОК

Полуфантастический рассказ

Заседание кончилось. Я им все сказала. Может быть, слишком резко. Друзья мне советовали соблюдать осторожность. Нашли кому советовать! Не мое это дело, не мой талант. Вот Обтекаемый — тот осторожен. Он, верно, и родился-то осторожно: высунул голову и огляделся.

«Порочное направление в науке» — вот что мне ставилось в вину. Вот идиоты! В общем, осторожности я не соблюла, кое-кого из важных задела. Придется нести последствия. Ничего, снесу.

После душного зала, полного лицемерий, улица охватила свежестью, простотой. Вечер, уже не весенний, но еще и не летний, — он не опускался, как полагается вечеру, а взлетал. Ласточки чертили розовое небо. На этом небе меня поразили светло-изумрудные, кем-то рано и расточительно зажженные фонари дневного света. Как могла бы быть прекрасна жизнь.

В метро я разглядывала людей. Они ехали сосредоточенно, чуть покачиваясь, прямо и резко освещенные сверху, отчего на каждом лице проступал костяк. Жесткая замкнутость отгораживала их друг от друга и от меня. Некоторые чита-

ли, многие казались усталыми. Рядом с ними, смягченные и украшенные голубизной темных окон, ехали их отражения, казавшиеся добрее, проще самих людей.

От конечной станции метро до моего дома можно ехать автобусом, можно идти пешком. Я пошла пешком. Ноги были тяжелы, но воздух прохладен, легок. Чужие окна светло сияли справа и слева. За каждым из них что-то происходило, чья-то жизнь, казавшаяся отсюда, из темноты, чудом уравновешенности и счастья. Розово-смуглое небо на западе еще светилось. Напротив глыбами громоздились темные тучи, оттуда подувал ветер, — возможно, ночью будет дождь. Майский жук ударился мне в щеку и стукнулся об асфальт.

Меня не покидало лицо Обтекаемого. Он выступал словно бы в мою пользу, но так, чтобы в любую минуту можно было все переиграть. Виртуоз двоедушия.

Дома, в пустой квартире, которую я каждый раз с удивлением нахожу пустой, хотя живу одна уже два года, пел холодильник, постукивала форточка, гуляли ночные звуки, заменяющие в новых домах сверчка: рассыхался паркет, вздыхали обои.

Что бы ни случилось — вот она, моя комната, моя постель, и над постелью, низкой звездой, неяркая лампа, при которой я читаю на ночь, без чего не могу заснуть уже много лет.

Что бы ни случилось — день проходит, наступает ночь, загорается низкая лампа-звезда, и вот я уже читаю, пирую. Отходит дневная, своя тревога, приходит другая тревога, чужая, ночная, и тревожит меня долго, иной раз — до утра, но

чаще через час или два мысли милосердно слипаются и можно погасить свет, вытянуть ноги, спать.

С годами у меня постепенно пропал интерес ко всему сочиненному, зато обострился интерес к подлинному. Вместо романов меня провожают ко сну мемуары, дневники, письма, стенографические отчеты. Может быть, это возрастная болезнь, я замечала ее у многих пожилых, сильно занятых, читающих людей. Слово «читающие» я здесь употребляю как «курящие».

Однажды я спросила об этом своего друга, Худого.

— Послушайте, а с вами так не происходит, что все меньше тянет на художественную литературу и все больше — на документ?

— Ого, еще как! — ответил Худой и улыбнулся обтянутым своим лицом.

— А почему бы это?

Худой подумал и сказал, очень серьезно:

— Процент правды больше.

Процент правды. Именно так. Спасибо, Худой.

Я читаю книги кубометрами, как кит, всасывающий морскую воду и почти всю ее выпускающий обратно, чтобы оставить внутри, на усах, самую малость того, чем он питается, — процент правды.

Раньше, в молодости, меня интересовало вымышленное. Теперь меня больше интересует вымысливший. Что заставило его, писателя, вымыслить это, а не что-то другое? И вообще, как он жил? Как вставал по утрам, с трудом приподнимая с постели и ставя на коврик свои, возможно, отекавшие ноги? Как одевался, садился за

стол, надламывал хлеб? Кто сметал со стола крошки?

Или не писатель — пусть актер. И не какой-нибудь всемирно известный, боже сохрани, а заурядный, провинциальный, который всего-то и был знаменит, что одним талантливым вскриком в одном месте одной роли. Этот вскрик сохранился в одной строке одной книги, скажем «Страницы былого» — так любят называться воспоминания, — и строка вскрикивает голосом давно умершего актера и потрясает меня, и я готова поцеловать книгу.

А может быть, дело не только в проценте правды, а еще и в другом — в игре? С возрастом пропадает потребность к игре и умение играть. Молодой котенок все время играет. Пожилой кот только шурится, подогнув лапы, на бумажный бантик.

У некоторых способность к игре сохраняется дольше; у нас с Худым она угасла сравнительно рано.

Я вообще мало способна к играм. Например, шахматы. Пробовала — не могу. И не по какой-нибудь особой глупости — просто не удается принять всерьез условия игры, или, как у нас говорят, УИ.

Так и во всем. Скажем, в литературе. Многие любят детектив, научную фантастику, я — нет. Не принимаю УИ.

И всюду меня преследуют УИ, и всюду я их не понимаю. Есть специальные УИ для научных статей, для брака, для похорон, юбилеев. Я никогда ими не могла овладеть. Может быть, этим я себя обеднила. Если УИ существуют, тем самым они заслуживают внимания, а значит, изучения. Моя

по отношению к ним чисто отрицательная, нигилистическая позиция слишком эмоциональна и недостойна научного работника.

«Не смеяться, не плакать, только понимать», — сказал Спиноза. Правильно, но для меня, увы, невозможно.

Вероятно, во многих отношениях мне просто не хватает ума.

Нет, не того элементарного, торгового ума, которым в избытке наделен Обтекаемый. Не дай мне бог такого ума. Гораздо больше меня привлекает скорбный, иронический ум Худого. Но и с ним я бы не поменялась, нет. Этот ум слишком, я бы сказала, дистиллирован. В нем не хватает жизненных примесей. В каждом умном человеке, по-моему, должно быть чуточку дурака. Я знаю Худого много лет, но так и не могла обнаружить в нем дурака. Или его вообще нет, или он очень глубоко запрятан.

Зато во мне дурака более чем достаточно. Из нас двоих с Худым, пожалуй, можно было бы составить одного умного человека...

А Обтекаемый...

Фу ты, наваждение. Передо мной опять возник очень реальный образ Обтекаемого, по грудь срезанный кафедрой, — его гладкое, миловидное лицо, мягкая прядь зачесанных набок, почти без седины, волос. Этому лицу противоречили, были на нем почти неприличными старческие мешочки в углах щек. Такому лицу надо было быть вечно, осторожно, неуязвимо молодым. То, что оно слегка поддалось времени, как бы дало вмятину, нарушало его благопристойную завершенность.

Обтекаемый — глава нашего сегмента. До сих пор он был довольно удобным главой, рабо-

тать не мешал. Меня он поддерживал, даже рекламировал, но на этом собрании понял, что дал маху. Он еще не отступил, но расчистил площадку для отступления. Его лицо выражало сожаление обо мне, а главное — о себе, о своем промахе.

Однако эти мысли были сейчас ни к чему, с ними не заснешь. Усилием воли я прогнала Обтекаемого и стала читать.

В эту ночь мне повезло: со мной оказался том «Русской старины» за 1875 г. Такие редкости мне достает в Книгоцентре наша рыжая Информаня, милая душа, дай бог ей хорошего мальчика. В том оказался дневник Вильгельма Кюхельбекера, декабриста, поэта, писанный им в крепости Свеаборг в 1831—1832 гг.

Дневнику предпослана краткая история. После события, которое «Русская старина» уклончиво именует «роковым 14-м декабря» или «смутой 14-го декабря», Кюхельбекеру удалось скрыться. Арестовали его в Варшаве в январе 1826 г. и заточили в один из казематов Петропавловской крепости. Оттуда вскоре перевели в Шлиссельбургскую, затем в Динабургскую.

«Первое время своего заточения, — пишет “Русская старина”, — когда ему не давали еще пера и чернил, Кюхельбекер слагал стихи на память и заучивал их, ходя из угла в угол по своей тюрьме».

Крепость за крепостью. Динабургская — пять лет. Затем — Ревельская цитадель и, наконец, Свеаборг. Здесь Кюхельбекер содержался до конца 1835 г., отбыв, таким образом, десять лет одиночного заключения из пятнадцати, положенных по приговору.

«Великий князь Михаил Павлович, — сообщает “Русская старина”, — исходатайствовал сокращение срока заключения Кюхельбекера на пять лет... В конце декабря 1835 г. он был отправлен на поселение в Восточную Сибирь, в город Баргузин... Великий князь Михаил Павлович прислал узнику прекрасную медвежью шубу, в которой он совершил многие тысячи верст пути от Свеаборга до Баргузина».

Дневник Кюхельбекера начинается в декабре 1831 г., стало быть, после шести лет казематов. Прекрасная медвежья шуба и не маячила впереди. Узник твердо рассчитывал еще на девять лет заточения.

Свеаборгский дневник видится мне певчей птицей, севшей где-то на рубеже шести и девяти лет могилы и поющей, поющей, несмотря ни на что.

О чем пишет узник? О поэме эпической. О Шиллере, Байроне, Гёте, Гомере. О поэме Пушкина «Евгений Онегин» — не признаёт ее вечным произведением. О юморе. О смысле слова «цевница»...

«29-го января

Есть некоторые слова, насчет которых я бы очень хотел справиться с академическим словарем, например: цевница. Я долго употреблял это слово в значении музыкального струнного орудия; Пушкин, напротив, придает ему значение орудия духового, флейты, свирели. Не помню где, а только в сочинениях писателя Екатеринина века, на котором, казалось, можно опереться, нашел я это слово во втором значении и стал пола-

гать, что Пушкин прав. Теперь же возвращаюсь к прежнему моему мнению, основываясь на славянском тексте пр. Иеремии: “того ради сердце Моава, яко цевница, звяцати будет”... Свирель или флейта никогда не звяцали; вдобавок самый смысл уподобления говорит в пользу моего первого мнения».

Я читала дневник жадно, как дети, прибежав со двора, пьют воду, булькая каждым глотком. Обтекаемый с его миловидностью исчез, провалился в небытие, ерунда, вторичный мусор.

Половину ночи я читала, а потом спала, и снился мне сад.

Обдумывать положение я начала только утром. Будильник новой, щадящей конструкции (перед тем как начать трезвон, он некоторое время мелодично позвякивает) нежным своим голосом вывел меня из сна и из сада, так что первые звоночки были еще в саду, и только последние здесь, в грубой действительности. К тому времени, как будильник закончил подготовку и заорал во всю мочь, я уже была полностью здесь и все осознала. Ну что ж, повоюем. Обтекаемый беспokoил меня, как мозоль. В институт идти не хотелось, но надо было, и я пошла, предварительно вдоволь намешкавшись за мытьем, одеванием, чаем да и просто сидением с руками между колен.

Едва переступив порог института, я уже поняла, что все изменилось. Раньше, сама того не замечая, я жила в мире улыбок. И вот за одну ночь они пропали. Почти все. Только какие-то две-три улыбки встретились мне в коридоре. С отвращением я заметила, что считаю улыбки.

В Официальной мне сказали, что по моему делу назначена Комиссия; обсуждение — через неделю. Девушки были огорчены и полны сочувствия, несмотря на неизбежный элемент радости, с которой каждый из нас сообщает новость, пусть неприятную. Чистая радость обладания Информацией.

Что ж, Комиссия так Комиссия. Внешне я и глазом не моргнула, только пальцы ног поджались, словно змея проползла.

Знать бы мне, что за этим всем стоит? Что и кто?

Хуже всего, что целую неделю оставалось ждать. Ждать вообще трудно, ждать плохого — отвратительно. Пусть бы оно было еще плоше, лишь бы скорей. Эта неделя не шла, а вязла, застревала, цеплялась всеми своими подробностями. И работа, как на грех, не ладилась.

— Не надо нервничать, работайте спокойно, — сказал мне Седовласый, поглаживая жилетку.

Я посмотрела на него с ненавистью. Как-то он мне противен стал весь, со своими большими чистыми ушами, с загнутой бородой, с тягучей речью, полной придаточных предложений. Старый интеллигент с душой молодого труса.

Всю эту неделю я ходила в институт с упорством маятника, хотя могла бы и не ходить. Могла бы сказать, что пойду в Криостатику или еще куда-нибудь. Могла бы и просто не прийти, никто бы с меня не взыскал. Но я ходила. По-прежнему я считала улыбки — их с каждым днем становилось меньше. Или мне так казалось? Нет, улыбки действительно убывали. Я смотрела на встречных очень внимательно — они не улыбались. Одни делали вид, что не туда идут. Другие юлили глазами, чтобы не поздороваться. Третьи здоровались, но

не улыбались. Очень немногие улыбались, но принужденно — половиной рта.

А как они мне нужны были, улыбки! Раньше я их не замечала, жила в них как рыба в воде. Теперь я тоже была рыба, но на песке, и шевелила иссохшими жабрами. Жабрами я выпрашивала улыбки, вымаливала, вымогала. Чтобы этого никто не заметил, я напускала на себя надменность. На поклоны я отвечала чем-то вроде обратного кивка, не опуская подбородок, а вздергивая его кверху.

Иной раз на лицах встречных мне чудилось сочувствие, желание подойти. Мимо таких я проходила с той же чопорностью, страшась ее разрушить: она была моя опора и была хрупка. Кто знает, мимо скольких возможных друзей прошла я со своим обратным кивком?

Особенно неприятно было встречать Обтекаемого. Все эти дни он словно не выходил из коридора и встречался мне на каждом шагу. Всякий раз он кланялся подчеркнуто-вежливо, с той проникновенной грустью, с какой верующие прикладываются к плащанице.

Все же я не была одинока. У меня было три друга: Худой, Черный и Лысый. Про Худого речь уже шла, а Черный и Лысый тоже были друзья. Когда-то мы работали вместе, теперь разошлись по разным фасциям, но дружба сохранилась. Все трое пришли ко мне сразу после происшествия, и все готовы были поддержать меня, если понадобится. Их озабоченность неприятно меня поразила. Нет, я еще, слава богу, не тону. Я им сказала:

— Не знаю за собой никакой вины, но боюсь за тех, которые были ко мне сострадательны: ужасно подумать, что они за человеколюбие свое могут получить неприятности.

Черный и Лысый поглядели на меня как на безумную. Худой спросил:

— Откуда это?

— Дневник Кюхельбекера, — ответила я.

— Дайте почитать, — жадно сказал он.

— Так уж и быть, когда кончу.

Тут на меня напал смех: такие у них были похоронные лица.

— Братцы, что это вы меня отпеваете? Ничего, собственно, не происходит. Ну, Комиссия. Ну, Обсуждение. Знаю, что вони будет много, но от вони не умирают.

— Задыхаются, — сказал Худой.

— Не размагничивай! — упрекнул его Лысый.

— В любом случае рассчитывайте на нас, — сказал Черный.

— Там видно будет.

Любя их, я была суха; они все трое постояли, сочувствуя, и ушли.

А дневник Кюхельбекера я читала каждый вечер перед сном и все не могла с ним расстаться: кончала и начинала снова.

Заклученный жил. Он рассуждал об искусстве, науке, религии, наблюдал сцены на тюремном плацу. Изучал греческий. Писал стихи.

Кюхельбекеру как поэту не повезло; его стихи дружно осмеяны литературной традицией, начиная с пушкинского:

Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб нам уснуть скорее.

Мне, напротив, эти стихи не давали спать; звуча во мне каким-то дымным, страшным, смут-

ным строем. Отдельные строки были положительно прекрасны:

Но солнцев сонм, катящихся над нами,
Вовеки на весах любви святой
Не взвесить ни одной душе живой:
Не весит Вечный нашими весами...

И почти ни слова — о своей судьбе. О своих страданиях. О надеждах — их нет. Только в одном-двух местах вдруг прорвется подобное воплю: «Боже мой! Когда конец? Когда конец моим испытаниям?» А дальше — опять спокойствие, размышление, стихи, сны.

«12-го января»

С неделю у меня чрезвычайно живые сны: прошедшую ночь я летал или, лучше сказать, шаггал по воздуху — этот сон с разными изменениями у меня бывает довольно часто; но сегодня я видел во сне ужасы, и так живо, что вообразить нельзя. Всего мне приятнее, когда мне снятся дети: я тогда чрезвычайно счастлив и с ними становлюсь сам дитятею».

Как это верно, что светлые сны помогают жить! Мне, например, снился сад: зеленый, сочный, разнообразный, с крупным гравием на влажных дорожках, где отпечатывались чьи-то следы — никто по дорожкам не шел, но следы возникали сами собой. Сон оставался со мной все утро и окончательно пропадал только в институте. Дни мои были заполнены бесплодными размышлениями. Я проводила их не в Аппаратной, где была моя точка, а в Обмоточной. Здесь было меньше народу, только двое мотали и не

обращали на меня внимания, может быть, даже и не слышали о моем деле. Я брала с собой пачку журналов и просматривала — работа почти механическая, вроде вязания на спицах. Или же я рисовала лабиринты тропинок, ветвящиеся схемы со знаком вопроса в конце каждого тупика. Я думала. Я делала смотр войскам. Немного их, честно говоря. Обтекаемый продаст, уже продал. Хлопотливая ушла в декретный отпуск — всегда это у нее некстати. Были еще два ученика — Первый и Второй. Первый — более ориентирован, талантлив. Второй — молод и малознающ, легко сбить. Друзей я решила не привлекать. Придут сами — их дело.

Я представляла себе, как обернется Обсуждение, что они скажут, что я им отвечу. Если так — то так. «Факты, — скажу я, — не могут быть порочными, и вот мои факты». Нет, не так. Надо их просто высмеять, вот что надо. В воображении я их высмеивала. Я произносила речи, не ограниченные регламентом. К счастью, речи я произносила только днем. По ночам я спала, и каждую ночь мне снился сад.

Назначенный день пришел наконец, начавшись дождем и прохладой. Обсуждение состоится в четыре часа — в 16:00, как было написано в повестке. Утро я просидела дома, опять читая свеаборгский дневник.

«15-го августа»

Сегодня я был свидетелем сцены, подобной той, которая забавляла меня 23-го июля, а именно: хохотал, глядя, как котенок заигрывает со старую курицу: котенок рассыпался перед нею мелким бесом — забежит то с одной, то с другой

стороны, подползет, спрячется, выпрыгнет, опять спрячется, даже раза два со всевозможной осторожностью и вежливостью гладил ее лапою; но философка-курица с стоической твердостью подбирала зернышко за зернышком и не обращала никакого внимания на пролаза. За это равнодушие и увенчалась она совершенным торжеством: всякий раз, когда ветер вздувал ее очень ненарядные перья, господин котенок, вероятно полагая, что она намерена проучить его за нахальство, обращался в постыдное бегство; но великодушная курица столь же мало примечала побед своих, сколь пренебрегала своим трусливым и вместе дерзким неприятелем; она и не взглядывала на него, не оборачивала и головы к нему, она была занята гораздо важнейшим: зернышки для нее были тем же, что для Архимеда математические выкладки, за которыми убил его римский воин».

Мне бы такой курицей, а?

Однако пора было уже собираться. Я оделась со всякою тщательностью, как на праздник. Эх, хорошо бы быть сегодня красивой; к сожалению, это уже невозможно. Волноваться было незачем, на всякий случай я приняла две таблетки кветазина и еще две — веселые, зелененькие — взяла с собой. Сумка, карандаш, блокнот, папиросы.

В третьем часу позвонил Черный и сказал, что ни ему, ни двум другим (Лысому и Худому) присутствовать не разрешили.

— Почему? — спросила я сухим ртом.

— Говорят, мы не специалисты.

— Ерунда! Как будто там будут одни специалисты.

— А вы позвоните председателю, чтобы нас пустили.

Он назвал номер.

— Я звонить не буду.

— Почему? Разве вы не хотите, чтобы мы пришли?

— Не хочу.

Вышло грубо. Черный обиделся и повесил трубку.

Эх, зря. Объяснить бы ему... Но сперва надо было объяснить себе самой: почему я не хочу, чтобы они пришли?

Почему?

Я размышляла об этом всю дорогу в Институт.

В автобусе было тесно. Сумку мою зажали между двух спин, я была зла и готова кусаться. Близко дышащие чужие рты наводили мысль об инфекции. «Вот оно, — думала я, — все дело в инфекционности. Я — как заразный больной, не хочу, чтобы от меня заражались. Буду стараться чихать мимо...»

В метро было просторнее, и мысли переменились. Теперь мне казалось: причина в том, что они, все трое, не сотрудники мои, а друзья. Они вступились бы за меня, потому что это я, и за мое Дело, потому, что это *мое* Дело. Таковой заступы не надо ни мне, ни Делу. Значит, все к лучшему. Выходило резонно и даже благородно.

Только подходя к Институту, я поняла, что это все чушь, что ничего не к лучшему и, в сущности, я хочу, чтобы они пришли.

Ах ты, глупость человеческая!

В большом зале Совета со сметанно-белыми лепными потолками было свежо, я сразу озябла. Черт меня надоумил одеться по-летнему. Высокие, стройные окна были открыты, из них струился ветер и колебал кожанные листья фикусов. Эти фикусы — гордость Института — росли здесь с незапамятных времен, огромные, древовидные, отлично ухоженные, каждый лист как лодка. Заседания Совета происходили как бы в саду. Раньше мне это нравилось, а сейчас — нет. Мне не хотелось, чтобы меня прорабатывали в саду. Пусть бы это была обыкновенная комната с казенной мебелью, с инвентарными номерками на столах и стульях. Впрочем, присмотревшись, я увидела, что и здесь были инвентарные номерки: на каждой кадке с фикусом светлела овальная бляшка. Это меня как-то утешило. Однако ветер дул слишком сильно; волоски на голых руках встали у меня дыбом, каждый на своем пупырышке, и я боялась, что кто-нибудь это заметит. Лучше бы закрыть эти окна. Я подошла к ближайшему окну и вступила в борьбу со шпингалетами. Массивные бронзовые шпингалеты с петушьими головами — сама старина! — поворачивались с трудом. На третьем шпингалете подскочил Обтекаемый:

— Что ж это вы сами, М.М., как не стыдно? Кругом столько мужчин...

И в самом деле, мужчин было много. Я отступила. Обтекаемый с рыцарским видом, взгромоздясь на стул, орудовал шпингалетами.

Члены Комиссии собирались не спеша. Дворцовые часы с музыкой (нечто вроде «Коль славен») давно пробили четыре, а члены все шли. Они здоровались друг с другом с тихой торжественностью, подобающей моменту, и рассажива-

лись по местам. Перед тем как сесть, каждый отвешивал поклон в моем направлении. В четверть пятого часы опять развели музыку, а члены все шли. В таком саду, полном перезвонов, должны были бы бить фонтаны. Мужчины все прибывали, теперь их было человек сорок, может быть, меньше, потому, что некоторые двоились.

Позже всех вошел председатель Комиссии — желтолицый гном с маленьким лицом эмбриона, потерянным и, пожалуй, огорченным под круглым отечным черепом, начисто лишенным растительности.

— Товарищи, — сказал Гном, — поскольку имеется, так сказать, кворум из числа Комиссии и приглашенных лиц, разрешите мне открыть заседание. На повестке дня...

Вступительную речь я почти не слушала. Я знала ее заранее. Каждую фразу я бы могла за него произнести. Это были УИ (условия игры) в чистом виде, без тонкостей. Во рту у меня было сухо, и мною постепенно овладевало тяжелое чувство полета. Оно несло меня над фикусами, над низко склоненными завитыми головами двух стенографисток. Как бы сверху, в ракурсе, я видела лица Комиссии и приглашенных. Это были очень серьезные, я бы сказала, бесстрастные лица. Оживленным было только одно лицо — Раздутаго. Он очень активно сидел, даже не сидел, а гарцевал на стуле, подскакивая, порываясь в бой. Все в нем говорило: толстые руки, отвисшее свиное лицо, деятельный живот, пальцы, выбивавшие дробь по обочине стула.

— Конечно, мы все уважаем М.М. как давнего и заслуженного члена нашего коллектива... — сказал Гном.

— Нечего золотить пилюлю! — крикнул Раздутый, подскочив сантиметров на десять. — Уважение тут ни при чем!

— Мы очень уважаем М.М., но... — невозмутимо продолжал Гном.

— Говорите про себя! — крикнул Раздутый. — Лично я ее не уважаю. Она сама себя поставила вне уважения!

— Вам будет предоставлено слово, — спокойно сказал Гном.

Раздутый замолчал, но тело его продолжило разговаривать.

Спустя минут десять Гном закончил вводную и возгласил:

— Товарищи, кто желает выступить?

Поднялось несколько рук. Разумеется, среди них — толстая, усердная рука Раздутого. Она даже содрогалась от рвения. Однако первое слово дали не ему, а Обтекаемому.

Обтекаемый не говорил, а вычислял. Это не был тот грубый стандарт, в котором работал, скажем, Гном: это был стандарт высшего уровня, сорт экстра. Для неискушенного ума он даже мог прозвучать чистосердечно, со слезой в голосе на высоких словах. Артист, что и говорить! Артистизм сказывался еще и в том, как он умел каждую фразу подпереть оговорками, чтобы в случае чего... Общий тон был взят чрезвычайно мягкий. В музыке это, вероятно, обозначалось бы “*dolce, con pietá*” (нежно оплакивая).

— Вы не финтите! — крикнул Раздутый со своего стула, готового под ним взорваться. — Говорите прямо, без интеллигентской размазни, осуждаете вы или нет это возмутительное, это беспре... это беспрецен...

В слове «беспрецедентное» он, конечно, запутался. «Эх, приятель, — думала я, — проходил ты всю жизнь не в своей одежде...»

— Беспретен... — упорствовал Раздутый.

Я поймала несколько робких улыбок.

— Товарищи могут скалить зубы, — завопил Раздутый. — Посмотрим, кто будет скалить зубы последним!

Улыбки угасли.

— Разумеется, — достойно и грустно сказал Гном, — мы все сожалеем...

— Не сожалеем, а возмущаемся, — четко сказал Кромешный.

Только тогда я обратила на него внимание. Он сидел смирно, симметрично, как статуя фараона, торчком держа на коленях стоячий портфель. Крашенные волосы росли у него низко, от самых бровей, грозно расходясь в стороны и слегка нависая.

Обтекаемый смутился, выпал из тона и кое-как, скомкав, закончил выступление. Под железным взглядом Кромешного не было спасения даже в криводушии.

Потом слово наконец-то дали Раздutomу. Он поднялся, окруженный, как воздушный шар оболочкой, отвисшим своим животом, и устремил на меня толстый палец. Этот палец, направленный прямо мне в лицо, казался в конце толще, чем в начале, как это бывает на фотографии, снятой с близкого расстояния.

— Она!.. — закричал Раздутый.

Он уже был накален, а теперь калился добела. Он кричал напряженно, цветисто, по-своему красноречиво, по-своему талантливо. Он страдал. Он потел. Он обливался потом. Негодова-

ние шло из него под давлением в несколько сот атмосфер.

Толстый в конце палец магнетизировал меня, казался устремленным прямо в мозг, где, кто его знает, может быть, и гнездилась смертоносная опухоль. Я слушала, и тяжкое чувство полета росло. В ушах сверлили какие-то дрели. Внешне я держалась спокойно, только иногда вздрагивала.

— Она!.. — кричал Раздутый, и я вздрагивала, как от удара кнутом, от этого местоимения женского рода, третьего лица, единственного числа.

«В чем дело? — размышляла я в промежутках. — Наверно, в изнеженности. Про меня до сих пор никто не говорил “она”. Говорили “М.М.”, или, чаще: “уважаемая М.М.”, или, еще чаще, “наша уважаемая М.М.”»...

— Она... — опять кричал Раздутый, а я вздрагивала, как лошадь, всей кожей.

«Почему председатель его не остановит? — думала я в тупом изумлении. — Впрочем, может быть, ни он, ни Раздутый не понимают, что это оскорбительно. Откуда им знать, как себя чувствует женщина, про которую говорят, про которую кричат просто „она“, словно ее вывели для телесного наказания на площадь перед кабаком... Может быть, никто из них не понимает?»

Я огляделась, ища на лицах какое-нибудь отношение. Нет, отношения не было. Разве один, сидевший с краю в кресле, — этот казался вполне довольным. Красный, крепкий, он сидел вольготно, расставив ноги, оперев руки в колени, согнув локти таким кренделем. Он наслаждался. Он купался в происходившем. Он кивал одобри-

тельно. Его я не знала, видно, он был прислан откуда-то со стороны.

А Раздутый кричал, весь вибрируя от напряжения. Теперь я понимала, зачем он кричал. Криком он загонял себя в искренность. Чем громче он кричал, тем больше верил в свои слова. С «я» он уже перешел на «мы». Видно было, как это разросшееся «мы» тычет в меня пальцем, делая вид, что его много, и пальцев много, целые миллионы, и все как один.

Дрели в ушах сверлили жестоко. Впору было согнуться, искать убежища под столом. «Только бы выдержать», — думала я. Украдкой я вынула запасную таблетку и проглотила, неловко ворочая языком. Не помогло, только стало еще суше во рту, и тяжкое чувство полета превратилось в сознание, что я в каком-то смысле хожу по потолку. Я закрыла глаза, чтобы не обрушиться. Кто-то сзади тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела дружеские, явно сочувствующие глаза. Тронувшего я знала слегка: он работал где-то в отдаленном транзистории. Я улыбнулась ему как другу. Он нагнулся к моему уху и что-то зашептал. Поначалу я не поняла.

— Громче, — сказала я. — У меня шум в ушах.

— Разоряется, — громче зашептал Тронувший, — а сам-то хорош. Моральный разложенец-рецидивист. Знаете, мне говорили...

Я стряхнула Тронувшего, как муху. Я повернулась обратно к Пальцу и стойко смотрела на него до конца. Конец наступил внезапно. Раздутый умолк и опустил сразу, как будто в нем сделался прокол и из него вышел воздух. Тяжело дыша и двумя платками вытирая пот, он обвис по обе стороны стула. Уже сев и отираясь, он что-то

вспомнил, подскочил снова и крикнул, еще небывалым фальцетом:

— Я ей советую: откажитесь печатно от своих работ! Это будет благородный поступок.

И сел, уже окончательно. В поте лица добыл свой хлеб.

Дальше во мне все как-то спуталось. Я не помню уже, кто выступал и как. Помню, что меня ругали, с каким-то удивившим меня ожесточением, те самые, что улыбались мне ежедневно. Естественно: иначе их бы не назначили в Комиссию... Но я уже не слушала. Я была занята своими ушами. С ними что-то творилось неладное: то я начисто глохла, то вдруг начинала слышать обостренно-громко, так что маленькие часики у меня на руке тикали башенным боем, разыгрывая «Коль славен». Когда я глохла, люди действовали, как в немом кино: они шевелили ртами, будто жевали, и делали несообразные жесты. Под ними мучительно не хватало титров. Потом я поняла, что титры можно привообразить, и дело пошло. Они говорили, я их подтитровывала. Ориентиром мне служило лицо того, красного, который сидел кренделем. Он сидел в кресле, как в тарелке, как в своей тарелке, и кивал с добродушием, из чего было ясно: все в порядке, ругают.

Я была в одном из приступов глухоты, когда начал говорить Белокурый. Он был неизвестен мне, высок, прям, сухонос, гладко и редко причесан. Он встал, по колено в людях. Глухота моя была неполной: сквозь нее было слышно, что голос Белокурого высок и назойлив. На титрах я читала, как он меня поносит, какими учтивыми, припомаженными словами. Тем временем в ушах звучали уже не дрели, а оркестровые тарелки:

бамм! — и щщщ... бамм! — и щщщ... — со свистящим дребезгом в конце каждого удара, который похож на звук «щ», если протянуть его как гласную. Бежали ругательные титры. На всякий случай я опять сверилась по Кренделю. Удивительно, он не казался таким уж довольным! Он изменил позу, снял руки с колен, он уже не был похож на крендель. Вдруг по его красному лицу прокатилась снизу вверх кожная складка, из которой я поняла, что Белокурый вовсе не ругает меня, что он говорит — «за»!

«Слуху мне, слуху!» — взмолилась я, глядя в лицо Белокурому. И вот — чудеса! — тарелки утихли, глухота поредела, и ясно прорезался высокий голос, говоривший «за». Он не был назойлив, наоборот, спокоен и точен, с той джентльменской сдержанностью по отношению к оппонентам, которой владеет одна правота.

Но кто же он, откуда? В словах Белокурого я узнавала собственные свои, родные мысли, но лучше, совершеннее, — свободные от бабьей эмоциональности, с которой я, увы, не могу развязаться. Я смотрела ему в рот.

Председательствующий поднял руку с часами и сказал: «Регламент».

— Сейчас кончаю, — ответил Белокурый, — но мне казалось, что другие ораторы говорили больше.

— Лишить слова! — крикнул Раздутый.

— Регламент, регламент! — закричали многие.

Белокурый пожал плечами, улыбнулся и замолчал.

Ах, мне было невыносимо, что ему не дали договорить! Не из-за себя, ей-богу, нет! Чего стои-

ли все эти склоки по сравнению с научной истиной! Нет, мне до зарезу надо было знать, что он, то есть я сама, думаю по одному вопросу, по которому я еще не имела мнения... Ах ты, боже мой...

— А кто пригласил этого товарища? Мы его не звали, — могильным голосом сказал Кромешный.

— Не волнуйтесь, я уйду.

Белокурый повернулся к залу высокой спиной, собрал со своего стула какие-то вещи и двинулся к выходу.

...Сейчас он уйдет, я так и не узнаю, что я думаю по этому вопросу! Я вскочила, забормотала, простирая руки, именно простирая, в сторону двери. Змеиный взгляд Кромешного уставился на меня — я это чувствовала двумя горячими точками на спине. Кто-то бежал ко мне со стаканом воды.

— Ничего, ничего не надо, — сказала я и села. Стакан стоял на зеленом сукне, и вода в нем качалась.

— Продолжим обсуждение, — сказал Гном. — Слово имеет...

С этого момента я уже все слышала. Мне не было интересно, но я все слышала. Передо мной был блокнот, в руке — карандаш. Некоторые фразы, казавшиеся особенно характерными, я записывала. УИ, доведенные до гротеска.

«Автор позволяет себе издевательски квалифицировать отдельных уважаемых товарищей...» (о, это слово «отдельный»!)

«Уже давно нельзя не заметить тенденции к сползанию и скатыванию...»

«Так говорится открытым текстом, но разве нам не ясен подтекст?» — писала я. Ораторов это

беспокоило. Я видела, как они, духовно становясь на цыпочки, заглядывали в блокнот через плечи и головы сидящих. Один, выступая, сказал «идеализм» — я записала слово с большим мягким знаком и показала ему издали. Вряд ли он что-нибудь разглядел.

Два-три выступления были в мою пользу. Один весьма пожилой Рефератор (в прошлом — друг) защищал меня плавающими экивоками. Он подчеркивал мои высокие личные качества. Выходило, что, несмотря на ошибки — у кого их не бывает? — человек-то я совсем неплохой.

— И вдобавок женщина, — сладко сказал Рефератор, — а где наше рыцарство, товарищи?

Тут я нарочно высморкалась — очень громко, очень неженственно.

«За» выступал мой второй ученик — молодой, путаник, с перьями на голове. Этот, слава богу, защищал, пытался защищать не меня, а Дело. Раздутый опять начал гарцевать на стуле. Второй ученик говорил, судорожно волнуясь, тиская в руках какую-то рукопись, в каждую фразу вставляя «понимаете?» и сам этого пугаясь, бедный, не привыкший говорить в ареопагах, не знающий никаких УИ, ничего.

— Демагогия! — закричал Раздутый. — Всем известно, она за него диссертацию написала. Рука руку моет!

Второй ученик тоненько застонал. Раздутый подпрыгнул и уронил фикус. Из кадки с номерком посыпалась земля. Фикус лежал, как человек с раскинутыми руками. К нему подскочили, подняли, успокоили.

После падения фикуса Второму слова больше не давали. Он и не просил. Он сидел опустив голо-

ву; между перьями розовела ранняя лысина. Он был отмечен, в каком-то смысле — приговорен.

Неожиданно подвел Первый ученик, моя главная надежда, козырной туз. Я сразу поняла, что этот туз бит. Или наоборот — как там, в «Пиковой даме»?

« — Туз выиграл.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский».

В общем, туз выиграл. Сначала он вилял, не желая высказаться ни за, ни против. Слушать его было как пить из клистира: вода, но противно. Раздутый подскочил и устремил на Первого указующий перст. «Так его, так его!» — сказала я, вся на стороне Раздутого. Первый не выдержал. Он залепетал, обращаясь почему-то ко мне:

— Видите, я вынужден признать свои ошибки в защите вас.

Я засмеялась.

— Разрешите мне? — послышался взволнованный голос. — Я не записался, но...

— Отчего же, у нас полная демократия, — с достоинством ответил Гном.

Из задних рядов не без труда протиснулся Косопузый. Его лысина — высокая, яйцом — блистала поверх стульев. На ходу он открывал портфель, вытаскивая оттуда бумаги. Под мышкой ко-со висел свиток. Это оказалась диаграмма. Он повесил ее на доску и устремил в зал темный взор маньяка.

— Товарищи, — начал он, — товарищи!

За этим должно было последовать что-то решительное.

— Я вполне согласен со всеми здесь выступавшими...

По стульям прошел гомонок.

— Но дело не в этом. Я считаю необходимым, именно в связи с данным ответственным обсуждением, еще и еще раз поставить наболевший вопрос. Это вопрос об оплате за научные издания...

— Пожалуйста, ближе к существу дела, — сказал Гном.

— Существо дела надо рассматривать во всей совокупности. А у нас что? Гонорар за научные издания оплачивается только если они не включены в план! Заметьте: не! И это — в нашем плановом хозяйстве, где, как говорится, план — это закон!

Гомонок усилился.

— Что ж это получается, товарищи? — восклицал Косопузый. — Чтобы получить заслуженный гонорар, кровную копейку, я должен представить в издательство позорную справку, повторяю, позорную, что моя работа сделана не в плановом, а в стихийном порядке!

— Правильно говорит! — крикнул Раздутый.

— Выходит, — окрылился Косопузый, — если я в свободное время левой ногой накропал ерунду, она будет оплачена! А если я, честно трудясь, в порядке плана написал книгу — шиш!

Он показал ехидно шевелящийся кукиш. Многие засмеялись.

— К порядку, товарищи, — отечески сказал Гном. — А вас попрошу еще раз: ближе к делу.

— Куда уж ближе! — захохотал Косопузый. — Факты налицо! Подшито, перенумеровано! Прошлый раз меня не поддержали, но я с тех пор не дремал, всесторонне подковался! Вот на диаграмме тиражи всех изданий, включая научные, включая библиотечку военных приключений, включая

так называемую художественную литературу! Ха-ха! Я лично ее читал и ничего художественного не нашел. Серятина, мелкотемье, правильно говорит наша критика. А гонорары? Вот здесь у меня...

Он начал вслух читать одну из подшивок, где были перечислены тиражи и гонорары всех писателей от А до Я.

— Все же это не совсем на тему, — терпеливо заметил Гном.

— Отчего, интересно! — раздались голоса.

Косопузый продолжал чтение, время от времени раздражаясь сардоническим смехом. Особо высокие тиражи и гонорары вызывали у него кулдахтанье.

...Обо мне, кажется, забыли. Все слушали...

— Мы верим вам, верим, — сказал Гном. — Эти материалы вы можете показать желающим, в кулуарах.

— Ладно. — Косопузый бросил подшивку. — Будем говорить в общем и целом. Из приведенных фактов видно, что мы, люди науки, трагически отстали как по гонорарам, так и по тиражам. В чем дело? Нет бумаги? Вздор! Тетрадей более чем достаточно. Туалетную бумагу выпускают рулонами. Правда, их иногда не хватает, но это изнеженность. Продукты питания фасуют в бумажной таре. А настольные календари? Вот я недавно говорил М.М. ...

Он взглянул в мою сторону и запнулся. На меня посмотрели. Меня вспомнили.

— Все, что вы сообщили, очень интересно, — сказал, опоминаясь, Гном, — но к сегодняшней нашей теме...

— Я еще не исчерпал регламент, — сопротивлялся Косопузый.

— Ваш регламент истек, — сказал ласково Гном. — Итак, вернемся к повестке дня. Кто хочет выступить по существу?

И тогда поднялся Кромешный.

Портфель он поставил на стул, поднял руку семафором и завыл. Воющий голос сразу отодвинул в сторону гонорарные и тиражные сказочки. Он выл по существу — значит, против меня. Крашенные волосы от самых бровей встали у него дыбом. В его повадке было что-то шаманское. Он задавал риторические вопросы и тут же сам на них отвечал, как бы от лица подвластного ему Духа.

От воющего голоса по коже шли мурашки. Но чем-то все-таки Кромешный был лучше других. Он верил, они не верили. Нет, они верили, но в себя, в свое уязвимое благополучие, в самую его уязвимость. Сейчас было безопаснее осуждать — и они осуждали. Ну, Раздутый — тот просто вымаливал прощение за моральный рецидивизм. В общем, никто из них ради меня не рискнул бы ничем — квадратным сантиметром площади, копейкой оклада.

Кромешный был не таков. Он, пожалуй, согласился бы получать на десять процентов меньше, лишь бы меня уничтожить. Я смотрела на него с интересом, на грани сочувствия. Любопытно, как у него там, внутри? О чем он думает, оставаясь ночью один, наедине со своими снами? И какие они у него, сны? Я представила себе эту воющую пустоту, и мне стало жаль его, честное слово...

— Товарищи, мы работаем свыше трех часов, — сказал Гном, — записавшихся больше нет. Поступило предложение прекратить прения.

— Прекратить, прекратить, — отозвались ряды.

— Тогда разрешите мне как председателю подвести итоги.

Итоги были подведены в обычном стиле. Гном говорил о здоровой товарищеской критике, о плодотворной дискуссии, в ходе которой были вскрыты...

— Надеюсь, уважаемая М.М. сделает из нашей дискуссии должные выводы, признает свои ошибки и перестроится...

Он повернул ко мне грустное лицо эмбриона.

— Вы желаете получить слово?

Да, я желала.

Странное дело, я ведь знала, что придется говорить, но совершенно не подготовилась. Впрочем, это было неважно. Что бы я ни сказала, это не могло повлиять на Итоги. Сидящие глядели на меня внимательно, с трубкообразно сложенными губами; на этих губах я уже видела заготовленные улыбки, которыми они меня наградят, если я приму УИ. Но что делать. У меня не было выбора.

— Нет, — сказала я. — Отказываюсь признать свои ошибки, потому что их не было. Я права. Жгите меня, я не могу иначе.

— Никто не собирается вас жечь, — серьезно перебил меня Гном.

— Ну ладно. Я сказала неудачно. Делайте со мной что хотите...

Дальше говорить я не могла, села. Что-то происходило с сердцем. Оно раздувалось, как Раздутый. Оно нависало над стулом. Какие-то там предсердия, желудочки... «Фабрика инфарктов, — подумала я. — Нет, дудки, я не позволю им довести меня до инфаркта. А ну-ка ты там, — сказала я своему сердцу, — цыц, знай свое место».

Тут они зашумели. Шум обрушился, как обильный грозовой дождь. Застучали отдельные струи. И вот, нарастая, зовом волка возник воющий голос Кромешного. Это уже было мне не по силам. Вой убивал меня — самым буквальным, физическим образом. Спотыкаясь о стулья, оступаясь на паркете, стучаясь о фикусы, я добралась до двери и вышла.

Как только я закрыла за собой дверь, меня отпустило. Отгороженный дверью вой слышался глуше. Дверь создавала иллюзию безопасности. Мне жгло глаза. Еще чего не хватало — слезы! Я ненавидела эту подлую бабью слабость. Ненавидела все на свете жидкости, все слезы, все сопли, все слюни мира. Ненависть меня подкрепила. Дойдя до парадного входа, я была, слава богу, уже спокойна. На улице стояли три моих друга: Черный, Худой и Лысый. Пришли-таки.

— Ну как? — спросили они в один голос.

— Ничего, — ответила я.

— Это было ужасно? — участливо осведомился Лысый.

— Умеренно ужасно.

— Как полагается по пословице: все на одного, один за всех, — сказал Худой.

Черный засмеялся. Лысый махнул на него рукой и продолжал расспрашивать:

— Главное, какую позицию занял председатель?

Я ответила:

— Естественную позицию. А похож был он на человеческий эмбрион в спирту...

Вот и началась моя новая жизнь. Меня охватили руки Неуспеха. Удивительно скоро я к ним привыкла. Как будто так было всегда.

А ведь всегда было иначе. Сколько я помню, мне всегда сопутствовал Успех. Он выносил меня в каждый президиум, говорил обо мне каждое Восьмое марта. Еще бы: женщина-ученый, автор трудов, переведена на языки, и прочая, и прочая. Я привыкла к Успеху, как будто он сам собой разумелся. Оказывается, не разумелся.

Может быть, бездумность, с которой я принимала Успех, обернулась теперь покорностью Неуспеху. Кто-то из писателей, кажется, Достоевский, сказал: человек — существо, ко всему привыкающее, и это лучшее его определение. Так привыкают к болезни, горю, рабству.

Мое имя стало нарицательным, затем бранным. Его склоняли, упоминали, толкали, заушали на десятках собраний.

Меня подхватил железный поток проработки. Казалось, все было заранее предусмотрено, написано по штампам, как по нотам. Здесь царили свои собственные, особые УИ, с явными чертами не просто обычая, а ритуала.

Прежде этот ритуал был мне посторонним; плавая в Успехе, я наблюдала его извне, не слишком-то интересуясь, в чем дело и кто прав: мне хватало своих дел. Теперь я имела возможность наблюдать этот процесс изнутри. Мне представился случай изучить феномен Проработки с наиболее выгодной позиции — с точки зрения самого прорабатываемого. Ну что ж. Не скажу, чтобы это было приятно, но кое-какое умственное удовлетворение все же давало. Неистребимая привычка научного работника: во всем искать закономерности, повторяющиеся черты. Видно, такой и умру.

Наблюдая, вспоминая, сопоставляя, мне удалось в общих чертах наметить следующие закономерности.

Каждая проработка (любого масштаба и значимости) имеет в основе чью-то личную заинтересованность. Скажем, кому-то хочется освободить место и посадить на него своего ставленника; другому позарез надо пролезть в академики; третий жаждет поддержать свой пошатнувшийся авторитет и так далее. Бывает в основе проработки заинтересованность не индивидуальная, а групповая. Связи заинтересованностей с ходом и направлением проработки зачастую бывают неявными, законспирированными, не поддающимися обычной логике.

Раз начавшись, проработка развивается, как ветвящийся процесс. Прежде всего некое деяние (статья, книга, устное высказывание) осуждается и вносится в резолюцию (чего — безразлично). Так зарождается основной ствол (или русло) проработочного процесса. Далее он начинает ветвиться, подобно дереву или дельте реки. Обе аналогии неточны, ибо ветвление дерева и реки происходит в пространстве, а проработки — во времени. С поправкой на эту неточность ими можно пользоваться.

Итак, проработка ветвится. Идет процесс размножения резолюций. В каждой малой, вторичной подрезолюции повторяется формула осуждения из основной, материнской, по возможности буквально, после чего возможны варианты, однако не в очень широких пределах. Вообще же четкость УИ по мере удаления от основного русла убывает. На отдаленных ветвях нередко

наблюдаются завихрения. Иногда вырастают совсем дикие ветви, по типу «там чудеса, там леший бродит».

Растекшись по множеству мелких рукавов, проработка через некоторое время обнаруживает как бы тенденцию затухнуть. Иногда, в виде исключения, это так и случается: проработка, например, может зачахнуть в тени новой, более молодой (между отдельными экземплярами возможна внутривидовая борьба). Однако чаще этого не происходит. Ослабевший проработочный механизм получает некий оживляющий импульс и начинает функционировать с новой силой. Возникает вторая волна; часто она поднимается выше первой. В процесс вовлекаются новые жертвы (объекты), в частности, те, кто противодействовал первой волне или недостаточно усердно ей способствовал. В редких случаях формируется своеобразный пульсирующий процесс, периодически дающий волны почти одинаковой мощности.

Каждая волна обычно сопровождается чьим-нибудь инфарктом, иногда двумя и больше. По количеству инфарктов можно косвенно судить об интенсивности процесса. Надо заметить, что инфарктам подвержены не только жертвы (объекты) проработки, но и действующие лица (субъекты).

Действующие лица далеко не всегда относятся к категории заинтересованных. Истинно заинтересованные предпочитают оставаться в тени. Это позволяет им в случае чего от всего отказаться. Действующие лица говорят об истинных инициаторах загадочно: «нам говорили», «нам указывали», «имеется мнение».

Длительность жизни проработки различна: от нескольких месяцев до двух-трех, реже более, лет. Бывают экземпляры, которые после периода агрессивного и пышного функционирования впадают как бы в состояние анабиоза. Объекты проработки в подобных случаях не считаются ни прямо виновными, ни прямо оправданными (аналогия: души чистилища у католиков). Упоминание о них ни в отрицательном, ни в положительном смысле не рекомендуется.

Встречаются, и не так редко, случаи, когда проработка, не пройдя полного цикла развития, погибает насильственной смертью. Причины могут быть разные: могущественный звонок, удачно направленная жалоба, статья во влиятельном органе.

Сейчас я наблюдала зарождение и развитие лично своего экземпляра проработки, и, естественно, он меня интересовал больше других (как, скажем, собственный солитер интересуется больше заспиртованного).

Пока что события развивались закономерно. Спустя месяц-полтора после Обсуждения наступил видимый период затишья, но я не обольщалась: впереди, по всем признакам, ожидалась вторая волна, которая обещала быть выше первой. Начались мелкие репрессии: отобрали вторую лабораторную комнату, ставку мотальщика, трансформаторный крест. Вызывали то одного, то другого, в том числе обоих учеников. Первому, вопреки логике, досталось больше, хотя он и отрекся. Такие нарушения логики нередки, особенно на побочных ветвях; отношу их к классу завихрений.

Вызывали поодиночке трех моих друзей: Черного, Лысого и Худого. Было произнесено слово «фракция». Стороной я узнала, что Белокурого — он, оказалось, работал в Лучевом — тоже куда-то вызвали. Косопузый отмежевался от меня в покаянном письме на имя начальства. Письмо было принято с недоумением; в общем, политического капитала он не нажил.

Я тем временем не уходила в отпуск: нет ничего хуже заочной волны. Кое-что я все-таки делала. Добилась приема в КИПе, где меня выслушали благосклонно и обещали разобраться. Обещавший тотчас же ушел в отпуск, а его заместитель был не в курсе дела и холоден по телефону.

Написала письмо в Лучевой Белокуруму, где спрашивала его о неясном мне вопросе. Оказалось, что Белокуруму этот вопрос тоже неясен; писал он мило и умно. Между тем эксперимент подавал кое-какие надежды... У моей установки удавалось порой обо всем забыть.

Завихрения продолжались; неожиданно опубликовали мою статью, которая уже больше года лежала в Периодике под сомнением: слишком дискуссионна... И вот, смотри тебе, напечатали. Очевидно, по недосмотру редактора. Только бы никто не пострадал. Мучительным было растущее сознание своей заразности: самый воздух вокруг меня зачумлялся. Я перечитала свою статью; она показалась мне скучной и заносчивой...

Заканчивалось превращение окружающего в мир без улыбок. Обтекаемый и еще несколько на всякий случай перестали здороваться.

На это мне было наплевать, но, независимо от них, во мне поселилась тусклая тревога. Даже

дома, под низкой лампой, она меня не отпускала. В отчаянии я хваталась за дневник Кюхельбекера, читанный-перечитанный, выжимая из него последние капли.

«5-го мая

Забавный и некровопролитный способ вести войну: “Исландцы потеряли на датских берегах корабль, который датчане разграбили. За это исландцы так рассердились, что всем вообще в Исландии было предписание ввести, в виде подати, с каждого носа по ругательной песне на короля датского...”»

...В общем, я продолжала жить, а время шло. В Институте оно мельтешило — мелкое, тревожное, озабоченное. А рядом, совсем в другом масштабе, шло лето; оскверненное городом, но все же торжественное, оно разворачивалось, созревало, готовилось опадать и хватало меня за душу всеми своими вечерами, дождями, запахами, напоминая о неосуществленном, растроченном... Я съездила в гости к Хлопотливой — пока мы тут прорабатывались, она успела родить сына. Крохотный, с лицом персика, он жил в том же большом масштабе, что и лето, грозы, голуби. И глаза у него были грозowego, голубиногo цвета.

Спустя месяца два после первого, состоялось второе Обсуждение. В отличие от первого, оно было единодушным. Белокурый из Лучевого не приехал — очевидно, не пустили. Второй ученик молчал, я сама его об этом просила: жена, ребенок. Какие-то юные аспиранты из Биофонной осторожно высказались не

в мою пользу. Пряча глаза, обвинительную речь произнес Седовласый. Обтекаемый признал мои и свои ошибки. С каждого носа по ругательной песне.

Опять гарцевал на стуле Раздутый, опять шаманил Кромешный, но все это было мельче, скучнее, чем в первый раз. По потолку я уже не ходила. Опять мне было предложено признать ошибки, и опять я их не признала. Я была спокойна, привела факты, но они пали в пустоту — никто меня не слушал. Хуже всего, что я сама себя не слушала. Мое внутреннее сознание уже не было цельным, словно бы моя правота осела, дала трещину.

Да, страшная вещь — общественное мнение. Пусть даже вынужденное, внушенное, но когда оно оборачивает всех против одного, одному трудно чувствовать себя правым.

Совсем разбитая после второго Обсуждения, я наутро пришла в Институт и села у телефона. Мне надо было позвонить в КИП. Я взяла трубку — там шел чей-то разговор. Отвратительная институтская связь — вечно что-то за что-то цепляется. Иногда ненавижу телефон, как живого человека. Я хотела положить трубку, но узнала голоса и прислушалась. Говорили Обтекаемый и Худой. Да простят мне предки — я стала слушать.

Обтекаемый. Однако вчерашнее Обсуждение прошло единодушно.

Худой. Когда душа заимствована, ей нетрудно быть единой.

Обтекаемый. Тебе бы не мешало хоть немного уважать общественное мнение.

Худой. Ты видел когда-нибудь, как косяк рыбы, повинувшись таинственному сигналу, мгновенно

венно совершает поворот? Вот тебе модель общественного мнения.

Обтекаемый. Наверно, такая способность полезна рыбам.

Худой. Вероятно. Однако не все, что полезно рыбам, полезно и людям.

Я положила трубку. Разговорчики. Косяк рыбы. Прав Худой, но мне от этого не легче.

В КИП я дозвонилась через несколько минут. Заместитель Обещавшего тоже ушел в отпуск, и по моему делу никто ничего не знал. Ну что же, живем дальше.

Судя по ряду признаков, предстояла еще одна волна — третья и решающая. Затишье перед этой волной выматывало душу, просто иногда нечем былодохнуть. Если бы я знала, чего ждать. То-то и беда, что не знала. Предполагать можно было что угодно.

Дефицит информации создает труса. Человек, в общем-то, не так уж труслив, он смело идет на опасность, если знает, какая она. Перед дырой неизвестности он цепенеет. Пытка неизвестностью — старый, испытанный прием. Оставляя нетронутым тело, он расшатывает душу. Вот она уже ослабела в своих душевных деснях и готова выпасть...

К тому же мне нечего было читать. Дневник я отдала Худому, который вцепился в него с жадностью шавки, а новой пищи не попадалось, и сны распоясались. Снились мне большею частью стервятники. Они кричали «прор, прор», хлопали крыльями и толпились вокруг какого-то трупа. Особенно выделялся среди них один, крупнее других, всегда обращенный ко мне левым бо-

ком, с полуволосящимся, глубоко рассеченным крылом, с нацеленным круглым оранжевым глазом. С нацеленным клювом. В клюве висели обрывки трупа, а трупом была я. «Прор» — это, очевидно, значило «проработка». Плоская символика этих снов, откуда-то из начала века, бесила меня, но угнетала весь день.

А главное зло было не вовне, а изнутри, во мне самой. В таком положении, как мое, самое трудное — это держаться внутри себя за свою правду. Что бы ни случилось — за свою правду. На что бы тебя ни вынудили — за свою правду. Но что делать, когда сама правда, гонимая, умирает, когда для ее сторонника она почти уже не правда, и все чаще встает вопрос: а что, если...

- Нет, я не признала своих ошибок, это-то было исключено, но правда внутри у меня лежала на смертном одре.

Не знаю, что бы я делала в это страшное время, если бы не трое моих друзей. Встретиться с ними — напиться живой воды.

В частности, Черный был несказанно мил: ребячье сорокалетнее лицо, такая отрада.

Часто думаешь: куда девается прелесть ребенка, когда он вырастает? Глядя на Черного, я видела: никуда она не девается, вот она. Черный был из тех людей, их, может быть, один на десять тысяч или еще меньше, которые вырастают и даже стареют, не теряя нежной ребячьей прелести.

Продолговатое, млечной смуглоты лицо Черного, его тонкие руки, даже золотая коронка в розовом рту выражали что-то бесконечно наивное, детски лукавое. Как я любила смотреть на это лицо! Сочувствие Черного было приятно, как теплая

ванна. Говоря, он время от времени притрагивался к руке собеседника тонкими теплыми пальцами.

— Знаете что, М.М., — однажды сказал мне Черный с ребячье-шкодливой улыбкой, — а может быть, все-таки имеет смысл... Ну, покаяться, что ли...

— Что вы говорите! — возмутилась я. — Ну, знаете...

— Тихо, — сказал Черный и тронул меня пальцами.

— И вы меня убеждаете покаяться? Вы, друг?

— Слегка, в пределах приличия. Выработать приемлемую формулу, чтобы они от вас отстали. А дальше продолжать работу, конечно, по-своему, не отступая от главных принципов. Разве назвать ее как-нибудь по-другому. Сохранить людей, дело. Подождать более благоприятных времен. А?

Черный опять тронул меня за руку своей узкой, теплой рукой.

— Нет уж, оставьте, — сказала я, сопротивляясь его теплоте. — Этот путь возможен, может быть, он и разумен, но не для меня. Каждому свое.

— Я так говорю потому, что вы... вы дороги мне.

— Знаю, спасибо. Вы хотите мне добра. Весь вопрос в том, как понимать добро. Вы понимаете его как благополучие.

— А вы?

— Скорее как преодоление.

— Ну, а если против вас сила? Впрямую вам ее не преодолеть. Значит, надо готовить обходный маневр. А пока...

— Лучше пусть мне оторвут голову.

— Все мне да мне. А подумали ли вы о других? Ведь за вами идут люди.

— Нечестный прием. Я обо всем подумала, может быть, раньше, чем родилась. Знаете, я сейчас буду говорить неряшливо и потому патетично. В общем, есть два пути: Галилея и Джордано Бруно. Первый отрекся и продолжал работать, второй глупо сгорел на костре. Первый путь явно разумнее, но...

— Галилей, Джордано Бруно, — с иронией сказал Черный. — Ну уж...

— Замолчите! — крикнула я. — Вы не дурак, чтобы думать, что я себя с ними равняю. Мы все перед ними карлики. Но каждый карлик у своего маленького костра...

— Как все-таки много в вас романтизма, — перебил меня Черный. — Прямо Альый Парус какой-то. Я, простите, моложе вас, но часто чувствую себя старше, а вас — таким ребенком...

И улыбнулся своей детской улыбкой.

...Об этом разговоре я много думала потом. Несомненно, в чем-то Черный был прав. Но весь мой организм не принимал его правоты. Глупость?

Чаще других я встречалась с Худым. Этот удручал меня тем, что очень уж был умен. От него исходили ум и тоска.

— Не торопитесь, — говорил он. — Сидите в своей Обмоточной. Кампании надо дать умереть естественной смертью.

— Неизвестно, кто из нас умрет раньше, — сварливо отвечала я.

— По всей вероятности, она. На вас это непохоже. И учтите, времена не те. В наше время за-

бить человека до смерти уже не делает чести забившему. Проработчики научились бояться инфарктов, самоубийств, даже обыкновенных жалоб. Они понимают, что в любую минуту колесо может повернуться. И что тогда? Верхние оказываются внизу. А вы заметили, как они избегают ставить подписи под документами? Указания передаются устно. Даже публичных выступлений они не любят, стараются выдвинуть подставных лиц. Например, Раздутый. Если колесо повернется, они наверняка выберут его в качестве свиньи отпущения...

— А Кромешный? Тоже подставное лицо?

— Нет. Эта фигура сложнее. Он — сам по себе. Вас он ненавидит самостоятельно и совершенно искренне.

— За что? Мы ведь работаем совсем в разных областях.

— Еще бы. Он работает в области штампов. Не употребления, а производства. Это его ремесло, единственное, чем он владеет. В идеально устроенном обществе такой специалист мог бы прожить ровно столько, сколько живет человек, не принимая пищи...

...Худой был умен, но труден. С ним все время надо было держаться, чтобы не сморозить глупость. Иной раз после разговора с ним такая тоска нападала — хоть вешайся. К счастью, он мог и насмешить. Он все мог.

Проще всего я себя чувствовала с Лысым. Он ничего не советовал, не объяснял. Он просто жалел меня и говорил, как нянька:

— Ну-ну, будет. Не убивайтесь так. Все перемелется.

Вот с ним я не должна была ни держаться, ни спорить. Однажды я просто положила ему голову на плечо и заплакала. Он легонько обхватил меня и поддерживал, похлопывая по спине, пока я пролиwała слезы.

— Ну-ну, М.М., не надо.

— Знаю, что не надо, — окрысилась я, рыдая. — Вы думаете, я нарочно? Просто не могу удержаться.

— Ну, тогда поплачьте, если не можете.

От его плеча пахло мокрым сукном, и я сладко заплакала на этом плече. Главное, Лысого можно было не стыдиться...

Я продолжала жить, и время шло, и лето кончилось, и черными стали ночи. Процесс применения к новому состоянию тоже кончался. Мир без улыбок стал привычным, как застарелая болезнь или уличный шум. Придя в Институт, я быстро старалась прошмыгнуть коридором и скрыться. В работе наклеивалась новая идея, но медленно, вяло, как картофельный росток в погребе. Часто я сидела весь день с пустой головой. Слабый же я человек!

Наряду с этим в моей новой жизни были и свои радости. Я полюбила рано вставать и шла в Институт пешком через весь город. Утренний, деловой и скромный, он вставал, развешивал белье на балконах, громыхал мусорными баками, отправлял множество людей, каждого по своему маршруту, со своей ношей. Каждый шел и терпел и нес свое, полагающееся ему, без шума. Глядя на утренний город, я что-то начинала понимать, прежде, когда со мной был Успех, недоступное мне.

Коварная вещь этот Успех. Он одаряет, он же и грабит. Смотришь — ты уже нищий. Хотела ли

бы я, чтобы он ко мне вернулся? Нет. Прежним я его уже не приму.

И еще я поняла очень важное: то, что со мной происходит, — не горе. Люди помогали мне это понять.

Раз, подходя к раздевалке, я услышала разговор двух гардеробщиц:

— Я больше люблю вешать, — сказала одна.

— А я — подавать, — отвечала другая. — Подавать интереснее.

И я подумала: в самом деле, что интереснее? Пожалуй, все-таки подавать. Я тоже больше любила бы подавать. Радость какая-то тронула меня: и чего я боюсь? Много интересного есть на свете, кроме науки.

Я подошла к барьеру и отдала пальто той, что больше любила вешать.

— Чтой-то вы похудали с лица, почернели, — сказала она. — Горе, может, у вас какое?

— Так, неприятности, — ответила я.

— А вы не поддавайтесь, — сказала другая, бойкая. — Я вот всегда так. Ко мне горе, а я его по мордасам.

— А у вас какое горе?

— Сына посадили. Шофером работал, человека сбил. Шел человек, пьяный как зюзя, прямо под колеса и готов. А сыну подводят, что виноват. Алкоголь в нем нашли. Пива с утра выпил, вот и горе.

И в самом деле горе. А я-то...

— Ну-ну, — сказала я ей, как мне Лысый, — не печальтесь, может, и обойдется.

— Дай-то бог. Устала я куражиться, сил нет.

В эту ночь мне опять снились стервятники. Они, как полагается, толпились у трупа. Один из

них, самый главный, на розовых ногах, что-то очень уж долго не уходил и внимательным, грустным глазом смотрел на меня, как бы по-своему сожалея. Я по-прежнему была трупом, но и стервятник был жалок, и его глубоко рассеченное, волочащееся по земле крыло казалось траченным молью. Мы расставались неохотно, но что делать, меня звали к телефону, и я проснулась.

И в самом деле, звонил телефон, видимо, уже давно.

Я подошла, но поздно — короткие гудки. Кто бы это мог звонить в такую рань?

Я взглянула на будильник. Скотина, проспал! Без четверти девять. Вот тебе и новая конструкция. Спеша, я оделась и сбежала по лестнице — лифт не работал, черт побери их обоих с будильником. Шел дождь. Улица была полна зонтиков. По лужам, возникая и лопааясь, прыгали пузыри. Один огромный, прямо-таки королевский пузырь держался долго-долго, но лопнул и он. В автобусе пахло цветами. Чей-то большой мокрый букет упирался мне прямо в щеку. Люди были веселы и дружелюбно толкались.

Старинный подъезд Института встретил меня мокрыми фонарями. Вокруг каждого колпака стоял ореольчик из скачущих капель дождя.

По коридору навстречу мне шел Обтекаемый, и — о чудо! — на лице его была улыбка. Поравнявшись со мной, он остановился.

— Поздравляю вас! Вы, конечно, уже читали?

— Нет еще, — ответила я.

— Все-таки правда всегда возьмет верх, — сказал он, влажно сияя, точно омытый дождем.

— Несмотря на все ваши усилия.

Он погрузился.

— Вы ошибаетесь, М.М., уверяю вас, вы ошибаетесь! Я лично всегда вас защищал. Спросите кого угодно.

Тут я взорвалась:

— Мне не надо никого спрашивать. Я и сама все про вас понимаю. Вы мне ясны как на ладони. Видите?

Я протянула вперед ладонь. Он вежливо на нее посмотрел, ничего не понимая.

— Ха! — сказала я горлом. — Жалкий трус! Вы думаете, что можно всю жизнь просидеть между двух стульев? Ан нет! Помяните мое слово, вас еще стукнет. И когда это случится, у вас не будет даже того утешения, что вы вели себя честно.

Он поблел.

— Вы не понимаете, М.М., — начал он бормотать, — вы еще очень многого не знаете... Все не так просто! К сожалению, я не могу вам всего сказать... Да, кстати, вы слышали о...

Он назвал фамилию Кромешного.

— Что с ним? — грубо спросила я.

— Только что звонила его жена. Инсульт...

Я ответила не сразу. Мне было сложно.

— Эх, не того, — сказала я и отошла.

Обтекаемый в полной растерянности стоял, качая головой, и таким, качающим головой, исчез из виду.

Навстречу мне шли люди и улыбались.

Человек — улыбка.

Человек — улыбка.

Все не так просто.

ЛЕТОМ В ГОРОДЕ

Когда цветут липы, город весь погружается в запах. Пахнет в трамваях, в магазинах, на лестницах.

В большом библиотечном зале тоже пахло липами. Окна были раскрыты, и когда налетал ветерок, каждый чувствовал присутствие лип.

Шла читательская конференция. Все было как полагается. Стол, накрытый зеленым сукном. Графины, цветы в горшках, микрофон. Народу собралось много, человек сто, не меньше. В президиуме сидел писатель Александр Чилимов. У писателя было хмурое, немолодое лицо, чуть отечное книзу, с глубокой, врубленной морщиной между бровей. Он положил на зеленое сукно большие жесткие руки и смотрел прямо перед собой, на портрет Тургенева.

У другого конца стола на самом краешке стула примостилась заведующая библиотекой Валентина Степановна. Она волновалась. В горле у нее першило, в глазах жгло. Когда кто-нибудь из выступающих путался или запинаясь, она начинала мучительно шевелить губами.

Только что отошел от микрофона Миша Вахин, слесарь с инструментального завода. Эх! Так

вчера хорошо рассказывал, а теперь сбился. Генриха Бёлля назвал Генрихом Боклем. Никак не мог выговорить «экзистенциализм». В зале смеялись. Обидно! Знали бы они его... Ведь у человека свои мысли, свежий взгляд — это не часто бывает.

...А писателю скучно. Сколько он, верно, слышал таких выступлений...

К микрофону вышла любимица Валентины Степановны — лаборантка Верочка из соседнего НИИ. Развита, умница — просто чудо! Ну, за эту можно не бояться. А писатель все смотрит на Тургенева — чудак, смотрел бы на Верочку. Одни глаза чего стоят. А сама мягкая, тонкая, гнущаяся, как церковная свечка.

Верочка говорила, волнуясь, что называется, «переживала». Она все сгибала-разгибала в руке конспект, а потом бросила его на стол, ухватилась одной рукой за стержень микрофона и говорила-говорила, щекой к микрофону, и эта щека у нее покраснела, словно микрофон был горячий...

«Милая моя, ну можно ли так волноваться? — думала Валентина Степановна. — А какая хорошенькая! Что-то в ней старинное, эпохи Возрождения, что ли. Где это я видела такую картину: девушка с лилией в руке? Точь-в-точь Верочка с микрофоном».

Чтобы не смущать Верочку, Валентина Степановна даже отвернулась, стала глядеть в окно. За окном жил своей жизнью бульвар. Мальчик в матроске бежал за красным мячиком. Катились коляски, кормились голуби. Надо всем этим нависла большая синяя туча. Парит. Наверно, будет дождь.

Верочка кончила. Раздались аплодисменты. Она оторвала руку от микрофона и пошла на свое место, гибко лавируя между стульями. Проходя мимо Валентины Степановны, она наклонилась, выдохнула шепотом:

— Ну, очень плохо?

— Нет, Верочка, очень хорошо.

— Ох, вы всегда меня утешаете, — и ускользнула. Писатель сидел так же неподвижно, с морщиной между бровями. Хоть бы улыбнулся, что ли.

— Слово имеет Марья Михайловна Ложникова, пенсионерка, старейший член библиотечного совета.

Вышла очень маленькая кудрявая старушка со спущенным на одной ноге чулком. Слуховой прибор висел у нее на цепочке, как охотничий рог. Она разложила на зеленом сукне листочки конспекта. Много листочков. Писатель содрогнулся. Марья Михайловна подошла к микрофону, поднялась на цыпочки и металлическим голосом завопила на весь зал:

— Товарищи! Сейчас как никогда...

— Не так громко! — закричали в публике.

— Что? — спросила Марья Михайловна. Она была похожа на чижика: кивает, словно клюет.

— Не так громко! Потихе! — надрывались в зале.

— Не слышу! — победно крикнула в микрофон Марья Михайловна.

Ну вот, опять смеются. Валентина Степановна вышла вперед:

— Марья Михайловна, дорогая, подальше от микрофона, и не надо так кричать.

Она взяла старушку за плечи и переставила. Какая легкая старушка! Пепел.

— Стойте так и не напрягайте голоса, пожалуйста.

Марья Михайловна чижиком поглядела поверх очков и поднесла рог к уху.

— Не так громко! — крикнула в раструб Валентина Степановна. Все это походило на цирк, и она страдала.

— А, не так громко? — поняла наконец старушка. Она снова ухватилась за свои листки и привстала на цыпочки: — Товарищи, сейчас как никогда имеет место огромная воспитательная роль литературы. Сегодня мы обсуждаем произведения уважаемого Александра Петровича...

(О ужас! Писателя звали Александр Александрович.)

— ...Это хорошие, качественные произведения. В них мы воочию наблюдаем передовые черты героев нашего времени, поколения строителей коммунизма: Особенно удаются уважаемому Александру Петровичу (опять!) образы борьбы за перевыполнение плана, против бюрократизма и волокиты. Однако не со всеми образами мы можем согласиться. Например, среди образов Александра Петровича фигурирует личность Вадима, который на страницах романа ведет себя отрицательно, допускает целый ряд аморальных поступков, буквально пьет! Как старая учительница я спрашиваю вас, Александр Петрович: кого и чему может научить такой Вадим? Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Петрович?

Она обернулась к писателю.

— Александр Александрович, — умоляюще подсказала Валентина Степановна.

— Не слышу!!!

— Александр Александрович!! — крикнула в рог Валентина Степановна.

— А, — закивала старушка, — понятно. Можем ли мы воспитывать молодежь на таких примерах, я вас спрашиваю, Александр Александрович?

Писатель отрицательно затряс головой. Теперь — наконец-то! — он улыбался.

— Отлично! — обрадовалась Марья Михайловна. — Смотрите: он уже признает свои ошибки. Ну, я скажу дальше. — Она снова взялась за листки. — Такие примеры, как Вадим, могут только дезориентировать молодежь, толкнуть ее на ложный путь морального разложения. Надо показывать молодому поколению подлинные примеры героизма, подражание которых... подражая которым...

Она засуетилась, ища продолжение.

— В общем, ясно, — сказал толстый парень в первом ряду.

— Дайте выступить человеку, — огрызнулась тощая женщина в комбинезоне рядом с ним.

Старушка все суетилась, перебирая листки:

— Не будет ждать своего времени... нет, не то... ах, да... выводит в своем герое... опять не то... кажется, вот, нашла: «...в человеке должно быть все прекрасно, лицо и одежда, душа и мысли», как учил великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

— Знаем, — сказал толстый парень.

— Цыц! — прикрикнула женщина в комбинезоне.

— Дальше у меня на другом листе, — заторопилась Марья Михайловна. — Сейчас, только найду.

Руки у нее дрожали, листочки рассыпались, часть упала на пол. Писатель подскочил, бросился подбирать.

— Зачем это, зачем? — бормотала Марья Михайловна. — Вы — писатель с мировым именем — и листки с полу... Я сама, сама...

Несколько голов из президиума скрылось под столом. Писатель вынырнул первым. Его большое лицо покраснело от усилий. Он собрал листки вместе и вручил Марье Михайловне. Она уже заулыбалась, закивала:

— Спасибо, не стоит. Я лучше так, без бумажки скажу. Конечно, не на таком уровне, но от души. Самое главное — читала я ваши произведения и плакала. А меня не так уж легко до слез довести. Соседка по квартире оскорбляет — не плачу. Глохну — не плачу. А ваши произведения читаю — и плачу. А помните, как у вас Вадим этот самый с похорон матери домой идет? Не помните? Напрасно! Я вам сейчас прочитаю. У меня здесь выписано... Хорошо, не надо. Просто скажу: плакала. Здесь и еще в девяти местах. У меня закладки заложены, где плакала. И за эти слезы вам, Александр Петрович, большое спасибо и низкий поклон.

Она отступила от микрофона и низко, по-монашечьи поклонилась писателю в пояс. Зашумели аплодисменты. Александр Александрович встал, мешковато вышел из-за стола и поцеловал Марью Михайловне руку. Она клюнула его в лоб и заплакала. Зал зашумел еще громче. Люди вставали, аплодировали, кричали: «Спасибо, спасибо!» Толстый парень в первом ряду хлопал особенно громко, как пушка. Марья Михайловна сбивчиво шла на свое место, закрывая лицо плат-

ком. Писатель стоял, опустив глаза, и неуверенно, тихонько похлопывал ладонью о ладонь. Седой клочок у него на лбу вздрагивал. Наконец он сел. Публика тоже стала садиться. Валентина Степановна постучала по микрофону — затихло.

— Товарищи, выступили уже десять человек. Больше записавшихся нет. Может быть, кто-нибудь еще хочет выступить? Или предоставим слово Александру Александровичу?

— Просим, просим, — загудел зал.

Писатель встал — большой, смущенный, с опущенными руками. Сразу стало совсем тихо. Тоненько звенел микрофон.

— Что мне вам сказать? В нашей жизни, в писательской, бывает всякое: хорошее и плохое. И плохого, по правде сказать, больше. Пишешь, и рвешь, и снова пишешь, и снова рвешь, и так далее. И чувствуешь себя таким бездарным, паскудным, исписавшимся... да что говорить. И подлецом иной раз себя чувствуешь, чего скрывать. Бывает. А бывает иногда и хорошее. Не в газете похвалят — это что! Хвалят, ругают — дело случая. А вот когда понимаешь, что кому-то нужен. Это большое дело. Вы тут сегодня меня благодарили — не вам меня благодарить. Спасибо вам, дорогие друзья. И дай вам бог, как говорится, счастья в жизни.

У, какой поднялся шум! Валентина Степановна торопливо постучала по микрофону:

— Тише, тише. Александр Александрович не кончил. Продолжайте, пожалуйста.

— Да что продолжать? У меня вроде все.

— Слышали, товарищи? К сожалению, все. Разрешите, товарищи, от вашего лица поблагодарить Александра Александровича... От

имени всего коллектива сотрудников библиотеки, от читательского актива и всей массы читателей...

Аплодисменты, стук стульев, шарканье подошв. Народ задвигался, начали вставать, выходить, выбираться кто куда. По людскому потоку заходили водоворотики... Вокруг писателя образовалась толчея: кто задавал вопросы, кто совал книгу — подписать, кто фотографировал... Сразу стало горячо и густо. Валентина Степановна знала: тут-то и начинается самое главное. Самые открытые, самые нужные разговоры. Сперва здесь, на пороге зала, потом на улице, под бледными глазами фонарей, на набережной, на влажных садовых скамейках... А вечер все длится, и нет сил расстаться... Все хороши, все умны, все друг друга любят...

Нет, ей сегодня никак нельзя было оставаться. Лялька придет, а обеда нет.

— Александр Александрович, спасибо! Мне так жаль, я должна идти.

— Ну что ж, идите, Валентина Степановна. Я тут с вашей молодежью поговорю. Прекрасная у вас молодежь.

— Да, молодежь у нас чудесная.

— Приезжайте к нам еще! — крикнула вихрастая девчонка, крупно осыпанная веснушками.

— Приеду, непременно.

* * *

А дождь-то, оказывается, был. На улице стояли большие лужи. Да, молодежь у нас отличная. После дождя еще сильнее пахнут липы. Противный

в сущности запах. Сладкий, навязчивый, приторный... Нет, подлый. Именно подлый запах. Как тогда пахли липы... Интересно, до чего же все-таки живуча память. Неистребима. Столько лет прошло, все отболело, а вот запахло липами — и как вчера!

Валентина Степановна шла бульваром. Под липами сидели пенсионеры. Старики с белыми нимбами вокруг лысин играли в «козла». На скамейках сидели женщины с тяжело расставленными опухшими ногами. На коленях они стоймя держали сумочки, заслоняя круглые животы. Ходили голуби, дети играли в песок.

Впереди шел какой-то мужчина в широком клетчатом пиджаке, тоже, видно, пенсионер. Он шел понуро, уронив вправо неряшливо стриженную голову, пеструю от седины. В его походке сзади было что-то знакомое, какой-то затаенный пляс. Неужели? Мужчина обернулся. Так и есть, это Володя. Но как постарел!

— Валюша, ты? — сказал Володя.

— Как видишь, я.

— Давно мы с тобой не видались, — забормотал Володя. — Года три, а? Я, признаться, здесь уже второй день прохаживаюсь, жду тебя. Ты все там же работаешь?

— Там же.

— Там же... И все такая же. Не меняешься. Даже помолодела.

— Это известный трюк: говори женщине, что она помолодела. Не ошибешься.

— Нет, кроме шуток. А знаешь, я давно мечтаю с тобой встретиться. Знаешь, когда подходишь к завершению жизни... тянет к тем, кто был особенно дорог. Ты не замечала?

— Нет, — сказала Валентина Степановна. — Я не подхожу к завершению жизни. Ты — как хочешь, а я — нет.

— Ну, ты всегда была строга. Узнаю тебя, узнаю! — засмеялся Володя и на секунду показал высокие, узкие, все еще красивые зубы. Те самые зубы. Как она их любила. Все прошло, все.

— Давай хоть посидим немного, — предложил Володя. — Мне хочется с тобой поговорить. Именно с тобой. Я ведь одинок. Не веришь? Честное слово.

— Сядем, — устало согласилась Валентина Степановна.

Очарование только что прошедшей конференции погасло, улетучилось.

Они сели на одну из пенсионерских скамеек. Высокая старуха с библейскими глазами, кормившая голубей на другом конце скамьи, встала, строго посмотрела на них и отошла.

Володя сел, потирая руки, — косоплечий, мешковатый в своем пиджаке. Ногти не совсем чисты... Не следит она за ним, что ли?

— Да, много воды утекло, — сказал Володя. — Я теперь часто возвращаюсь мыслями к прошлому и вижу, что, пожалуй, мы с тобой допустили ошибку.

— Говори об одном себе. Я никакой ошибки не допустила.

— Злючка, чертополох, — сказал Володя и опять улыбнулся.

Зубы... «Не хватает еще мне раскиснуть от этих зубов», — подумала Валентина Степановна.

— Нет, кроме шуток, мне всегда тебя не доставало. А сейчас, когда я вижу тебя такой моложа-

вой, интересной, подтянутой... Честное слово, во мне начинает что-то шевелиться...

— Ну и пошляк же ты стал, — грустно сказала Валентина Степановна, чертя каблуком песок. — Или, может быть, ты всегда был пошляком, только я не замечала?

— Пошляк, именно пошляк, — обрадовался Володя. — Метко сказано. Надо сознаться, без тебя я немного опустил морально и, пожалуй, физически. Маня — прекрасная женщина, хороший врач, но нет в ней этого самого... вечно женственного. Вообрази, я иногда вынужден сам себе стирать трусы и майки... Мне, конечно, нетрудно: квартира в новом доме, горячая и холодная вода, мусоропровод — это все есть. Но мужчине даже как-то неловко заниматься хозяйством, правда? Возьми литературу: где ты найдешь мужчину — домашнего хозяина? Это как-то противоестественно. С тобой я этого не знал. Вспоминаю, как ты прелестно хозяйничала в нашей маленькой комнатке на шестом этаже. В нашей мансарде. Помнишь?

— Забыла.

— Не верю. Женщины никогда не забывают.

«Боже мой, — думала Валентина Степановна, — это самое лицо, эти самые зубы я любила. И как! Просыпалась: люблю. Засыпала: люблю. Все: люблю».

— Липы пахнут, слышишь? — спросила она.

— Да. Чудесный запах.

— Ну, ладно, мне пора идти, — сказала Валентина Степановна. — Лялька ждет.

— Да, кстати, как Лялька? — спросил Володя с голодным каким-то лицом. — Совсем взрослая? Институт кончает?

- На третьем курсе.
- Красивая, наверно.
- Для меня — очень красивая.
- На кого похожа?
- На тебя.

— А веришь ли, — раздумчиво сказал он, — я этим живу. Ты мне, конечно, не поверишь, но это факт. Я вами — тобой и Лялькой — живу.

— Ну что же, — сказала Валентина Степановна и встала. — Живи. Мне пора.

Он тоже встал:

— Валюша, а может быть, ты позволишь мне, старому человеку, иной раз забежать на огонек? Посидели бы за чайком, поговорили бы... Посмеялись. Вспомнили прошлое.

— Ни к чему это.

— Все-таки я ей отец.

— Она тебя не знает и знать не хочет.

— Грустно, — сказал Володя. Старый Володя.

Жалко его все-таки.

Она спросила:

— Здоровье-то как?

— Здоровье ничего.

Прощались. Рука у него была слабая, вялая, какая-то мертвая. Дойдя до конца аллеи, она обернулась. Володя сидел, опустив руки. Его клетчатый серый пиджак казался издали зеленоватым.

* * *

Валентина Степановна поднялась по лестнице не спеша. «Не спешить, на каждой площадке считать до ста», — сказал врач. Ничего не поде-

лаешь. Считай теперь до ста. До самой смерти считай.

В сумке у нее лежали ранние овощи: редиска, петрушка, морковь, салат. Все это было влажно, свежо, молодо-зелено. Не в ларьке брала — на рынке. Дорого, зато хорошо. Ляльку подкармливать надо: Лялька бледна.

На последней, шестой площадке она сосчитала только до пятидесяти и отперла дверь. Замок щелкнул — она дома.

— Ты, что ли, Степановна? — окликнула ее с кухни соседка Поля.

— Я, а что? Ляля не приходила?

— Не было. В десять глаза продрала, прическу всколотила — и вон. Ни чаю не попила, ничего. Все некогда. Вот не дрыхла бы до десяти часов, все бы успела. Я...

— Не звонила она?

— Вроде бы нет. Мне ни к чему. Ковер выбивала. Пылища! Глаза застит. А может, и звонила. Мне ни к чему. Мне звонить некому — я и не слушаю. Пускай себе дрынчит.

С Полей всегда так: ты ей слово, а она тебе — двадцать. Валентина Степановна разделась и прошла к себе. В комнате прохладно, окно открыто, и белая занавеска вздута ветром.

Села за стол, чтобы подумать. Она всегда думала перед тем, как начать работу по дому. Думала недолго: минуты три. Расставить дела по местам, пригнать их плотно, без зазоров. Чтобы на все хватило времени и не торопиться.

...Разобрать, почистить овощи — раз, суп поставить — два, пока суп варится, белье прополоскать — три...

Она считала и загибала пальцы, начиная с мизинца. Лялька всегда над ней смеялась, поддразнивала:

— Первая колонна стоит, вторая колонна идет... Полководец!

— Надо же сообразить, что когда сделать. Потому у меня и хватает времени, а у тебя — нет.

— Все равно я так не умею. Планировать.

— Все ты умеешь, Лялька, когда захочешь.

А и верно, Лялька все могла, когда хотела. Но только все полосами. Полоса шитья. Сшила себе вечернее платье. Подруги приходили — ахали. Что платье — Олегу сшила брюки! Потом — полоса стряпни. Достала где-то поваренную книгу, восемнадцатого, что ли, века. Пестрый фартучек на отлете, тонкие руки по локоть в муке...

Поля стояла рядом, вперед животом:

— Неш так пекут? Кто так пекет? Пресное тесто — оно пресное и есть, а кислое — кислое. А ты в одну охристоратию все. И тут тебе дрожди, и тут тебе сода, и сдоба туда же, как идиотство. И все она по книжке. Нет чтобы людей спросить. Нет, по-нашему, кислое, оно и есть кислое, а пресное — пресное...

— Слушай, Поля, а ты когда-нибудь ошибалась? — спросила Лялька.

— Нет. А как это: ошибалась?

— Очень просто. Была ты когда-нибудь неправа?

Поля честно подумала и ответила скромно:

— Не вспомню. Будто не была.

...А пирог-то вышел хорош: высокий, дородный, румяный... Даже Поля, попробовав, сказала: «Ничего», но тут же добавила: «А по-нашему лучше».

Так же вот, полосами, шло у Ляльки ученье. Полоса пятерок, портрет на доске передовиков учебы — Валентина Степановна радуется. Следующую сессию начнет с двойки. Лежит, курит: «Не хочу учиться, хочу жениться!»

— Лялька, как тебе не стыдно? С твоими способностями...

— Еще неизвестно, к чему у меня способности. Может быть, во мне погибла певица.

И вот — полоса музыки. Купила гитару, научилась играть по самоучителю. Поет под гитару — старательно, но фальшиво. Слуха нет.

— Нет, Лялька, в тебе не погибла певица.

— А что? Очень плохо?

— Очень.

— А как же Борька в меня влюбился, когда я ему Кармен изображала? За пение.

— Не «за пение», а «несмотря на пение».

— И это — мать! Это не мать, а зверь. Настоящая мать должна слепо — понимаешь? — слепо обожать свое дитя. Создавать ему золотое детство. А теперь проверим. Мышонок, хорошо я пою?

— Плохо.

— Ох, честность тебя погубит. А все-таки я тебя люблю...

Посмотрит, свесив голову набок, а потом взвизгнет тоненько и — целовать:

— До чего же хорош! До чего мал! До чего мил!

Ну, ладно. Пора идти. Почистить овощи — раз, суп поставить — два. Валентина Степановна вышла на кухню, взяла с полки мисочку, с гвоздя дощечку. Все у нее на своем месте, каждая вещь — на своем гвозде. Это не педантизм, просто экономия времени.

Она начала разбирать овощи. Рядом стирала Поля, низко нагнув спину над цинковым, выдавшим виды корытом. Кофта у нее на спине потемнела от пота.

— Поля, взяли бы вы мою машину стиральную. Гораздо скорее. Я вчера большую стирку — за час...

Ой, не надо было начинать. С Полей всегда так: дернешь — и польется. Так и есть.

— Машина!!! Видали мы ваши машины. На все — машины. Высморгаться или там до ветру сходить — и то скоро машину придумаете...

(В глазах Поли Валентина Степановна была олицетворением интеллигенции, со всеми ее грехами и слабостями.)

— Нет, Валентина Степановна, мне вашей машины не надо. Даром не возьму, не то что тысячи платить. Крутит-крутит, а чего крутит — неизвестно. И по часам за ней следи. Кругом четыре минуты. Грязь, не грязь, белое, черное — ей все равно. Четыре минуты. Разве я руками-то четыре минуты стираю? Я, может, каждое пятнышко на свет гляжу. Маруська-нижняя давесь на машине постирала — обхохотались мы. Все вместе склала — и давай крутить. А что вышло? Псивое белье и псивое.

(«Маруська-нижняя» была соседка снизу, вечный предмет Полиных осуждений.)

— Тяжело руками-то, — вздохнула Валентина Степановна.

— Тебе, матушка, все тяжело. Немолодая, да и сердечная. Я твоих лет, а все покрепче. Выдубила я себя работой. Постираю небось белей твоей машины.

— Ну, как хотите.

Поля опять нагнулась над корытом и стала сердито двигать спиной. Валентина Степановна крошила овощи. Тихо было. Только белье плескалось в корыте да ножик о деревянную дощечку: стук, стук.

«Слава богу, молчит, — думала Валентина Степановна. — Имеет же право человек на личную тишину».

Нет, с личной тишиной ничего не вышло. Поля еще не наговорила.

— Вот, Степановна, я что тебе скажу. У Дуськи Саврасовой племянник — молодой, а культурный. До того культурный, просто прелесть. Техникум кончил. Бывало, идет на гулянку — нарядится, наглядится, как херувим. На боку — приемник, транзистор. Ну, все как есть. Мы с Дуськой глядим, не нарадуемся. Комнату ему дали, и съехал он от Дуськи. Живет ничего, только стал у него волос падать. Ну, падает и падает, и захотел он жениться. Дуська не против, ей что, не у ней живет. Расписался он на женщине. Сперва ничего, а потом стала хулиганить. Белое, серое и розовое вместе кипятит, это надо подумать! Он сперва молчал, потом стал требовать. Она — пуще. Веревками привязывает бюсгалтер — до какого нахальства дошла. Нет, не будет он с ней жить, разойдется. Парня жалко, больно хорош.

(Поля никого не могла похвалить, не осудив кого-нибудь другого. Хвалила она чаще всего себя.)

— Я такого нахальства — бюсгалтер веревками! — не позволю. Я хоть и простым сторожем работаю, ваши вузы-пузы не кончала, а культуру знаю. Муж-покойник пьет — а мне

все терпимо. Наблюдает — вытру, не то что перед соседями срамотиться. Бельишко ему постираю, вычину, выглажу — как светлое Христово воскресенье...

Замолчала. Тихо. Только белье трется.

— А что я тебя хотела спросить, Валентина Степановна, — внезапно сказала Поля. — Ваш-то заболел или так просто не ходит?

— О чем это вы, Поля? — лицемерно спросила Валентина Степановна.

— Прямо не понимаешь? — прищурилась Поля. — Об ком же, как не об Олежке об вашем? Не слепая. Стенке — и то в глаза кинется. Ходил-ходил парень, и здрасте, перестал, как водой в ньютазе смыло. И на Лариске-то твоей образа нет — не вижу, что ли? Красится-мажется, а сама как смерть загробная.

Валентина Степановна молчала.

— Таишься ты от меня, ох, таишься. А чего таиться? Дело-то житейское, бабье. Я вам с Лариской худа не хочу. Девка при мне выросла, ниже стола на кухню бегала: тетя Поля то, тетя Поля се. Мало я ей соплей подтерла? А ты на службу свою фр-фр, хвостом махнула — и нет тебя. А Поля здесь, куда она денется. Ребенок все-таки, не кошка. Я и кошек жалею. А ты со мной — будто уши у меня, как у свиньи.

— Поля, милая, не обижайтесь. Я от вас ничего не таю, честное слово. Я сама ничего не знаю.

— Шила в мешке не утаишь — проколет наружу. Ходил парень и не ходит. И девка сама не своя. А она, часом, не со свежей икрой?

— Бог с вами, что вы только говорите, Поля, да и какими словами, никак не могу привыкнуть к вашему жаргону.

Валентина Степановна ножиком сбросила зелень в уже закипающий, помутневший суп.

— Уж и обиделась, — сказала Поля. — Жиргон какой-то. Вы меня такими словами не трогайте. Больно вы тонкие, тоньше волоса. Сама-то что, не рожала? Не гуляла? И рожала, и гуляла, а слова сказать нельзя. А ты лучше за бельем Ларискиным поглядывай. Девка неряха, все швырь да швырь, а ты поглядывай.

— Простите, Поля, у меня голова болит, — сказала Валентина Степановна и ушла к себе в комнату. Как в подполье.

...Белье прополоскать — три... Прополощешь тут бельё — на кухне Поля. Удивительное многословие. Наверно, оттого, что не читает. Это у нее вместо чтения. Приучить ее, что ли, к книгам? Не выйдет. Скорее она меня отучит.

Чтобы не терять времени, Валентина Степановна переставила дела, стала вытирать пыль. Успокоительное занятие. Руки заняты, голова свободна, никто рядом не бубнит, и можно думать о чем угодно, хоть о сегодняшней конференции. Ничего, удачная вышла конференция. Но нет, о конференции не думалось, в голову лезли совсем другие мысли: Ляля, Олег.

На стене фотография: Ляля с Олегом в лесу, на лыжах. Олег — прямой, статный, темноволосый, на широкой груди — свитер в обтяжку. Черные брови срослись над прямым носом. Рядом — Лялька: стоит, вся перегнулась, словно повисла на лыжах, одна нога далеко в сторону, хохочет, в волосах снег...

Зазвенел телефон. Валентина Степановна вышла в коридор, взяла трубку.

— Мышонок, ты? — сказал издалека любимый, смутный, низковатый голос.

— Я, милая. Откуда ты? Я тебя жду. Есть салат.

— О, салат! Это удачно. Люблю салат. Мышонок, ты меня слышишь? Я тебя люблю. Понимаешь?

— Понимаю. А ты когда будешь?

Лялькин голос помедлил и сказал, чуть надломившись:

— Не знаю. Скоро. А мне никто не звонил?

— При мне никто. Может быть, Полю спросить?

— Не надо.

— Хорошо, не надо. Так я жду тебя.

— Договорились.

Валентина Степановна повесила трубку. Не успела отойти — опять звонок. Хоть бы Олег!

— Валюнчик, это я.

— Жанна! Куда же ты пропала?

— Ах, это целая история. Вообрази, я опять влюбилась.

— Господи помилуй!

— Да. Ужасайся не ужасайся, моя добродетельная подружка, придется тебе принять меня, какая есть. Тру-ля-ля. Осуждаете, Валентина Степановна?

— Что ты — осуждаю! Радуюсь за тебя.

— Ты знаешь, ему больше всего понравились мои икры. В этих икрах — он говорит — вся элитность века.

— А он не дурак?

— Мм... не знаю. Но ведь я и сама не умна. Верно?

— Пожалуй, верно.

— Люблю за искренность. Ты все такая же девочка-правдочка, как в школе.

— Нечего сказать, девочка! Скоро буду бабушка-правдочка.

— Как? Уже!! Лялька?

— Что ты, нет. Это я просто о возрасте.

— Да, возраст — это наш кошмар, не правда ли? И все-таки не хочется расставаться с иллюзиями, верно?

— Ты знаешь, я давно с ними рассталась.

— И я. Но время от времени они все-таки появляются. В прошлом году я уже совсем отказалась от любви — хватит. А тут опять она налетела на меня как ураган. Чувствую, что-то клубится, клубится... Нет, Валюнчик, по телефону этого не выразишь. Можно, я к тебе зайду? Ты что делаешь?

— Обед готовлю. Ляльку жду.

— Ну, я на одну маленькую минутку. Посижу, папироску выкурю — и нет меня. Можно?

— Конечно, можно.

— Целую.

— Жду.

...Ох эта Жанна. Смех и слезы. А люблю ее. Вся жизнь вместе — это не шутка, вся жизнь. Вместе в школе учились, вместе работали. Вместе бежали в войну. Если бы не Жанна, пропали бы мы обе: я и Лялька. У девочки уже цинга начиналась. А кто спас? Жанна. Фрукты, лимоны... Это в войну-то! Откуда? Спросишь — смеется: «Заработала честным трудом». Какой-то был у нее там заведующий складом. Кто ее осудит? Не я.

А Лялька-маленькая, до чего же она была хороша! До страдания. Даже прохожие на улице

останавливались и страдали: какая девочка! Волосы черные, глаза зеленые, взгляд строгий, а ресницы... Да, давно я не видела Ляльку черноволосой... Каждую неделю новый цвет: то спелой ржи, то красного дерева... А недавно пришла вся седая, с сиреневым оттенком. Очень просто: серебряная краска, чуточку школьных чернил — и все.

— Лялька! Опять новый цвет? Пощади. У меня же сердце.

— Надо идти в ногу с веком, мышонок. Равняйся, подтягивайся. И вообще о чем разговор? Мои волосы? Мои. Мои губы? Мои. Хочу и краску. Не нравится? Золото ты мое! Это в тебе девятнадцатый век играет.

— Лялька, меня же не было в девятнадцатом веке, и ты это отлично знаешь.

— Все равно. Душой ты в девятнадцатом веке. Такой уютный век. Все ясно, как у Поли: белое — белое, черное — черное. Ты бы хотела меня видеть чистой, белой, тургеневской, с удочкой в руках над старым прудом. Образ Лизы Калитиной, «Дворянское гнездо».

— Все врешь.

— Ну, вру. Ты у меня молодой. Ты у меня красивый. А уши-то, уши! Как две камеи. А волосы? И седых-то почти нет. Ох, задущу!

— Лялька, сумасшедшая, пусти...

А Лялька у зеркала — вот тоже картина. «Делает себе лицо». Серьезные, страдальческие губы, черный карандаш в углу зеленого глаза... Два-три штриха — и глаз оживает: продолговатый, загадочный, раскосый... А потом — отделка ресниц. В руке тупой перочинный ножик. Этим ножом ресницы терпеливо, по одной, погибают

кверху. И непременно тупым. Однажды Олег — аккуратный Олег — нашел у нее этот ножик и наточил. Услужил, нечего сказать! Лялька чуть ресницы себе не отхватила. Потом ножик нарочно тупили на цветочном горшке...

Эх, Олег! Ну чего ему не хватало?

Звонят. Наверно, Жанна пришла. Так и есть — она. Дверь открыла Поля и, буркнув, ушла на кухню. Не любит она Жанну.

— Валюнчик, здравствуй, солнышко! Дай поцелую. Я тебя не покрасила?

— Кажется, нет. Заходи.

Из-за кухонной двери слышался монолог Поли:

— Пустая баба, кривое веретено. Туда — круть, сюда — верть, а чего модничать, пора о душе подумать. Пятый десяток — не двадцать лет! А она на себя накручивает. И Лариска за ней. Туда же.

— Это что, Поля говорит? С кем она?

— Сама с собой. Это она так. Не обращай внимания.

— И тужится она, тужится, и пыжится она, пыжится, — громко сказали за дверью. — Ей пятьдесят, идет, вырядилась, коленки блысь-блысь, а под коленками-то одни вени — море синее. А чего? Все одно — выше головы не прыгнешь, умней отца-матери не будешь. Старая, она и есть старая. Время-то назад не текёт.

— Это она про меня?

— Нет, это она про себя. Идем.

...Жанна уселась в кресло, переплела ноги змейкой. В самом деле, удивительные, неувядаемые ноги. Вынула папиросу, закурила.

— Ну вот, такие дела, Валюша. Опять на жизненном пути повстречалась мне любовь.

Жанна всегда говорила такими формулами. Странно, что это было не противно. Ей это шло.

— И кто же он? — спросила Валентина Степановна.

— Один моряк. Вполне интеллигентный. Знаешь, я неравнодушна к галунам. Недаром во все времена женщины любили военных. Это золото, киверы, ментики, доломаны...

— А ты знаешь, что такое доломан?

Жанна задумалась.

— Вроде сабли? — спросила она.

— Не совсем. Скорее вроде кителя.

— Я так и думала: вроде кителя. Ах, в наше время все так бесцветно: защитный и еще раз защитный. Морская форма всегда меня волновала. Можешь верить, можешь не верить.

— Охотно верю.

— Вечно ты надо мной смеешься. Конечно, я смешна. Эту черту, влюбчивость, я за собой знаю. Когда встречается на пути любовь, я обо всем забываю и сразу же начинаю пылать.

— Где ты его выкопала?

— О, это целый роман. Мы встретились в очереди за билетами. Я купила в Сочи, а он — в Минводы. Разговорились, посмеялись, он мне спел: «О, эти черные глаза...» То, другое. «А вам, — говорит, — обязательно надо в Сочи?» — «Обязательно». — «Кто-нибудь ждет?» — «Никто не ждет, свободна, как ветер». — «Тогда, — говорит, — поехали вместе в Минводы». Ну, меня как вихрем завертело... В глазах — круги. Поехали в Минводы.

— Прямо так? Сразу?

— Нет, через два дня. Ну, я, конечно, себя привела в порядок, брови выщипала, волосы покрасила — видишь? Гамма с отливом. Ты не смотри у пробора, там отросло. Ты здесь смотри. Прекрасный оттенок. Костюмчик мне Анна Марковна приготовила — пройма спущена, на юбке бантовые складки. Сумочка в цвет, туфельки венгерские, на шпильках — ты знаешь. Еду как королева, выгляжу вполне прилично. Больше тридцати восьми я бы себе не дала, а ты знаешь, какой у меня глаз на возраст. В общем, это был прекрасный сон...

— И сколько времени он продолжался?

— Две недели. Деньги кончились.

— У него?

— У меня.

— А он?

— Остался там. Когда мы расставались, он даже прослезился. Дал слово, что позвонит мне сразу, как приедет.

— Он женатый?

— Кажется, да. А что? Валюша, ты меня осуждаешь?

— Честное слово, нет.

Вдруг Жанна уткнулась носом в спинку кресла и зарыдала. Именно зарыдала, а не заплакала.

— Жанна, милая, что с тобой? Я тебя обидела?

— Я сама себя обидела.

— Ради бога, не плачь. Я же не Поля. Я все понимаю.

Жанна трясла головой. Светло-каштановые пряди, «гамма с отливом», рассыпались, и между ними замелькали темные, с сединой.

— Валюша, сегодня я вспомнила Леонтия Ивановича. — Это был покойный муж Жанны, генерал. — За ним я была как за каменной стеной. Если бы он был жив, ничего бы не случилось. Он воздух вокруг меня целовал. Это проклятое одиночество! Нет, ты не понимаешь.

— Я ведь тоже одна.

— У тебя — Лялька.

— Верно. У меня Лялька.

...Внезапно, как-то сразу, Жанна успокоилась. Она села, вытерла глаза и улыбнулась.

— Знаешь, мне все-таки повезло, что я не располнела. Сзади меня можно принять за девочку. Правда?

— Правда.

— Ну, я пойду. Посидела, покурила, поплакала... Как это хорошо, когда есть где поплакать!

— Приходи ко мне всегда, в любое время.

— Поплакать?

— И посмеяться тоже.

— О, дружба — это ты. Валюша, ты истинный друг.

— Мы с тобой — старые друзья.

— Старые-престарые. Проводи меня, а то я боюсь Полю.

Валентина Степановна проводила Жанну до выхода.

— Паразитка, — громко сказали за кухонной дверью. Жанна храбро натягивала перчатки:

— Прощай, Валюнчик. Будь здорова. Ляльку целуй.

Хлопнула дверь, тонкие каблучки застучали по лестнице. За кухонной дверью продолжался монолог Поли:

— А мне мужика не надо. На что мне мужик? От него грязь одна. Стирайся на него, стирайся... Дух тяжелый от мужика. Ты, что ли, за дверью, Степановна? Входи, не робей. Что, неправду я говорю? В такие годы о мужиках думать — последнее дело! Молодая-то я была — огонь! А теперь мне мужика не надо. Даром не возьму. От мужика грязь, от мужика вонь, без пол-литра он не придет. Лучше уж я в кино пойду или, на худой конец, в церкву. Мне мужика не надо...

Валентина Степановна тихонько отошла от двери и ушла к себе. Надо бы суп заправить, да бог с ним. Там Поля с разговорами. Удивительно, как один человек может всех поработить, если он всегда прав.

Остается вытереть пыль. И в самом деле, что за неряха эта Лялька! Поглядеть только, что у нее на столе! Сумочка, конспекты, карандаши для бровей, пояс с резинками, один чулок. Дорожка побежала, надо поднять...

Прибирая, взяла Лялькину сумку, да как-то неловко, из нее посыпались мелочи: помада, пудреница, скомканные рубли, бумажки... Она опустилась на колени и стала подбирать рассыпанное с полу. Как сегодня писатель подбирал листки (Валентина Степановна улыбнулась)... Одна развернутая бумажка кинулась ей в глаза. Против воли она прочла:

«Савченко Лариса Владимировна... год рождения 1940... направляется в гинекологическое отделение роддома № 35 для прерывания беременности... 6—7 недель...»

На мгновение светлое небо за окном мигнуло, словно зажмурилось. Валентина Степановна постояла на коленях, собрала вещи и встала,

держась за край стола. Как старуха. Сложила все обратно в сумку. Это было бессмысленно и невозможно, совершенно невозможно. Перечла бумагу еще раз. Все так. «Ну, ладно. Ужасно, но ладно. Это надо усвоить. Ужасно, что она от меня скрыла. А я думала, у нее нет от меня секретов».

Валентина Степановна вышла на кухню и погасила газ под супом. Поли, слава богу, не было. Вернулась, опять села в кресло. Кресло ее не принимало. Она подоткнула ноги и положила голову на ручку. Так почему-то вышло. Так было почти не больно сидеть. Она закрыла глаза. На улице кричали дети. Ветер дергал занавеску и доносил в комнату запах лип.

* * *

Так точно пахли липы в то проклятое лето. Помню, я стояла здесь, а он — там. Он — спиной к окну, я — лицом.

— Валюша, неужели это все серьезно? Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушел?

— Совершенно серьезно.

— Ты идиотка. Пойми, ведь это ничего не значит. Ну, маленькое увлечение. Увлекся. Это бывает.

— Зачем ты мне лгал?

— Лгал! А что, мне надо было все так тебе и выложить? Мерси. Ты бы устроила скандал, все поломала... Я слишком дорожил нашими отношениями, чтобы тебе сказать.

И это говорил Володя. Невозможно. Это не он говорил, не он.

— Валюша, ты делаешь из мухи слона. Ты пойми: я же люблю тебя. Та, другая женщина, для меня, в сущности, нуль. Ну, если хочешь, я там все порву, хочешь?

...Как он не понимает, что дело не в другой женщине, а во лжи?

— Дело не в другой женщине.

— А в чем же?

— Дело во мне. Я тебя больше не люблю. Уходи.

— Смотри, пожалеешь.

И ушел. Помню это ощущение: весь мир рвется сверху донизу, пополам. И тут же: еще не поздно. Догнать, вернуть. Вон его папироса в пепельнице: еще живая. Еще дымится. Что же ты стоишь? Догони, верни. И удар двери внизу: все.

Нет, Володи больше не было, он раздвоился. Он раскололся. Он распался на двух. Один — прежний, любимый, абсолютно любимый, абсолютно свой. Другой — этот, новый, глухой, жестокий. Чужой. И мысль: как смеет этот, новый, ходить в теле моего, говорить его губами? Убийца.

Когда мир раскалывается пополам, человек оглушен. Произошло что-то невообразимое. Это невозможно, но это так. И человек не может вместить противоречия, ему кажется, что он погибает. Вздор. Человек живуч. Он и погибая живет. Живет, забывает, выздоравливает.

...А про Ляльку я ему так и не сказала. Думала: зачем говорить? Еще пожалеет... останется... солжет... Еще одна ложь.

Впрочем, тогда это была еще не Лялька. Я думала, это будет мальчик, Володя. Мальчик еще только начинался, не было полной уверен-

ности. Думала: скажу потом. Так и не сказала. А про то, что есть Лялька, он узнал случайно, два года спустя...

Но я тогда про ребенка не думала. Все думала о нем, о Володе. Когда это началось? Снег лежал — или уже весной? Почему-то это казалось самым важным: когда? Когда кончился прежний Володя и начался новый? Важно было найти эту черту в прошлом и по ней отрезать.

Все-таки в этот день я пошла на работу. В библиотеке сидела Жанна, болтала с читателями. У ее столика всегда был хвост. Она меня заметила, испугалась:

— Валюша, что с тобой? Ты вся зеленая.

А мне стало худо. Она меня отвела в туалет. Какие-то ведра стояли с известкой. В одном — большая кисть. А главное, пол в разноцветных плитках. Этот пол шел прямо на меня. Жанна держала мне голову... Потом стало легче.

— Валюша, милая, скажи, это не...

Я кивнула.

— Боже как интересно. У тебя будет маленький бэби!

Жанна тогда увлекалась Голливудом и говорила: «бэби», «дарлинг»...

— Володя, конечно, в восторге?

— Володя не знает.

— Как так?

— Жанна, ты все равно узнаешь, так лучше сразу. Володи никакого нет. Мы разошлись.

...Слезы в темных Жаннинных глазах. Что слова? Слезы важны.

— Валечка, можно только одно слово спросить? Ну самое маленькое слово?

— Нельзя.

— Я не о Володе. Нельзя так нельзя. Я об «этом». Ты «это» оставишь или будешь ликвидировать?

А «это» была Лялька...

— Не знаю, Жанна, ничего не знаю.

А потом началась странная какая-то жизнь — вроде бреда. Я лежала и думала. С работы уходила минута в минуту — торопилась домой, чтобы лечь. Ложилась на диван лицом к спинке, думала. Звонил телефон — не подходила. Только при каждом звонке начинало стучать сердце. Прямо бухало в уши. Соседка стучала в дверь:

— К телефону!

Я не подавала голоса. Соседка кричала в коридоре:

— Нет дома! А может, спит!

Сердце все стучало, постепенно успокаивалось. Через полчаса — опять звонок, и опять сердце. Я ни разу не подходила. Я только твердила про себя одну и ту же странную фразу:

— Будь проклят ты, если это ты.

И опять начинала думать. Все о том же: где провести черту? По ту сторону — прежний Володя. Его я люблю. По эту сторону — новый. Его следовало ненавидеть. А черта все смещалась туда и сюда. Иной раз новый прорастал в прежнего... Минутами даже казалось, что никакого прежнего вообще не было. И тогда я кричала этому новому, как живому: «Ты что же, совсем хочешь все у меня отнять?» А иногда, наоборот, прежний начинал прорастать в нового... Вот это было хуже всего. Тогда я почти готова была простить, вернуть... Жи-

вут же другие после таких происшествий? Какая-то шерстинка запомнилась на спинке дивана... Она все ходила от дыхания взад и вперед, колебалась...

Убирать в комнате я почти перестала, есть — тоже. Никого не могла видеть, кроме Жанны. Одну только Жанну могла видеть. Очень важно, когда человек не раздражает. Вот Жанна меня никогда не раздражала. Ходит по комнате, чего-то напевает... Подметет пол, смахнет пыль... К зеркалу подойдет — локоны, ресницы, то-се. Себе подмигнет по-потешному. Переимчива была, как обезьяна: одну бровь поднимет, и человек готов. Или о тряпках говорит таким грудным, таинственным шепотом, на манер голливудской звезды:

— Фасончик вери найс... Рукава буффиками, плечики подложены, но не очень, а так, в самый раз. Получается мягкий квадрат, понимаешь? Юбочка-шестиклинка, до полноги, внизу чуть расклешена. По вороту бейка...

Слушаешь ее, и словно бы даже легче становится. Как будто смотришь мимо своего горя на пеструю, красивую, беззаботную птицу. Поглядишь на нее — вся из кусочков, каждый где-то заимствован и в общем так себе. А все вместе — Жанна. Сентиментальная, щедрая, шалая, дорогая Жанна.

О Володе мы не говорили. Так было условлено. Жанна держала слово. Как ей иногда было трудно — надо знать Жанну! Молчать о чем-нибудь — ведь это для нее пытка! Но как-то раз она приготовилась, даже губы накрасила лиловым, и заговорила:

— Валюнчик, ну позволь мне сказать... У меня же будет разрыв сердца. Я же тебя люблю. Я же не уговариваю тебя вернуться к Володе...

— Нет.

— Но надо же посмотреть в будущее, верно? Я ведь хочу тебе только добра. В этом ты можешь быть уверена, это как сталь. Послушай, если ты решила ликвидировать, то надо сейчас, а то будет поздно, понимаешь?

...Ничего я в этом не понимала, ничего не хотела знать. Никогда не приходилось с этим иметь дело. Какая-то уголовщина... Читала в газетах случай: и врача, и женщину — под суд. Стать преступницей, подсудимой. И все-таки без этого нельзя. Куда было девать еще и этого Володю? Хватало хлопот с теми, двумя...

И Жанна все устроила. Свезла меня к врачу. Владимир Казимирович. Этакий в заграничном костюме, с булавкой в галстучке... Голос у него был жирный, будто шкварки жарились. Лицо — смуглое, холеное, умное... Жанна уверяла, что у Владимира Казимировича — легкая рука: «Ты увидишь, он так это делает — просто одно удовольствие». А я покорилась, ничего у меня не было: ни воли своей, ни желаний...

— Сомнения исключены, — сказал он. — Беременность налицо. Что касается оперативного вмешательства, то оно может не понадобиться, если вовремя принять необходимые меры...

Так он замысловато говорил, Владимир Казимирович. Фразы длинные, витиеватые. Ходит-ходит кругом смысла... Восьмерками...

Легкий, безболезненный курс уколов. По двадцать пять рублей за укол. Препарат — прямо из-за границы. Ни к чему не обязывает, но может помочь...

Я стала ездить на уколы. Он жил на даче, в Карповке. Дача — дворец. Двухэтажная, каменная, все удобства: газ, ванная, телефон. И сад с каким-то дурацким амуром. Птицы наделали ему на голову, и амур плакал... Проклятая дача! К ней вела небольшая улица — заросшая липами, тенистая. Ветки нагибались низко над заборами и густо цвели. Тогда я поняла, как подло могут пахнуть липы.

...А уколы не помогали. Он каждый раз говорил: «Не сегодня-завтра, подождите». А я уже не верила. Мне казалось, он, как опытный рыболов, поддел меня на крючок и водит, берет по двадцать пять рублей, чтобы потом вернее взять свою тысячу. Тысячи у меня не было, я заняла у Жанны. А он был ласков, Владимир Казимирович, каждый раз, прощаясь, задерживал мою руку. А мне казалось, что я взяла жабу. И вот...

— Ну-с, молодая дама, наш курс окончен, но не дал, к сожалению, положительных результатов. Я, со своей стороны, честно предупреждал, что не гарантирую успеха на все сто процентов. И если вы по-прежнему не горите желанием... э... сохранить плод, нам придется встретиться еще раз, чтобы применить метод менее приятный, но зато более надежный.

Так он сложно говорил, Владимир Казимирович.

А я уже себе не принадлежала. Я согласилась. Он потребовал деньги вперед: «А то некоторые дамочки сбегали у меня, можно сказать, со стола...»

Уговорились: тут же, на даче, в пятницу вечером, после десяти, когда стемнеет. Никто не должен ни провожать, ни встречать. Полнейшая

конспирация («Вы знаете, чем я рискую»). С собой иметь смену постельного белья. Документов не брать. После операции разрешено оставаться на даче не больше десяти минут.

...И вот — пятница, вечер, уже темнеет, уже стемнело, и снова я в электричке — еду. Предстоящее меня почти не занимало. Всю дорогу меня мучили два Володи. Хуже того: казалось, что я и сама раздвоилась, не вижу, где я и где не я, и вообще все окончательно спуталось. Меня окружала подлость, и я чувствовала себя подвластной подлости...

Я подошла к той даче. Было уже темно. Я узнала ее по амуру. Просунула руку в щель калитки, откинула крючок... Кто-то вырос рядом, словно из-под земли. Лучик карманного фонаря...

— Гражданочка, ваши документы!

* * *

Кто-то пришел. Нет, это не Лялькин звонок. Лялька звонит всегда громко, настойчиво, весело. А этот звонок был совсем короткий и слабый: пим. Валентина Степановна все сидела в кресле, положив голову на жесткий подлокотник. Ничего, Поля откроет.

В комнату вошла Лялька:

— Мышонок, ты здесь? Что ты тут делаешь? Почему в темноте?

— Ничего, просто сижу. Немножко нездоровится.

— Что такое? Давай сюда лоб. Холодный! Мышонок, ты симулянт. Я зажгу свет, ладно? Так лучше. Есть хочу — умираю. Где салат?

— Я салата не делала, — сказала Валентина Степановна. — А ну-ка присядь.

Лялька опустилась на диван. Тощая, длинная, ногастая, как кузнечик, да еще в платье серо-зеленом, коротком, выше колена. Ну, кузнечик — и все. Когда она села, колени поднялись выше подбородка. Бледная, синяки под глазами до половины щек.

— Лялька, послушай...

Лялька вынула заколку из волос, покусала:

— Ты что, беседу хочешь со мной проводить?

— Нет. Я просто хочу кое-что тебе рассказать.

— Ну-ну.

* * *

— Ну, и что было дальше?

— Дальше я побежала. Никогда в жизни так не бегала. Они свистят, а я бегу. Ноги молодые, сильные. Ноги у меня и сейчас еще ничего — носят.

— Ну и как, убежала?

— Вообрази, да. Слышу, свистки стали слабее, а там и вовсе пропали. А я все бегу. Узелок с бельем я еще в самом начале отбросила, так что бежала без вещей, без денег, без ничего. И знаешь, как хорошо было бежать! Я чувствовала, что ушла от всех: от врача этого, от милиционеров, от суда...

— Тогда за это судили?

— Ну, да. Строгое было время.

— Призадумаешься. Ну, а что дальше?

— Дальше ничего. Прибежала на станцию — у платформы стоит электричка. Темно, а в элект-

ричке окна светлые, широкие... Прекрасная такая электричка и словно меня специально ждет. Ворвалась я в вагон. Все на меня смотрят: красная, встрепанная, счастливая... Сразу, как вошла, электричка двинулась. Прошел контролер — я без билета. Он с меня штрафа не стал брать, почему — не знаю. Приехали в город. Я — прямо к автомату, звоню ему, Владимиру Казимировичу, боюсь, что его забрали — из-за меня. Но он — ничего, даже не очень испугался. Говорит: не беспокойтесь, я привык выполнять свои обязательства. Пригласил приехать во вторник. Пятница, говорит, тяжелый день. Тут я его обхамила.

— Ой ли! Не верится. Что же ты ему сказала?

— Я к вам больше не приеду. Вы подонок.

— Так и сказала? Ай да герой! И не скончалась тут же от угрызений совести?

— Нет. И еще я сказала: назло вам рожу десятерых.

— Явное преувеличение. Ну, а дальше что было?

— Дальше? Родилась ты.

— Веселенькая история...

...В коридоре что-то упало, и плачущий Полин голос сказал:

— Во паразитство! И ночью спокою нет. Тыр да тыр. Днем дрыхнут, а по ночам вырят. Все не как у людей. Нет, сменяю я себе квартиру, сменяю.

ПЕРВЫЙ НАЛЕТ

Москва клеила стекла. Проходил первый месяц, наступал второй месяц войны.

Повсюду на подоконниках, в проемах раскрытых окон, стояли женские фигуры — перекликались, пересмеивались, обменивались новостями. Они поднимали бумажные ленты, держа их осторожно за самые кончики, и крест-накрест наклеивали их на стекла. Всюду сверкали и усмехались белые кресты. Особенно они выделялись новизной на старых, покосившихся деревянных домиках — таких еще немало было на окраинах. Иногда попадалась даже дачная уборная с окошечком всего в ладонь, но тоже с белым крестом.

Стояли прекрасные, яркие, вызывающе-яркие летние дни. Ласточки носились в голубом воздухе с сумасшедшим визгом. Война еще не показала себя Москве. Каждый вечер, ровно в семь часов тридцать минут, начинали выть сирены и радио объявляло воздушную тревогу. Населению предлагалось организованно спуститься в убежища. И тут начинался странный, ненастоящий, безмолвный налет. Где-то, почти неслышно,

на самых дальних подступах ворчали зенитки, но к городу самолеты не прорывались. Казалось, невидимый, таинственный враг подкрадывается, подходит к дому на мягких лапах, стучится, но зенитки говорят: нельзя, и он уходит.

Вместе со всеми клеила стекла Лиза Голубева, тридцати лет, мать троих детей, домохозяйка. Когда-то она была учительницей начальной школы, и неплохой — дети ее любили. Потом вышла замуж. Муж, Сергей, хорошо зарабатывал, им хватало. Прямой необходимости работать не было, а детей оставлять не с кем. Пришлось бросить работу. Лиза долго огорчалась, даже плакала по временам на кухне, особенно когда радио играло. Ей все казалось, что она — не совсем человек, а так, что-то вроде. Вот была молодая, дети звали Елизаветой Аркадьевной, а теперь уже скоро старость, тридцать лет стукнуло, не шутка, а она все Лиза да Лиза. Так и умрешь Лизой. Скажет кто-нибудь: «Лиза умерла». — «Это какая Лиза? А, та...» Только и всего.

Нет, не так как-то обернулась у нее жизнь. Пожалуй, после рождения третьего она как будто примирилась, привыкла, перестала тосковать. Да и некогда было тосковать — с тремя-то! А в этом году и совсем некогда стало. Сереже дали от завода квартиру, две комнаты, площадь большая, убери-ка, а она не привыкла кой-как. Комнаты большие, светлые, с огромными окнами, в новом доме, газ, мусоропровод, и завод совсем близко, прямо из окон видно. Квартира, правда, не совсем отдельная: в третьей комнате жил старичок сосед, но тихий, вежливый — его и незаметно.

Лиза гордилась своей квартирой — всегда чисто, пол как стеклышко, а большие окна прямо-таки сияют. И вот — война.

Сергей почти сразу ушел на фронт, даже проститься толком не успели, какая-то путаница вышла с поездами. Лиза осталась одна с детьми, а что будет делать дальше — еще не решила. Решили за нее другие. Предложили эвакуироваться на Урал с заводскими семьями. Ну что ж, ехать так ехать.

Эшелон — завтра, а сегодня надо успеть уложить вещи да еще стекла заклеить — теперь с этим строго. Вот — радовалась на большие окна, а сколько с ними возни — клеишь и клеишь, а конца не видно.

Чтобы заклеить верхние стекла балкона, пришлось стремянку вынести наружу. Отсюда, с балкона шестого этажа, далеко и хорошо видно. Вот напротив завод. Там работал Сережа, оттуда ушел на фронт. Думал, еще простимся, — не вышло. Может быть, и навсегда простились, но нельзя об этом думать, нельзя.

За последние дни вид с балкона изменился. Между домами и заводом построили целую фальшивую деревню: маленькие домики вроде курятников, свежие, светло-фанерные, с красными веселыми крышами. Управдом Иван Егорович лично руководил строительством, важно говорил: «Объект». Говорят, деревня нужна для маскировки. Неужели поможет? Сомнительно. Вот и поперек зеленой крыши проложили широкую песочно-желтую полосу. Будто бы поле и дорога. Кого может обмануть такая маскировка? Отсюда с балкона все это отлично видно, смешно и ярко, словно сверкает. А сам-то дом на что похож — но-

вый красивый дом с огромными окнами? Его раскрасили, размалевали, как клоуна. На стенах изобразили целый поселок: домики, сараи, между ними — деревья. Одно дерево — громадное, поваленное — тянется сразу через десять окон. Жильцам велено даже кресты на окнах делать в цвет раскраске — чтобы не демаскировать. От разноцветных крестов, фальшивой деревни, шутовски размалеванного дома — хочешь не хочешь — возникает впечатление какой-то балаганной, несерьезной праздничности. Маскарад. А тут еще взбесившиеся ласточки так и ликут, с визгом пронзая воздух.

Лиза клеила стекла и думала: «Последний день в Москве. Последний день дома. Где-то будет мой дом? И будет ли он у меня, дом? Завтра эшелон. Эвакуация женщин с детьми. Кто я такая? Женщина с детьми. Больше никто».

Сколько лет уже не работала! Там, на Урале, придется. Ох, далеко Урал! Далекое и страшно. Никогда не была восточнее Волги.

Волга... Вода теплая, ласковая, бакены стоят, покачиваются... Будет ли у нее еще такая Волга? Нет, не будет, да сейчас это и неважно, были бы все живы, только были бы все живы.

Да, работать придется там, на Урале. Трудно будет, отвыкла. А дети? Как с детьми будет? Подумать страшно. А тут еще эти тревоги, так и покатится сердце, словно с горы. Одна, совсем одна. Детям хорошо — они не понимают.

А детям и правда было хорошо. Старшая, Оля, была рада, что из-за воздушных тревог ее не заставляют рано ложиться спать и можно читать

сколько угодно — хоть до утра. Раньше ей редко-редко это позволяли. У них с мамой это называлось «свобода воли». Теперь — полная свобода воли. Это хорошо. Слово «война» для нее еще ничего не значило. Она знала песенку «Если завтра война» и была совершенно спокойна.

Второй — Коля, по прозвищу Колюнёй, тоже был доволен. Еще бы! Мама укладывает вещи, дома все перерыто, и откуда-то возникают необыкновенные игрушки. Это как день рождения. Месяца три назад — ужасно давно в кучей памяти Колюнея! — у него был день рождения, ему исполнилось два года, и все принесли ему подарки. Было ужасно хорошо, только немножко плохо, потому что от радости он не удержался. Никто его не бранил, только одна чужая тетя сказала: «Ай-яй-яй, а еще большой». Но Колюнею все-таки стыдно было вспомнить, и при мысли об этом он топал ножками.

Теперь тоже было много игрушек, но он был большой и удерживался. Это были даже не игрушки, а настоящие взрослые вещи, но ими можно было играть. Он вытаскивал из кучи какую-нибудь вещь и спрашивал: «Мама, это тоже мне?» И она говорила: «Тебе, деточка». Он так упоенно играл, что даже ел невнимательно, а поесть любил.

Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, Колюнёй думал, что это тоже игра. Он радостно кричал: «Тьево-га, тьевога!» — и беспрекословно позволял увести себя вниз, в бомбоубежище. «В убёзися», — говорил он.

Хорошо было и Грудному. У него было настоящее имя: Алеша, но все звали его просто Грудной. Это с тех пор, как мама привезла его из больни-

цы, а Оля разочарованно сказала: «Оказывается, он грудной». — «А чего ты ждала?» — спросил Сережа.

Грудной был великолепен. Он только что научился есть с ложечки манную кашу и при этом пускать пузыри. У него были большущие глаза, серые, с ярко-голубыми белками, и на лысой голове, на самом темечке, — один золотой локон. Пальчики у него были пестрые, белые с розовым, такие крошечные, такие отделанные, и на конце каждого пальчика — малюсенький перламутровый ноготь, размером не больше рыбьей чешуйки. Было жарко, и Грудного не заворачивали в пеленки. Голый снизу, он лежал и сосал свою ногу.

А Лизе было страшно. В ней била одна сплошная тревога, без отбоя. Внутри все время сосало, поташнивало. А когда поднимали голоса сирены и разноголосый вой вкрадчиво и гнусно взмывал вверх — с ней бог знает что творилось. Казалось, что это не сирены, а в ней самой смертная тошнота страха подкатывает все выше. До сих пор настоящего налета еще не было, и все кругом казалось ненастоящим, а вот тревога глодала сердце настоящими зубами. И от Сережи не было писем. Правда, всего две недели, как он ушел, но все же могло бы уж быть письмо...

Немножко подбадривало Лизу присутствие в квартире соседа. Все-таки мужчина. Старый профессор-математик, на пенсии, Василий Васильевич Кашперов. Этот всегда был спокоен. Встречая Лизу в коридоре, он всякий раз вежливо снимал шляпу и кланялся.

Он постоянно пел, не открывая рта, какие-то мелодии из симфонической музыки, чаще всего

Бетховена (любимый его композитор), и время от времени смешно сам себе аккомпанировал, как барабан: пум, пурум, пурум. А сегодня, входя в квартиру, Василий Васильевич, чем-то довольный, пел не через нос, как обычно, а во весь рот, даже со словами:

Радость, первенец творенья,
Дщерь великая отца...

Увидев на пороге кухни Лизу, растрепанную, замученную, с большими недоумевающими глазами, он взял ее руку и галантно поцеловал. Что это ему взбрело в голову? И тут же он попросил у нее муки для клейстера. Она заварила клей в глубокой тарелке, и он пошел в свою комнату, держа тарелку далеко от себя, мурлыча и дирижируя свободной рукой. Он шел заклеивать стекла. До сих пор он упорствовал. Даже управдома чуть не спустил с лестницы: никто его, мол, не заставит проделывать idiotские манипуляции! Штрафуйте. А сегодня почему-то изменил мнение. Из его комнаты было слышно, как он двигал стулья, лез на подоконник и издавал такой «пурум», что небу было жарко.

Вечером, в семь тридцать, как обычно, объявили тревогу. Взвыли сирены. Удивительно подлый звук. «Тьевога, тьевога!» — завопил Колюней. Лиза велела Оле спуститься с ним в подвал, а сама задержалась — собрать Грудному пеленки. Нарочно немного замешкалась. Уж очень хорош был тихий, ясный предвечерний свет, и замолчавший после сирен город — как младенец после крика, — и глубокое голубое небо в больших, чи-

сто вымытых, косо пересеченных стеклах. И тут ударил звук, какого еще не было. Грохот с оттенком скрежета. Бомба. Лиза никогда не слышала разрыва бомбы, но никаких сомнений быть не могло: упала бомба. Лиза завернула Грудного и быстро, задохнувшись, как при подъеме, спустилась вниз.

Роскошное бомбоубежище: капитальные, толстые стены, сухо, уютно, не скажешь, что подвал. Убежище — гордость управдома. «Культурненько», — говорил он. А еще жильцы сюда натащали массу всяких вещей: диваны, столы, стулья, шкафы. Даже ковры. Люди уезжали, уходили, снимались с мест; беречь вещи было ни к чему. Как-то потеряли они свое значение. Подумаешь, кресло! Многие приносили книги — один шкаф стал книжным, к великой радости Оли. Даже картина висела на стене: отличная репродукция «Сикстинской мадонны». Ее принес и повесил Василий Васильевич.

Первую тревогу Грудной спал на диване, а потом Лиза снесла вниз пружинную сетку от его кровати. Всю кровать нести было тяжело, да и не нужно: сетку положили на стол, и Грудной очень полюбил качаться на ней, упираясь затылком и пятками.

Еще вчера в бомбоубежище было нарядно и почти весело. А сегодня жутковато. Все слышали и отметили особенный грохот. Бледные женщины сидели, прижимая к себе детей. Вот оно, началось. Тот, кто до сих пор только стучался и уходил, вошел наконец в дом. И как бы подтверждая его присутствие, повторился — только еще страшнее — скрежещущий грохот, и словно впопыхах, боясь опоздать, загалдели зенитки.

Сколько времени это продолжалось? Ох, долго. Много часов. Уже давно прошло два часа, и три, и четыре, а отбоя все не давали. Снаружи свирепствовали разрушительные силы. Падали, падали бомбы. А в убежище было зловеще светло. От каждого удара лампочка на потолке начала раскачиваться, и тени на стенах пошатывались взад и вперед. Сикстинская мадонна тоже казалась испуганной и прижимала к себе своего мальчика, совсем как бледные матери вокруг нее прижимали к себе своих. Время от времени поблизости падала бомба, и дом сразу же откликался: сверху донизу тоненькими перезвонами начинали дилинькать и сыпаться стекла — с шестого этажа до самого низа. Это повторялось каждый раз, как будто в доме было бесконечно много окон. Каждый раз был как будто последним и все-таки повторялся. Это было особенно страшно.

А Лизины дети были совсем спокойны. Оля стояла, прямая, как свечка, под качающейся лампочкой и читала.

На ней почему-то была соломенная шляпа с резинкой, а из-под шляпы до середины спины лились сияющие, почти белые кудри. В честь «свободы воли» она перестала заплетать косы. С белыми кудрями, в соломенной шляпе, она была похожа на фарфоровую пастушку, только в очках. Колюней чуть-чуть похныкал и уснул в углу дивана, на брюхе огромного плюшевого мишки. Мишка тоже был ничей, бомбоубежищный, неизвестно кем и когда внесенный в общий котел. Колюней спал на Мишке, и, видно, ему снились хорошие сны.

А вот Грудной — тот почему-то не спал. Он лежал на столе, в самой середине своей пры-

жинной сетки, пялил немыслимо чистые блестящие глаза на качающуюся лампочку, не спал и не плакал. После каждого сильного удара он как-то невозмутимо вздрагивал. Не заплакал он, даже когда внезапно погас свет. Настала полная, черная темнота, какая бывает только под землей, и в темноте еще жалобней зазвенели льющиеся сверху стекла. Кто-то ахнул, заплакал, но через несколько минут свет мигнул и снова загорелся. Грудной лежал как ни в чем не бывало, смотрел на лампочку...

Лиза сидела, уцепившись одной рукой за ножку спящего Колюнея, полумертвая, оцепенев от тоски. Это был даже не страх, нет. Она просто погибала. Ей все казалось, что она не так рассадила, расставила, разложила детей. Наверно, лучше было бы собрать всех вместе, а самой закрыть их сверху: убьет, так сразу всех. Ей казалось, что нет уже дома над головой, нет ничего, все разрушено, и только чудом держатся в рамках (и то сыплются с каждым ударом) заклеенные бумажными крестами стекла.

* * *

Василий Васильевич недаром пел так бравурно, заклеивая стекла. Сегодня его вызвали. Он сначала не понял — для чего? Его принял немолодой, невыспавшийся майор.

— Кашперов Василий Васильевич? Очень приятно познакомиться. Страна должна знать своих ученых. Дело вот в чем. Мы хотим попро-

силье вас возглавить населенческие группы противоздушнгой обороны в районном масштабе.

— Я не совсем понимаю: почему именно меня?

— А как же? Вы же крупный специалист по зенитной стрельбе. Мы ваш метод даже в училище сдавали. Метод Кашперова.

И Василий Васильевич вспомнил. Когда-то, еще в ту войну, он — тогда поручик из вольноопределяющихся — написал коротенькую заметку, мемуар: «К вопросу о вероятности попадания в быстро движущуюся цель». Как он был молод тогда, как влюблен. Вот и сейчас перед ним до иллюзии ярко возникли сияющие Марусины глаза под белой косынкой с красным крестом. Сестра милосердия... Потом Маруся на фронте умерла от тифа. А он так и не женился, ни на ком, никогда.

А мемуар «о вероятности» он и в самом деле тогда написал. Написал — и забыл. И вот, подите же, пригодился людям мемуарчик! Читают, учат, сдают. Метод Кашперова.

Он протер толстые стекла очков и сказал:

— А я и не знал, что моя статейка кому-то пригодилась. Польщен.

— Что вы, товарищ профессор, кто же из зенитчиков вашего метода не знает? Мне даже на экзамене он попался. Пять получил...

И хмурое, невыспавшееся лицо майора осветилось воспоминанием о пятерке... Как давно это было! Как это далеко от того, что приходится делать ночью...

— Поэтому мы и решили попросить вас — возглавить.

— Это все немного неожиданно, а впрочем, почему бы и нет? Что ж... Мы возглавим.

Так и сказал: мы возглавим. Взятся за не совсем понятное, может быть, непосильное, но наверняка важное, серьезное дело.

На прощание майор сказал ему, пожимая руку:

— Завтра мы дадим вам подробные инструкции. А пока сколачивайте коллектив. Советую вам больше на школьников опираться.

Он шел домой. Перед домом рабочие, невесело посмеиваясь, достраивали деревню. Василий Васильевич вежливо снял шляпу:

— Позвольте узнать, что это за потемкинские деревни?

— Его не Потемкин фамилия, а Тимохшт, — хмуро ответил немолодой рабочий. — А что? Ему тоже приказали. Он себе не хозяин. Ишь чудят. По всей Москве нынче такую карусель строят. Думают, поможет от бомбы. Черта с два.

— Нет, дядя Саша, поможет, — откликнулся другой, молодой и вихрастый, лет семнадцати. — Я думаю, будет так. Летят они, летят. Все у них заранее пристреляно, подсчитано, в таблицу записано — только бросить бомбу, всего и делов. Подлетают они сюда... и вдруг один толк другого в бок! Посмотри, говорит, Фриц (или там Ганц), что у них, у сволочей, рядом с номерным заводом понастроено? А Ганц зазевается и не сбросит бомбу. Вот мы и целы.

Рабочие посмеялись и снова начали тюкать молоточками.

...Василий Васильевич в отменном настроении духа поднимался по лестнице и пел. Он шел

браво, как будто не было у него за спиной двух инфарктов, тысяч страниц научных трудов. Это шел и пел молодой автор знаменитого мемуара «О вероятности попадания в быстро движущуюся цель».

Придя домой, он прежде всего в порядке самодисциплины заклеил все стекла. Приказано — значит, надо. Налепил даже не по две полоски на каждое, а по четыре: как на британском флаге. А потом поехал на дачу к сестре — взять кое-какие книжки по артиллерии. Подзабыл, надо освежить. Сестра была замужем за командиром, артиллеристом-зенитчиком. Тот — на фронте, а книги наверняка оставил, не таскать же с собой. Сестра была спокойна, мужественна — друг друга они поддерживали.

Он возвращался домой поздно, во время налета, держа под мышкой скользкие, расползающиеся книги. Электричка ходила, а троллейбусы и трамваи — нет. Он шел от вокзала с книгами под мышкой и пел через нос. Грохали зенитки, грохали бомбы, но где-то не рядом, далеко, пожалуй, в районе его дома. Вот и зарево светится — зажгли... Один раз прямо над его головой, рыча, промчался какой-то большой темный предмет. Он задрал голову и посмотрел ему вслед. Ага. Быстро движущаяся цель. Ничего. Мы возглавим.

Когда он открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру, была передышка, почти тишина. Он прошел в свою комнату по хрустящему полу, сообразил: стекла выбиты, нащупал дверь и вышел на балкон. С высоты шестого этажа открылось перед ним грозное великолепное зрелище.

Сколько охватывал глаз — повсюду над горизонтом дышало зарево. Горели пожары. Горела Москва.

Не грохало. Зенитки притихли, словно переводя дыхание. Только откуда-то один пустомеля пулемет все время сверкал в небо трассирующими очередями, и светящаяся трасса пересекала небо, как золотой шов. Василий Васильевич стоял и шептал старческими губами: «Москва горит. Москва».

Сгорбившись, вернулся он в комнату, тщательно закрыв за собой дверь с выбитыми стеклами. Должно быть, окно тоже выбито. Вот и затемнение наполовину сорвано. Он сорвал его совсем. Действительно, стекол не было, и только по краям оконного проема висели на полосках бумаги остроконечные, крупные и мелкие, осколки. В этой причудливой раме горящий город казался еще прекраснее. Вот напротив небывалым оранжевым цветком расцвел вставший на дыбы, пылающий лист фанеры. И вдруг Василий Васильевич сообразил: ба, да это же не Москва горит, как же он сразу не понял! Это же горят потемкинские деревни, рогожные дороги. Весь этот маскарадный хлам. «Вся эта ветошь маскарада», как сказал бы Пушкин. Завтра ничего этого не будет. Завтра начнется серьезная жизнь.

А пока надо спуститься вниз, в подвал, посмотреть, как там чувствуют себя «населенческие группы». Бедные женщины. Одни с ребятами. Может быть, надо помочь. Возглавить.

В подвале при мертвенно-ярком свете неподвижной лампочки, сгрудившись, сидели мертвенно-бледные люди — женщины, дети, старуш-

ки. Ни одного старика. Он — единственный мужчина. Взрывы затихли, люди ждали отбоя. Когда он вошел, все на него посмотрели, как будто от него все зависело — и налет, и отбой. И сразу же грохнул новый, особенно громкий на фоне тишины удар. Жалобно дзинькнуло какое-то одинокое стекло, и вдруг в голос зарыдала и запричитала одна из женщин, и мальчик у нее на руках проснулся и тоже заплакал.

«Ничего, ничего, — громко сказал Василий Васильевич, — сейчас будет все в порядке». Он взял какой-то ящик, повертел в руках, поставил на пол вверх дном. Все внимательно на него смотрели, с доверием. Женщина и мальчик перестали плакать и тоже смотрели...

Он работал, как актер на сцене. Прежде всего снял очки, протер их и бережно положил на ящик вверх стеклами. Затем полез в карман, вынул записную книжку, вырвал из нее листок, закрыл книжку, снова сунул в карман. Все смотрели как замороженные, ничего не понимая. Дальше он вытащил перочинный нож и нарезал листок бумаги на тонкие полоски — все это не торопясь, серьезно, молча. Потом снял очки, послиюнил бумажные ленточки и аккуратно заклеил стекла очков крест-накрест. Надел очки и спокойно сел на ящик.

И тут в подвале грохнул хохот. Смеялись все. Некоторые — сразу поняв шутку, другие — потому, что смеялись рядом. Но смеялись все решительно — и синевато-бледные матери, и заспанные ребята, и робкие старушки. Лиза тряслась от смеха и вытирала глаза. И Оля тоже смеялась, опустив свою книжку и смешно подпрыгивая. И Колюней тоже проснулся и засмеялся.

Но вдруг раздался совсем особый смех — тоненький, захлебывающийся, словно лопались пузырьки, наполненные визгом. Это смеялся Грудной. Он лежал на своей сетке и ликовал. Сегодня он научился смеяться. Он смеялся в первый раз в своей жизни.

* * *

А на другой день вечером, когда женщины с детьми уже погрузились в эшелон, кое-как разместились по нарам, разобрались с мешками, бутылками, одеялами, снова был налет. Но Лиза уже не боялась. Пусть впереди еще много неясного, пусть много тяжелого, но главное, главное — она не боялась! Неопытная душа, поборовшая свой страх, метнулась теперь в другую сторону, и все казалось ей прекрасным. Одна зенитка кричала: «Я здесь!» А другая в ответ ей: «И я здесь, и я!» — «И мы здесь, и мы!!» — целым хором подхватывали остальные.

Под азартную переключку зениток эшелон тронулся в путь и быстро набрал скорость. Теплушка просто подскакивала на стыках рельсов. А по крыше барабанил дружелюбный град осколков. Осколки были свои, наши. Как хорошо было мчаться под их музыку, ничего не боясь на свете! Как ликующе подпрыгивала теплушка — вперед вперед! — и приплясывала от нетерпения.

Лиза лежала на нарах, в темноте. Рядом с ней на подушке спал Грудной и дышал ей в лицо теплым сопом. Ничего не было страшно. Как все, так и я. Она знала, что мчится вместе с другими, под дружные оклики зениток куда-то вперед, где будет трудно, но интересно. Она пойдет работать — в школу или на завод, лучше даже — на завод.

А потом кончится война, они вернутся в Москву, и Сережа — непременно, непременно! — тоже вернется. Она лежала и видела в темноте будущее — конец войны! А потом заснула, представляя себе уже даже и не конец войны, а совсем невообразимый, далекий-далекий впереди день, когда Грудной пойдет в школу.

1960

В ВАГОНЕ

Ну, конечно! Опять верхняя полка. Поручают какому-то болвану закупать билеты для гостей конференции. Берет, что дадут в кассе, не сообразуясь ни с полом, ни с возрастом, ни, наконец, с научным авторитетом. Не то чтобы мой личный авторитет был особенно велик, но все-таки могли бы учесть...

Эти неумные, самолюбивые, честолюбивые мысли одолевали меня, когда я со скрипом забиралась на верхнюю полку купированного вагона скорого поезда Ленинград — Москва. Я еще не в том возрасте, когда вскарабкаться на полку — непосильная задача, но уже и не в том, когда вспархиваешь, как птичка.

Никто меня не провожал, хотя и предлагали некоторые сочувствующие, но я отвергла. Ничего, доберусь, чемодан легкий, полупустой. Не люблю обременяться вещами — одно платье, один халат...

Приехала я на вокзал рано, за полчаса до срока, но поезд уже подали. Более того, на соседней верхней полке уже улегся и спал, храпя и свесив волосатую руку с часами, какой-то мужик. От не-

го отчетливо несло перегаром. Неприятное соседство. Кто-то будет внизу? Только бы не предлагал обменяться местами (форма вагонного человеколюбия). Я, разумеется, откажусь, кто бы ни предлагал.

С такими мыслями я, стоя на коленях, разобрала постель (белье влажноватое, но чистое), запихнула свой чемоданишко в нишу над дверью, предварительно вынув из него халат, в который и облачилась. «Сам черт теперь меня не сгонит с верхней полки», — словно в отместку кому-то подумала я.

Легла под одеяло, откинув у лица простыню. Тощая подушка была низка. Ничего, засну. Прошлые две ночи в гостинице почти не спала, волновалась перед докладом, и, оказывается, не зря.

Я закрыла глаза, и мне отчетливо представилось лицо моего главного противника — профессора Фонарина. Разинутый в хохоте старческий рот с косыми желтыми зубами. Он смеялся. Они все смеялись. Хохот прямо-таки гулял по залу. Смеялись даже самые желторотые — студенты, аспиранты...

А докладывала я поначалу вроде бы ничего: кратко, отчетливо. Рассказала о своей работе последних лет, о применении электроэнцефалограмм (записей биотоков мозга) для выявления скрытых эмоций. Наша цель была — найти объективные признаки персональной непереносимости, антипатии людей друг к другу. Ясно, какие тут могут быть важные практические приложения. Подбор ответственных человеческих коллективов. Скажем, зимовщиков арктической станции. Составы экспедиции. Экипажа космического корабля...

Слушали меня очень внимательно, скорее сочувственно (скептическая мина профессора Фонарина не в счет, ведь он искони был врагом объективных методов исследования психики, даже методов Ивана Петровича Павлова не признавал).

Я демонстрировала увеличенные копии энцефалограмм, прослеживала на них указкой сравнительно спокойные участки и внезапные всплески — признаки сильных эмоций. Я рассказала о том, как мы вызывали эти эмоции — чувства тревоги, страха, отвращения (например, показывали женщине мышь или крысу: энцефалограмма сразу же отзывалась на это характерным скачком и серией замирающих волн). Чтобы вызвать сходные эмоции — тревоги, страха, ненависти — у более стойких субъектов-мужчин, мы применяли и более сильные средства, вплоть до ложных сообщений по радио или фальшивых телеграмм, посланных подопытному адресату... Тут впервые аудитория неодобрительно зашевелилась. Встал смуглый тонконосый старец прямо рублевского облика, поднял руку и спросил: «А не кажется ли вам, что в этих опытах над живыми людьми вы перешли границу дозволенного?» На что я храбро отвечала: «Нет, не кажется. опыты над людьми всегда рискованны, но, к сожалению, неизбежны. Разве клиническое испытание нового лекарства — не опыт над людьми?»

Зал зашумел вразнобой. Какой-то упитанно-розовощекий средних лет возразил мне, что, мол, мои утверждения несостоятельны, что современная медицина ни одного лекарства не доводит до клиники, не проведя предварительно

всесторонних испытаний на животных... Раздались чьи-то протестующие голоса; кто-то восклицал: «А побочные эффекты пенициллина? Кто бы о них знал, если бы не широкий опыт на людях?»; кто-то возражал, и вообще воцарилась суматоха. В этой суматохе я, стоящая у доски с указкой в руке, чувствовала себя отнюдь не победителем. Хуже всего, что я сама сомневалась в своей правоте: рублевский старик нащупал-таки мое слабое место...

— Лучшие, благороднейшие представители медицины, — сказал, приподнявшись, Фонарин, — честные врачи, прежде чем проводить опыты с живыми людьми, экспериментировали на себе.

— И мы так пытались делать. Но самое важное при этом скрадывалось — эффект неожиданности. Если человек знает, что ему предстоит резкий эмоциональный толчок, он иначе реагирует на него, чем если бы не знал. Он заранее мобилизует себя... Опыты на самих себе, когда речь идет о психике, вообще малопоказательны...

Зал опять неодобрительно зашумел, и этот шум не смолкал до конца моего доклада, который оказался скомканным: самых эффектных опытов я не описала, самых убедительных записей не продемонстрировала. Не смолкал не только внешний, но и мой внутренний ропот: бормотание скрытой неправоты. Мешал мне и Фонарин, который все время гнусно хихикал и потирал руки.

Кое-как доклад кончился; несколько робких хлопков, но в целом — неодобрительное молчание.

— У кого есть вопросы к докладчику? — спросил председатель.

Встал Фонарин с ехидной усмешкой, открывавшей желтые зубы, и спросил:

— Если я вас правильно понял, уважаемая Агафья Тихоновна, вы беретесь по виду ЭЭГ определять душевное состояние субъекта?

— Меня зовут Агнесса Тихоновна, но это неважно. Называя меня именем гоголевской героини, вы, всего вероятнее, не хотели меня оскорбить. На ваш вопрос отвечаю: да, в какой-то мере берусь. Во всяком случае, сильные эмоциональные реакции берусь распознать.

— В таком случае, — осклабился он, — вы не откажете нам в любезности описать душевное состояние субъекта, у которого мы сняли энцефалограмму?

— Душевное состояние — нет, а взрывы сильных эмоций, если они были, — да.

Аудитория загудела. «Жребий брошен», — сказала я мысленно. В мыслях я все еще не могу отвыкнуть выражаться высокопарно; вслух я этого уже не делаю.

— Я очень рад, что вы согласились нам помочь, — чему-то посмеиваясь, сказал Фонарин. Я на него реагировала, как типичная женщина — на крысу (вероятно, это было бы видно на моей энцефалограмме). — Володя, — обратился он к своему ассистенту, — будьте добры, продемонстрируйте образец ЭЭГ.

Услужливый, красивый, черноглазый молодой человек, пожирая своего шефа глазами, развернул рулон бумаги, поднялся на помост и приколот к доске энцефалограмму. Скопированная в крупном масштабе, она была хорошо видна всему залу.

— Условия опыта те же, что у нас? — спросила я.

— Да, в точности по вашей статье.

Я взяла указку. Сердце мое неприятно билось. Энцефалограмма была в чем-то не совсем обычна: нечто подобное нам приходилось наблюдать у больных эпилепсией... И еще что-то меня смущало. Но что делать? Попробую вдуматься, понять...

Я подошла к доске, провела указкой по начальному участку кривой... Ее легкие колебания я прошла тоже колеблясь.

— На этом участке я не вижу пока ничего особенного. Картина скорей нетипичная, но такие признаки нередко бывают у нервных, возбудимых субъектов (слово «эпилепсия», просившееся наружу, я, к счастью, проглотила. Не надо спешить с диагнозами). А вот здесь... — Я остановилась у резкого всплеска, пикообразного скачка. — Мне кажется, этот выброс связан с каким-то ярким, неприятным... да, безусловно неприятным внешним воздействием. Пациент, возможно, увидел нечто поразившее его, может быть, возмутившее... не берусь сказать, что именно. Может быть, услышал резкое, обращенное к себе слово...

— Такие опыты вы тоже проводили? — спросил с места упитанно-розовощекий. — С мужчинами или с женщинами?

Небольшой смех.

— Безусловно. С теми и с другими. Человек, как правило, остро реагирует на хамство, даже если оно облечено в корректную форму. Вернемся к нашей кривой. После пика — опять участок относительного равновесия. Кривая полого идет вниз, снова выравнивается, вступает в фазу спокойных колебаний... А вот опять резкий всплеск.

Смотрите — подъем далеко за пределы среднего уровня...

— Может быть, — сощурился, сказал Фонарин, — именно в этот момент субъект испытал особенное волнение? Может быть, ему была сообщена поразившая его новость? И не отрицательного, а положительного свойства? Например: «Вас выдвинули в члены Академии наук»?

— Не исключено. Но крутой подъем и сравнительно плавный спуск говорят скорее об отрицательной, чем о положительной окраске эмоционального толчка.

— Но какой-то толчок был? — настаивал Фонарин. Что-то змеино-неприятное шевелилось в его взгляде.

— Думаю, что был.

— Отлично, — оживился старик. — Володя, если нетрудно, введите пациента.

Шум в рядах, потом ждущее молчание. Появился черноглазый Володя, держа в руке ведро, из которого торчала палка. На ведре крупными буквами было написано: «Для пола».

— Если это какой-нибудь фокус... — сказала я пересохшими губами.

— Это не фокус, — торжественно объявил Фонарин. — Вот он, ваш нервный, возбудимый субъект!

Он поднял кверху палку, на конце которой мокро болталась и обвисала грязная половая тряпка.

— Прошу всех хорошенько разглядеть субъекта, — обратился он к аудитории. — Представленная вам энцефалограмма была снята вот с этой тряпки; факт, зафиксированный в протоколе опыта... Вы это свидетельствуете, Володя?

Черноглазый Володя серьезно кивнул головой. Фонарин продолжал:

— Итак, все наблюдения, все тонкие соображения уважаемой Агафьи... виноват, Агнессы Тихоновны относятся к душевному состоянию этой вот грязной половой тряпки, которую любезно предоставила нам уборщица нашего этажа!

По рядам прошел шум, сперва слабый, как звук начинающегося дождя; потом обрушился ливень. Были в нем отдельные струи — восклицания, словно бы в мою пользу: «Недобросовестно!», «Какой-то цирк!», но громче всего слышался смех. Смеялись почти все: и благополучно-розовощекий, и тонконосый рублевский святой, и стенографистки за столом. Но гаже всех смеялся Фонарин. Он косо разинул щербатую, желтозубую пасть. Он торжествовал, он был счастлив. Я его ненавидела. Я бы его отхлестала по щекам той самой грязной тряпкой. Яркая отрицательная эмоция. Какой бы пик она дала на моей ЭЭГ!

Смех умолкал, доносились его последние спазмы.

Слышнее стали протестующие возгласы: «Недопустимый прием!»

— Разрешите мне сказать несколько слов по поводу представления, — мягко предложил председатель. Он явно был на моей стороне.

— Нет, я сама. Дайте мне слово.

Зал замолчал. Прислонив указку к доске, я вышла на кафедру. Вообще я никогда не говорю с кафедры. Но тут я взошла на нее и сказала:

— Фокус с грязной тряпкой, который нам продемонстрировал профессор Фонарин, может на первый взгляд показаться эффектным. Но эта

эффектность — мнимая. Мы давно знаем, что кривые, подобные по виду энцефалограммам, можно получить, подсоединяя электроды к самым разным предметам, преимущественно влажным и неоднородным: к живым организмам, их частям, к кучам разлагающегося мусора, к чему угодно — стоит только не пожалеть грязи. Профессор Фонарин ее не пожалел. Он хотел меня в нее затоптать. Не вышло! Продемонстрированный им трюк грязен по существу, марает его самого. Вы только подумайте: один ученый предлагает другому проанализировать энцефалограмму. Элементарное понятие о честности диктует, что предложенная запись есть именно энцефалограмма, а не что-то другое. В природе множество колебательных процессов, и все они в какой-то мере похожи. Колебания самолета в воздухе, качка корабля, мало ли что? Запись каждого из таких процессов имеет что-то общее с энцефалограммой. Профессор Фонарин поступил со мной вопиюще нечестно, точнее — он поступил как матерый подлец. К сожалению, в наше время дуэли не приняты. Будь это не так, я бы охотно приняла его вызов за слово «подлец», брошенное ему в лицо перед большой аудиторией. Что же вы не бросаете мне перчатку, Фонарин? Охотно буду драться с вами на любом оружии. Только не на грязных тряпках! Приезжайте в Москву, в мою лабораторию, усадим вас в кресло, наложим электроды на вашу многодумную голову и посмотрим, как подскочит кривая, когда я громко скажу вам: «Подлец!».

Последнее слово я прокричала на весь зал. Фонарин, уже бледный, позеленел и стал заваливаться набок. К нему подскочил Володя со стака-

ном воды, стоящим на кафедре. Люди, вскакивая с мест, скапливались у стула Фонарина в первом ряду...

— Агнесса Тихоновна, — страдая, сказал председатель, — ваши слова... выходят, так сказать, за рамки научной дискуссии. По существу вы правы, а по форме...

— Плевать мне на ваши рамки, — ответила я. — Ноги моей больше здесь не будет. Прощайте.

Еле пробралась я сквозь толпу к выходу. Спирной, плечами, не только лицом ощущала я любопытные, в большинстве враждебные взгляды.

— Скандалистка! — громко сказал кто-то сзади.

— С такой только свяжись, — ответил другой. — Что ни говори, баба есть баба.

Ну и пусть...

Я добралась до гостиницы. К счастью, командировочные документы были уже оформлены, билет на поезд готов. Я позвонила в институт, узнать, как там Фонарин; к телефону никто не подошел. Не поленилась пробиться в городскую справочную, узнала номер фонаринского домашнего телефона. Позвонила. Ответил женский голос:

— Михаил Васильевич отдыхает. Что ему передать?

— Ничего не надо.

Короткие гудки. Я положила трубку. Отдыхает — стало быть, жив. И на том спасибо. Идиотизм моего поведения...

...Теперь, лежа на верхней полке купированного вагона, я снова и снова перебирала в памяти случившееся. Ярче всего вспоминался хохочу-

щий рот Фонарина с перекошенными, друг на друга сдвинутыми зубами, с темной глубиной посредине. Рот, как пещера. Жалела ли я о своей резкости? И да, и нет. Форма была глупа и излишне театральна (вышла наружу скрытая высокопарность), но по существу я была права. Может быть, придется держать ответ, когда слухи о скандале дойдут до Москвы. Директор института вызовет меня давать объяснения. Я так и видела его солидное, мучнистое, картофельное лицо, просторные уши, зачес поперек плечи. «Ради бога, только без происшествий!» — читалось на этом лице. Что подделаешь? Вокруг меня всегда происшествия, так мне написано на роду. «Опять эта склочница!» — отчетливо говорили лица всякий раз, когда я по любому поводу брала слово. Хуже всего, что в этих скандалах, сознавая себя правой, я все-таки была себе безмерно противна. Вся, начиная с наружности. Это лицо — не мое лицо. Это тело — не мое тело. Угораздило же меня всю жизнь проходить с чужим лицом, в чужом теле!

От этих навязчивых мыслей и образов я не могла отвлечься и даже обрадовалась, когда в купе вошли двое нижних пассажиров. Видные мне сверху, в сильном ракурсе, это были мужчина в темном широком плаще, со шляпой на голове и с ним паренек лет девяти-десяти. Войдя, мальчик сразу же снял серую клетчатую кепку и обнажил светлую прямоволосую голову с торчащим посредине вертикальным хохлом.

В купе было полутемно — горела одна припотолочная лампа, но мальчик зажег у своего места корытце-ночничок для чтения. Мужчина не торопился и, главное, не снимал шляпы. Как

будто он не ехал сам, просто провожал мальчика. Но нет: «Провожаящих просят покинуть вагоны» — он не покинул, остался, даже с каким-то особым тщанием открыл, перебрал и закрыл свой чемодан; оттуда были извлечены две полосатые пижамы: мужская и детская. Одну из них, аккуратно расправив помявшиеся места, он положил на свою подушку, другую — на подушку напротив. Сомнений больше не было: мужчина в шляпе и мальчик ехали вместе. Скорее всего отец и сын. Это почему-то было мне неприятно, хотя, строго говоря, какое мне до них дело?

Лучше всего было бы заснуть, но как только я закрывала глаза, перед лицом возникал Фонарин, и это было нестерпимо. Уж лучше буду смотреть вниз, на мужчину и мальчика; почему-то они меня интересовали (вообще после скандалов у меня обостренное внимание ко всему окружающему). Их приглушенные голоса, которыми они время от времени перекидывали друг другу короткие фразы вроде: «А зубную щетку ты не забыл?» — «Нет, не забыл», — звучали как-то не совсем по-обычному, особенно голос отца (если это был отец) — низкий, бархатный баритон, чуть-чуть поющий, льющийся. Из двоих мне лучше был виден мальчик, сидевший на нижнем месте напротив меня. Сняв куртку, он оказался в желтоватом кургузом костюмчике. Светлый, неуклюжий, он больше всего походил на маленькое соломенное чучело, не страшное даже птицам. От мужчины мне сверху была видна одна шляпа. Почему он ее не снимает? Обычай предписывает мужчине, войдя в жилое помещение, снимать головной убор...

Поезд тронулся. Мальчик достал из дорожной сумки книгу и при свете электрического корытца погрузился в чтение. Мужчина спросил его:

— Донат! Что ты читаешь?

Мальчик покорно ответил отроческим своим, чуть сипловатым голосом:

— Артур Конан Дойль, «Долина ужаса».

— Не «Конан Дойль», а «Конан Дойл». Пора бы привыкнуть. В английских словах конечное «эль» звучит не мягко, а твердо. Повтори, пожалуйста, имя автора.

— Артур Конан Дойл, — послушно сказал мальчик.

— Так-то лучше. Не понимаю, откуда у тебя это мягкое «эль» на конце?

— Так ребята говорят... нашего класса.

— Не надо подражать «ребятам нашего класса». Мы должны быть не хуже их, а лучше. Не ниже по развитию, а выше. Многие ли из них могут читать того же Конан Дойла в подлиннике? А ты можешь. Знание английского языка — признак культурного человека. Английский — это латынь нашего времени. Ты меня понял?

— Понял, — чуть слышно отозвался Донат.

— Не слышу. Повтори громче.

— Понял, — почти крикнул мальчик.

— Ну, это уже слишком. Так ты весь вагон разбудишь. Повтори еще раз, умеренным голосом: «Понял тебя, папа».

— Понял тебя, папа, — чуть помедлив, повторил мальчик. Еле заметное раздражение скрипнуло в его голосе.

— Учись себя контролировать, — продолжал отец. — И вообще, что это за чтение — «Долина ужаса»? Развлекательная беллетристика, не

больше. В твоём возрасте пора иметь другой круг интересов. Я, например, в десять лет уже читал классиков — Толстого, Достоевского, Лескова, Стендаля. Почему-то я до сих пор не смог привить тебе любовь к классической литературе... Впрочем, я не из тех отцов, которые докучно опекают своих сыновей. Мягко направлять — мой метод воспитания. Читай, пожалуй, хоть «Долину ужаса», если она тебя занимает. Когда-нибудь ты сам созреешь и начнешь читать достойные книги...

Голос его лился мягко, кругло, убедительно, время от времени соскальзывая в еле заметное «оканье». Он вызывал в памяти какие-то давние ассоциации, какой-то прелестный запах. Голос и запах — что между ними общего? Но когда звучал этот голос, я ощущала запах. Голос-то был обаятелен, а то, что он говорил, — нудно до зубной боли. «Ну и зануда же отец у тебя, — думала я, жалея мальчика, — ох и хлебнешь же ты с ним горя! Интересно, кто же эти “мы”, которые должны быть “не хуже других, а лучше”, “не ниже их по развитию, а выше”? Какой-то клан, конгрегация... И почему этот культурный краснобай до сих пор не снял шляпу? Напомнить, что ли, ему, что в жилом помещении, даже в купе вагона, принято шляпу снимать?»

Видная сверху, эта шляпа была нормальная, фетровая, разве что поля чуточку шире обычного. Видны были также руки ее владельца — опрятные, небольшие, с отделанными розовыми ногтями. Время от времени эти руки, как бы выныривая из-под полей шляпы, начинали двигаться по одеялу, разглаживая на нем невидимые простым глазом складки. Иногда они перескаки-

вали на столик и поправляли на нем крахмальную скатерку, ставя на место все время сползавшую пепельницу. Красивые руки. У мальчика, напротив, руки были зажатые, худенькие, не совсем чистые, с каймой обкусанных заусениц вокруг ногтей. Неухоженный паренек! Его руки не двигались, они лежали, покорно скрещенные на колене.

«И что за странное имя — Донат? — думала я. — До сих пор не встречала еще человека с таким именем. Зануда отец, видно, специально подыскивал имя позаковыристее. Ну да бог с ними, хватит о них размышлять».

Я опять закрыла глаза; Фонарин — тут как тут. И смех всего зала. Видно, мне уже не заснуть. Сосед на противоположной верхней полке испустил носом продолжительную руладу (так бы мог храпеть носорог) и принялся наяривать, даже как-то подсвистывая. «Заснешь тут, в таком окружении!» — с глупым гневом подумала я. Залихватский храп с верхней полки, видимо, подействовал на соседа внизу. Он предложил Донату умыться на ночь; тот покорно удалился с полотенцем через плечо. Мальчики, как известно, долго не моются; минуты через две Донат вернулся. «Уже?» — неодобрительно спросил отец. «Уже», — подтвердил Донат. «Покажи руки». Донат показал. «Ну, так и быть, можешь ложиться». Теперь уже отец взял мыльницу и с полотенцем через плечо проследовал в коридор. Я исподтишка наблюдала за мальчиком. А он вел себя странно.

Из глубины своей дорожной сумки он вынул школьную тетрадь в линейку, вырвал из нее лист, оглянулся по сторонам; в его обкусанных пальцах

появилась шариковая ручка. Он положил лист на шаткий вагонный столик, отвернув скатерку, и, заслоняя лист рукой, стал что-то писать. Но что? К счастью, я дальнозорка. Когда он ненадолго отвел руку, я увидела, что он писал. Красивым почерком, редким у наших школьников, он выводил, строка за строкой, одни и те же слова: «Долина ужаса. Долина ужаса. Долина ужаса...» Исписана была уже почти вся страница. Вдруг, услышав какой-то шум в коридоре, мальчик схватил лист и, скомкав, сунул его в карман. Отца все еще не было — видно, мылся солидно, всерьез. Мальчик сунул тетрадь обратно в сумку, разделся, влез в пижаму, нырнул под одеяло, полуприкрыв лицо, и только желтый вихор вздрагивал на подушке в такт толчкам поезда.

Не очень скоро вернулся отец мальчика. Он все еще был в шляпе (неужели так и мылся в ней?), но вот наконец, сев на нижнюю свою койку, он шляпу снял. То, что я увидела, меня поразило: темно-русые жидкие волосы были свернуты на затылке в пучок и заколоты шпильками. Что-то жалкое, жалобно-бабье было в этом пучке, не откровенная длинноволосость современных парней, а нечто скрытое, прячущееся... «Так вот почему он не снимал шляпу», — сообразила я, и опять мне вспомнился запах, на этот раз понятный, — запах ладана, и тут я поняла — священник. Так вот откуда его полупоющий бархатный баритон, его округленное «оканье», его убедительные, пастырские интонации... Священник, «батюшка», как говорила моя няня. Она, истово верующая, иногда водила меня, маленькую, в церковь, и там, с амвона, я слышала точно такие интонации.

Я уже почти примирительно (в память детства!) глядела вниз, на своего соседа. Говорят, голос — душа человека, и не может быть, думала я, чтобы в душе этого человека не было ни зерна, ни искры того благородства, которое так богато играло в его голосе. А воспитывать детей он попросту не умеет. Детская душа хуже всего отзывается на поучения...

Темное широкое одеяние священника, показавшееся мне вначале плащом, оказалось ненавязчивым компромиссом между плащом и рясой, таким, чтобы не слишком бросаться в глаза и в то же время не нарушать традиции. Собираясь отойти ко сну, он расшнуровал свои вполне современные ботинки на толстой синтетической подошве, погасил нижний свет, включил верхний синий, снял рясу и облачился в пижаму. «Современный пастырь, не отстаёт от века. Ну что же, приходится и им применяться к эпохе НТР», — подумала я и стала потихоньку, понемногу засыпать, довольная тем, что Фонарин больше не появлялся. «Спи, спи, — уговаривала я себя, — все пройдет, через год ты об этом и не вспомнишь». В моих ушах звучал незримый многоголосый хор, которым я, как ни странно, дирижировала. Все было хорошо, кроме двух слов: «Долина ужаса». Что хотел сказать мальчик, выписывая без конца эти два слова?

Спала я долго, каменно-крепко. Сквозь сон слышала, уже утром, как разносила чай проводница, как звякал внизу ложечкой священник, как он бархатно, певуче вещал, убеждая в чем-то сына Доната. Скучен он был — до невозможности. Фонарин за ночь тоже потускнел: острой боли

вчерашнего унижения уже не было... Наконец я разлепила веки, взглянула на часы. Ого! Давно пора вставать: до Москвы осталось часа полтора.

Я слезла со своей полки. Сосед снизу опять сидел в шляпе; ни верхнего, храпящего, ни Доната в купе не было. Я кинула полотенце через плечо и вышла в коридор. Там стояла порядочная очередь к единственному туалету (второй был, как водится, наглухо закрыт в интересах обслуживающего персонала). В очереди увидела Доната.

— Кто последний? — спросила я.

Донат вскинул на меня большие бежевые глаза и ответил:

— Я последний.

Я встала к окну. Прислонясь к раме, держась за металлический пруток с совершенно ненужными, но традиционными занавесочками (все равно пассажиры откидывают их, чтобы глядеть в окно), я видела сверху очень независимый, прямой вихор на макушке Доната.

Я смотрела в окно. Мимо бежали пестрые подмосковные рощи в последних клочьях золотой осени. Шли, одна за другой, кирпично-казенные постройки полосы отчуждения, шли колодцы, сараи, заборы, ограды. Рядом со мной стоял мальчик, мне страх как хотелось с ним поговорить, понять, для чего он упорно писал «Долина ужаса». Но между нами был забор, ограда, нет — целая полоса отчуждения...

— Ты с папой едешь? — спросила я.

— Да.

— А мама твоя где?

— Умерла.

— Давно?

— Четыре года.

- Ты в Ленинграде живешь или в Москве?
- В Москве.
- Учишься в школе?
- Да.
- В каком классе?
- В пятом.
- Хорошо учишься?
- Ничего.

Обычный набор вопросов, с которыми взрослый обращается к ребенку, желая войти в общение. Тут общения не получалось. Его короткие ответы отпугивали, в них явственно звучало: «Не приставай». «Не бойся меня, не дичись, пойми, что я люблю тебя, хочу тебе добра», — мысленно говорила я. Хохол торчал все так же упрямо. Бежевый глаз, сбоку почти янтарный, прилежно отслеживал бегущие за окном предметы; светлые ресницы на бледной, почти бесцветной щеке казались нематериальными. Как до него добраться, заглянуть в «Долину ужаса»? И вдруг, сама для себя неожиданно, я задала совсем новый вопрос:

— А ты знаешь, что такое электроэнцефалограмма?

Он помотал головой: «Нет, не знаю». И тут я ему рассказала все. И про наши эксперименты, ставшие для меня за последние годы главным смыслом жизни; про попытки разгадывать взрывы эмоций по ЭЭГ; про открывающиеся перспективы, если это удастся. И про свой доклад на конференции, и про Фонарина с его грязной тряпкой, и про то, как меня дружно высмеяли... Я не упрощала свою речь, не адаптировала, не применялась к его уровню развития. Я просто рассказывала все как было. И как я крикнула на весь зал: «Подлец!»

Он слушал — сперва недоверчиво, настороженно, но постепенно все с большим интересом, с волнением. Было прямо видно, как интерес заливал краской его торчащие бледные уши. Когда я повторила — «Подлец!», он даже крикнул от удовольствия.

— Тебе это интересно? — спросила я, польщенная.

— Ну, да, — опустив голову, признался он.

— Что же именно тебя заинтересовало? (...Только бы не спугнуть это крохотное, едва зародившееся доверие!)

— Здорово, — сказал он своим сипловатым голосом. — Здорово про эти ваши биотоки. Записал на какую-то кривую — и все ясно. Только не верится...

Тут подошла его очередь. Пышная женщина в халате всех цветов радуги вышла из двери туалета, брезгливо поджав губы, несомненно, оскорбленная всем увиденным.

— Знаете что, — неожиданно сказал Донат, — вам не очень нужно, а то пропустим очередь, а? Хочу еще одну вещь у вас спросить.

— Спрашивай, — ответила я.

— Значит, — неожиданно горячо сказал он, — человек уже свои мысли не может скрыть? Наложили ему на голову эти самые...

— Электроды.

— И читай его мысли? Даже самые секретные, которые он от всех скрывает?

— Не мысли, до этого мы еще не дошли. Скорее чувства. Эмоции, говоря по-ученому.

— Ну нет, не поверю. Враки это все! Слишком просто: наложил электроды, записал, а другие угадали, что я чувствую?

— В какой-то мере да.

— Даже если... если я изо всех сил скрываю? Ничего не показываю. Только сам внутри себя чувствую?

Он поднял на меня свои бежевые глаза, и вдруг на мгновение в них сверкнула такая неистовая ненависть, что я отшатнулась. Еще миг — и вспышка погасла.

— Ты мне не веришь, — сказала я растерянно, — тебе надо самому посмотреть опыт, во всем убедиться. Может быть, даже провести этот опыт. Знаешь что? Приходи ко мне в лабораторию, спроси Агнессу Тихоновну Платонову, это я, а вот мой домашний телефон. Позвони накануне вечером, приходи и сможешь сам убедиться.

Адрес и телефон я записала на листке из блокнота участника конференции. Он взял. Потом вздохнул тяжело и долго.

— Тебе хочется прийти? — спросила я.

Он кивнул.

— Может быть, твое призвание — быть психологом-экспериментатором. Может быть, это твое будущее...

— Мое будущее? — переспросил он. — Это от меня не зависит.

— От кого же зависит?

Он пожал плечами:

— Все без меня решено давно.

— Как это можно: решать за другого? Человек сам вправе распоряжаться своим будущим.

Он засмеялся. Меня даже испугал его сиплый смех. Смеялся взрослый, немолодой, разочарованный человек.

— Вправе? — повторил он. — А вы знаете, что такое «Долина ужаса»?

— Приблизительно.

— А надо точно. Вы этого не знаете и не узнаете никогда. Смотрите: туалет освободился. Теперь я вам уступлю очередь. Видите, какой я воспитанный.

В двери, выходящей в тамбур, появился какой-то с утра нагрузившийся толстяк. Он явно не знал, где у него какая нога. Когда он перебрался через порог, Донат повторил:

— Идите.

— Я ненадолго. Я тебя подожду. Мы с тобой еще поговорим, ладно?

Он молча кивнул.

Когда я вышла в коридор, мальчика не было видно. В купе его тоже не было. Отец сидел в шляпе и подтачивал ногти длинной пилочкой. За окном бежали уже близкие московские пригороды. Поварово... Радищево... Алабушево... Крюково... Надписи еле можно было прочесть в быстром мелькании столбов и оград. Мы оба молчали — и я, и человек в шляпе. В его молчании было что-то каменно-тяжелое. Уж не подглядел ли он, как я разговаривала с его сыном? Лицо его под полями шляпы было благообразно, по-своему красиво: раздвоенная темная бородка, розовые губы, легкий румянец на белых щеках. Мальчик, видно, не в него — в мать...

Я смотрела в окно и думала: «А хорошо бы и в самом деле приручить, приобщить к делу такого Доната. Непростой, видно, характер, непокладистый. А что? Такие-то нам и нужны...»

Дальше мои мысли поехали уже совсем не туда, за пределы возможного. Думалось мне о том, что не только «приручить» хотелось бы мне До-

ната, но и... усыновить. Мне, бездольной, бездетной, вынуть из воздуха сына, как фокусник в цирке вынимает из воздуха курицу...

Радио прокашлялось и заявило:

— Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины, город-герой Москву. Граждане пассажиры, проверьте, не забыли ли вы что-нибудь из своих личных вещей.

И — бравурная музыка. «Москва моя...» Пассажиры зашевелились, выходя в коридор, поближе к выходу. Мой нижний сосед взял чемодан, укрепил шляпу на голове и тоже пошел к выходу. Рядом с ним в коридоре оказался Донат, уже в куртке и кепочке, с сумкой через плечо. Его бледное, неподвижное личико никак не ответило на мой приветственный взгляд. Светлые глаза ушли в сторону.

Я надела плащ и полезла вверх за своим чемоданом. Его на месте не оказалось. Пропал? Невелика потеря, но все-таки неприятно. Поискав кругом, я обнаружила чемодан под столиком. Кто-то его снял сверху. Донат? Возможно. Оказал мне внимание. Трогательно!

Тут я заметила на крышке чемодана приколотый английской булавкой листок бумаги. Это оказалась моя собственная записка с адресом института и номером телефона...

Побежать за мальчиком? Догнать? Безнадежно. Все равно, если бы и догнала, при отце он со мной говорить не будет...

Я стояла, покусывая кончики пальцев. Проводница заглянула в купе:

— Побыстрее, повеселей, товарищи! Вы что же, гражданка, здесь ночевать собрались? Не задерживайте, не мешайте работать.

Я опомнилась, взяла чемодан и двинулась к выходу. Вышла. Широкой темной фигуры и маленькой светлой не было видно нигде.

Может быть, еще не все пропало? Может быть, мне еще удастся отыскать в безднах Москвы мальчика со странным, редким именем Донат?

1983

ЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

История эта — невыдуманная. Все это именно так и было. Автор позволил себе только изменить некоторые собственные имена и додумать кое-какие мысли, вложенные им в сознание одного из персонажей. Нельзя поручиться, что персонаж в точности так думал, но что-то похожее думал наверное.

Итак — подлинное происшествие.

Несколько лет назад мой знакомый, инженер Юрий Сергеевич М., проводил свой отпуск на Черноморском побережье Кавказа. С ним вместе путешествовал его сын Сережа, кудрявый романтический мальчик, вылитый «маленький принц» из сказки Сент-Экзюпери.

Сережа жаждал приключений. Путешествие проходило не без них. Нередко оказывалось, что в гостиницах не было мест, и отец с сыном ночевали где придется — один раз даже в чьем-то курятнике, по соседству с горластым петухом («Он ничего, только слишком рано встает», — сказал про него Сережа). Но в целом судьба им благоприятствовала — чаще всего место в гостинице вскоре находилось (на женскую администрацию

помоложе, вероятно, действовала неотразимая улыбка Юрия, а постарше — кудри и неземной облик Сережи).

Впервые предоставленные самим себе, без материнской опеки, мужчины «ударилась в разгул». Сколько было съедено чебуреков, персиков, мороженого! Сколько раз было схожено в кино, езжено на катере! Естественно, они потрастились.

Впрочем, отпуск все равно подходил к концу, пора было уезжать домой, в Москву. В Сухуми (последнем пункте маршрута) Юрий купил два билета на самолет (один взрослый и один детский), и еще у него осталась скромная сумма, достаточная для того, чтобы прожить оставшиеся дни — без особых излишеств.

Но случилось так, что накануне отъезда у Юрия (видимо, в автобусе) вытащили из кармана бумажник, в котором были почти все деньги, а главное — билеты на самолет. Он оказался в сложном положении: в чужом городе, с ребенком, без денег, без билетов, без единой знакомой души. По карманам он нашарил какую-то мелочь, сущие пустяки.

Сережа был в восторге: «Это настоящее приключение?» Отец промычал что-то невнятное — бывает, мол, хуже. Решил ехать на аэродром, чтобы восстановить хотя бы билеты, номера которых он знал. Сережа настоял, чтобы ехать в такси, — по его представлениям, ехать на аэродром можно было только так. Отец пытался его образумить, ссылаясь на то, что денег мало, что на такси обратно им все равно не хватит. «Обратно — автобусом», — великодушно согласился Сережа.

Взяли такси, поехали. По дороге Юрий разговорился с шофером, глядя ему в спину; рассказал о своей неприятности. Тот выслушал его с сочувствием, качая головой, пожелал ему успеха в деле с билетами и предложил: «Если негде будет ночевать — езжай ко мне». Юрий поблагодарил, но отказался: номер в гостинице был оплачен вперед, ночевать где было. Шофер все-таки назвал себя и дал адрес. Юрий записал его на папиросной коробке и забыл о нем. Шофер уехал с другим пассажиром.

А с билетами ничего не получилось. Девушка в окошке была непреклонна. Очень строго, очень официально она потребовала, чтобы Юрий внес полную стоимость билетов (может быть, так и полагалось по правилам, но не об этом сейчас речь). Улыбка, мастером которой был Юрий, на этот раз не подействовала, а на Сережины кудри даже не было брошено взгляда.

Обескураженный, за руку с мальчиком, вернулся он на площадь перед аэровокзалом. До ближайшего автобуса в город ждать было еще порядочно.

— Папа, ну а это — настоящее приключение? — ликуя, спросил Сережа.

Отец довольно кисло признал, что настоящее. Сережины глаза сияли, от избытка впечатлений он засыпал.

«Совсем немножечко посплю и скоро проснусь», — сказал он. Юрий сел на скамью, посадил рядом с собой Сережу, положил его голову к себе на плечо; тот мгновенно уснул.

Кругом стояла бархатная, теплая, звеневшая цикадами южная ночь; непривычные конфигурации созвездий ярко выделялись на черном небе.

Сереза спал, а Юрий тем временем размышлял. Под стрекот цикад было удобно думать. Он вообще был склонен к философствованию, любил вдумываться в смысл обыкновенных слов, понятных каждому без объяснений. На этот раз, жалея о том, что у него нет в Сухуми знакомых, он спрашивал себя: что такое «знакомые» и чем они отличаются от «незнакомых»?

...Он представлял себе: вот идет по улице маленький человек, тот же Сереза. Как ему хорошо! Сколько кругом интересного! Он присаживается на корточки, чтобы лучше разглядеть лужу. Лужа — красивая, перламутровая, с бархатной грязью по краям. Большой дядя сверху, почти от уровня крыш, смотрит на него с улыбкой:

— Ты что тут делаешь, кудрявый?

— Лужу смотрю.

— Смотри-смотри, да не засматривайся. Штаны замарал. Мать небось не похвалит.

— Не похвалит.

— Ну, давай руку.

Большая рука спускается откуда-то сверху, тоже от уровня крыш, и бережно берет маленькую руку в мокрой красной варежке. И вот уже ребенок идет от лужи, идет с чужим дядей, по-нашему — с «незнакомым». Но детское сознание не знает разграничения людей на «знакомых» и «незнакомых». Ребенок изначально «знаком» со всеми. Все люди — его знакомые. И дети. И собаки. И кошки.

Естественное, блаженное, привольное состояние!

...А вот идет по улице взрослый человек. Кругом поспешают, обгоняют его другие взрослые.

У каждого — своя авоська, свой портфель, свои знакомые.

...Едут люди в автобусе, в трамвае, в метро. До чего ж они сухи, замкнуты, чужды друг другу! До чего ж они незнакомы!

Человек в метро сидит и читает. Сосед по скамье с любопытством заглядывает в книгу. Читающий недоволен. Он старается плечом загородить от соседа страницу. Тот больше вытягивает шею, прямо затылком чувствуешь, как он напрягся. Вот нахал! Читающий возмущен: он чувствует, как в нем растет, раздувается чувство оскорбленной «приватности» (“privacy” — английское слово, не имеющее русского эквивалента).

А вот взрослый человек в силу необходимости проталкивается сквозь толпу. И снова в нем бушует оскорбленная “privacy”. Он почти ненавидит окружающие его плечи, локти, головы. Все эти люди ему мучительно посторонни, крайне незнакомы. От их близости он неподдельно страдает.

Но когда же, в какой момент совершается в человеке переход от светлого детского «все знакомы» к взрослому, отчужденному «я их не знаю и знать не хочу»?

Это — как у кого. У некоторых детей такое «посвящение во взрослые» наступает рано, слишком рано.

Например (вспоминает Юрий), у семилетней Тани, дочери соседей по дому, этот переход уже совершился. Девочка худенькая, отвлеченная, ходячая запятая (Юрий не раз, встречая ее на лестнице, пытался заговорить, но всегда натыкался на стену вежливо-оскорбленной “privacy” в зеленых глазах). До чего же она полна уважения

к обычаям, разъединяющим людей! Вместо простого, естественного мира, где все знакомы, ее окружает искусственный мир церемоний...

Юрий улыбнулся, вспомнив рассказ Таниной матери о «случае с ногой». Мать-то как раз была смешливая, общительная, и они с Юрием нередко беседовали у лестничного мусоропровода.

Дело было так: Таня играла на балконе со своим двухлетним братом Сашей, оставленным взрослыми на ее попечение. Мальчик забавлялся ногой, оторванной от деревянного паяца-дергунчика. В ноге еще сохранилась тугая резинка; Саша вытягивал ее, отпускал и с удовольствием слушал звонкий щелчок. Но вдруг как-то ненароком он выронил ногу, и она упала вниз на другой балкон.

Саша залился отчаянным ревом. «Ногy! Ногy!» — кричал он и никак не хотел успокоиться. Таня была в квартире одна с братом и должна была принять решение. Она знала, что там, внизу, живут Солнцевы (недаром папа, запрещая им с Сашей прыгать и стучать, всегда говорил: «Не стучите по потолку Солнцевых!»). Таня — человек долга, а долг повелевал пойти к Солнцевым и попросить, чтобы они вернули ногу.

Но... беда в том, что Солнцевы были Тане незнакомы! Маленькая девочка в свои семь лет уже была законченным образцом взрослого, отчужденного от всех городского жителя. Она знала, что к незнакомым людям обращаться нельзя, не полагается...

Тем временем Саша не унимался. Он так отчаянно вопил: «Ногy! Ногy!» — словно решил тут же, на месте, лопнуть и умереть.

Надо было принять решение, и Таня его приняла. Она спустилась по лестнице на один этаж. Дверь Солнцевых ее пугала — за ней жили незнакомые люди, и как поступать в таких случаях, было неясно. Таня решила с кем-нибудь посоветоваться.

Напротив Солнцевых, на той же площадке, жили люди, совсем Тане незнакомые, даже фамилии их она не знала. Но спросить совета все же не то что потребовать ногу, с этим, на худой конец, можно обратиться к незнакомым. Она нажала кнопку звонка и спросила женщину, отворившую ей дверь, удобно ли будет, если она, Таня, обратится к Солнцевым по поводу ноги?

— Отчего же нет, — ответила женщина, — спроси, только вежливо.

— Спасибо, — сказала Таня и позвонила в дверь Солнцевых.

Отворила ей сама хозяйка квартиры, солидная дама с усами.

— Простите, пожалуйста, что я вас беспокою, — очень вежливо сказала Таня, — но дело в том, что мой брат потерял ногу и очень плачет.

Солнцеву чуть удар не хватил при таком известии... Она метнулась уже вызывать неотложку, но тут выяснилось, о какой ноге идет речь...

Смешно? — подумал Юрий. Да, смешно, но чем-то и страшно. Эта затейливая отчужденность. Спросить незнакомых, удобно ли будет обратиться к другим незнакомым... Удивительно, пугающе рано переселяются наши дети из мира, где все со всеми знакомы, в мир разделительных условностей. Сережа, слава богу, еще не переселился.

Эта резкая черта, думал дальше Юрий, отделяющая «знакомых» от «незнакомых», особенно

типична для больших городов с их густыми потоками чужих, безликих, ничем друг от друга не отличимых людей. Идут потоки людей, потоки джинсов, потоки «дипломатов»... В деревнях и малых поселениях сохранились еще кое-где остатки традиции, по которой все со всеми знакомы, все со всеми здороваются... Попробуй соблюди ее в большом городе, где за день каждый сталкивается с тысячами людей! Здороваться со всеми? Отмечать каждого? Утопия. Прозрачная стена, отделяющая нас от незнакомых людей, — единственное спасение от информационной и эмоциональной перегрузки (Юрий любил говорить по-ученому). Спасительное равнодушие к чужим, незнакомым — только оно делает возможной жизнь в большом городе...

Значит, оправдать деление на «знакомых» и «незнакомых»? Выходит, оправдать, но с ограничениями. Не слишком ли часто переходит спасительное равнодушие к чужим людям в равнодушие к чужой беде?

Вот, например, лежит на обочине тротуара, головой к мусорному баку, человек в неопрятной одежде; по-видимому, спит. Кто его знает, скорее всего — просто пьян, а может быть, и болен? Мимо — люди, сплошным потоком, каждый торопится, каждому некогда, никто не остановится, не нагнется посмотреть, в чем дело. Сам не раз проходил мимо такой картины. Спросишь кого-нибудь: «Чего это он лежит?» — «Известно, пьян». И усмешка. И тут появляется какая-то старушка (на наших улицах почему-то именно старушкам до всего есть дело!); нагнулась, потрогала лежащего за плечо, отошла, вернулась с милиционером... Тут уж мое дело — сторона, я со спокойной

совестью иду дальше. Но почему все-таки старушка, а не я?

А вот плачет на скамейке женщина в платочке, плачет горько, вытирая слезы по-странному — осенним кленовым листом... Кто ее знает, почему плачет, может быть, ей надо помочь? Но неудобно обратиться, а вдруг встретишь враждебный взгляд: «Тебе-то какое дело?» Этот страх враждебного взгляда словно бы оправдывает мое равнодушие. А люди все идут, идут мимо. Шаркают подошвы, стучат каблуки. А незнакомая женщина все плачет, утирая слезы кленовым листом...

А что, собственно, это значит — знакомый, продолжал рассуждать Юрий (специалист в области точных наук, он любил четкие определения). Если быть честным, надо признать, что «мои знакомые» — это те люди, с которыми по чистой случайности мне пришлось познакомиться, хотя бы поверхностно пообщаться.

Встретил я, например, кого-то в доме моего приятеля. Нас познакомили, я запомнил его лицо; столкнувшись с ним на улице, я, скорее всего, поздороваюсь. Чем он отличается от других, «незнакомых»? А ничем.

Или, допустим, отдыхали мы с кем-то в санатории, пансионате. Сидели за одним столом, передавали друг другу соль и горчицу. Вот мы уже и «знакомы». А что я о нем знаю? Ничего.

Друзья — другое дело. Друзей мы выбираем сами. Знакомых — фактически не выбираем. Они выпадают в наше поле зрения из окружающей среды.

А что, если вообще упразднить деление на «знакомых» и «незнакомых»? Заранее считать,

что все люди знакомы? А прекращать знакомство только тогда, когда убедишься, что человек — негодяй, жулик?

Мысль показалась Юрию свежей и интересной, он даже стал набрасывать в уме статейку на эту тему для заводской многотиражки (он иногда туда пописывал, под псевдонимом Юрий Доверчивый).

...Начать можно с маленького мальчика на улице, фантазировал Юрий, продолжить моими мыслями о пьяных и плачущих (это должно прозвучать). Заключить деловыми рекомендациями...

Бывают люди, писал мысленно Юрий, которые уже осуществили сами для себя, в одностороннем порядке, принцип «всеобщего знакомства». Они щедро и весело вступают в общение со всеми. Придет такой человек в магазин, в библиотеку, даже в милицию — и всюду ему рады, везде он свой... Увидев его, люди улыбаются, готовы помочь ему, сами становятся рядом с ним добрее и лучше (что греха таить — Юрий имел в виду, в частности, самого себя. Способность входить с людьми в общение и в самом деле его отличала). Такому подражать нельзя, это талант. Но и на обычном, среднем уровне способность к контактам можно в себе развить. Вернее, не дать ей заглохнуть: ведь каждому нормальному человеку она свойственна изначально.

...Отвращение к личным контактам, мысленно писал Юрий, — тяжелая болезнь, порожденная быстротой, перегруженностью, переусложненностью жизни. Бюрократизм — одна из форм этой болезни. Бюрократ хочет отгородиться от людей, поставить между собой и ими промежуточное ус-

тройство, своего рода «кнопку», вроде той, с помощью которой пассажиры просят водителя остановить машину на «стоянке по требованию». Что и говорить — гораздо легче нажать безличную «кнопку», чем встретиться лицом к лицу, глаза в глаза с живым человеком... Роль такой «кнопки» в случае надобности может сыграть пункт инструкции (сегодняшняя девушка, отказавшая ему в восстановлении билетов, с мрачным удовольствием жала именно на эту кнопку)...

Так, не без приятного полета мысли, сочинял Юрий, и получалось неплохо. Недаром товарищи по работе советовали ему попробовать силы в журналистике. Но сейчас что-то мешало ему сочинять, какая-то внутренняя заноза. В чем было дело?

Ага, вот в чем — вспомнил. На днях он прочел в местной газете статейку под названием «Глупая доверчивость». Начал читать по созвучию со своим псевдонимом, а там и прочел до конца. «Глупо доверчивой» была, оказалось, местная жительница Мария К. Она познакомилась на вокзале с какой-то девушкой, назвавшей себя Людмилой. Девушка горько плакала, а когда Мария К. спросила ее, в чем дело, рассказала, что ее якобы обокрали, что у нее нет ни копейки денег, ни души знакомых, негде ночевать... Мария К. привела ее к себе, уложила спать на раскладушке, слушала внимательно, как Людмила «делилась своей жизнью», даже поплакали вместе, утром Мария ушла на работу, а когда вернулась — Людмилы и след простыл. Вместе с ней исчезли деньги и ценные вещи, находившиеся в квартире... Статья довольно разумно призывала к осторожности в выборе знакомств, и, помнится, Юрий прочел ее не без

сочувствия... Как же примирить эту осторожность в «выборе знакомств» с принципом «все люди — знакомые»? Над этим придется еще подумать...

Сереза пошевелился, вздохнул во сне и, не просыпаясь, сказал кому-то «сам дурак». Кстати, автобус скоро должен был прийти. Вернуться в гостиницу — ближайшее очевидное действие. Как быть дальше, Юрий еще не решил. Утро вечера мудренее. Что-нибудь да наклюнется.

Недалеко от скамейки, где они сидели, оставилась легковая машина. Спустя некоторое время ее передняя дверца открылась, и из нее вышел человек в темном. Осторожными, крадущимися шагами он подошел к скамейке и остановился, пристально разглядывая сидящих.

Юрию стало не по себе. «Грабитель? — подумал он. — Вряд ли. А впрочем, пусть грабит. Взять-то у меня сейчас нечего».

На всякий случай он восстановил в памяти рекомендации по самообороне в случае внезапного нападения, преподанные ему когда-то в кружке самбо.

Сереза проснулся, почему-то сказал: «Маленькие хвостики» — и немедленно заснул снова. Человек в темном подошел ближе.

— Это вы? — спросил он с грузинским акцентом.

— Это я, — ответил Юрий. — А что вам от меня надо?

— Ой, как я рад, что это вы! Я — Ираклий Пимениди, не узнали? Я вас сегодня в такси возил, помните?

— Конечно, помню, — приходя в себя, сказал Юрий.

— Ну как, вам билеты восстановили?

— Нет, не восстановили. Предложили купить новые.

Ираклий пощелкал языком:

— Ай-яй, беда какая! И что же будете делать?

— Пока не знаю. Что-нибудь придумаю.

Ираклий самую малость поколебался (может быть, вспомнил, что все-таки с Юрием незнаком?) и спросил:

— Сорок рублей хватит?

Он полез в карман, вынул и протянул Юрию четыре десятки. Тот был ошеломлен более, чем благодарен.

— Почему вы мне так верите? — спросил он.

— Очень просто. Смотрю: человек — и верю.

— Честное слово, я сразу же вышлю деньги.

— Не надо честное слово, — сказал Ираклий. — Садись в такси, поедem. Мальчика жалко, совсем спит...

Вернувшись в Москву, Юрий, конечно, первым делом отослал деньги телеграфом, в ответ на что получил следующее письмо*:

«Уважаемый Юрий Сергеевич!

Получили деньги и отвечаем вам. Пишет вам сестра Ираклия, так как его несколько дней не будет дома. Мы все очень рады, что вы выслали деньги, то есть, простите, рады не за деньги, а за вашу честность. Был у нас такой случай. Наш старший брат одолжил 200 рублей одному киевлянину. Братья у нас

* Письмо — подлинное, в нем не изменено ни слова, кроме обращения. Имя и фамилия шофера Ираклия Пимениди — подлинные.

вообще очень добрые и, можно сказать, хорошие ребята. Так этот киевлянин не только не отдал деньги, но даже не признал брата, когда он поехал в Киев к нему за деньгами. И мы очень рады, да и Ираклий будет довольный, записку в переводе оставим, чтобы он прочел. А теперь, когда будете в Сухуми, обязательно приезжайте к нам. Мы всегда рады людям с добрым и честным сердцем. Для них у нас всегда двери открыты, а для таких, как киевлянин, нет.

На этом кончаю писать, так как мы знакомы, как говорится, только заочно и писать больше нечего.

*До свидания. С приветом,
вся семья Пимениди».*

Вот такое письмо получил из Сухуми мой знакомый инженер Юрий М.

Он прочел его, перечел, и ему стало стыдно. За сочиненную (к счастью, еще не написанную!) статью о «знакомых людях». За свою готовность к самообороне — там, на скамье у аэровокзала. Да мало ли еще за что!

Ведь Ираклий, давая ему деньги, прекрасно знал историю с киевлянином. Знал — и все-таки дал. Сумел пренебречь «суровыми уроками жизни». «Смог ли бы я так поступить?» — спросил себя Юрий и честно ответил: «Не знаю».

В Сухуми в гости к семье Пимениди он до сих пор так и не собрался.

ПОД ФОНАРЕМ

На улице было холодно — мчащийся угольно-черный осенний вечер. Резкий ветер налетал то с одной стороны, то с другой, швырялся пучками опавших листьев и каплями дождя. А фонарь на своей проволоке мотался взад и вперед, как сумасшедший. За фонарем по тротуару так же оголтело мотались черные тени. От ветра на улице все казалось в движении, все было сдвинуто, неслось, даже стены домов были как будто наклонными.

На углу стояли двое — мужчина и женщина. Он — высокий, без шапки, с резкими скулами на худом обветренном лице. Ветер гнал и кидал его прямые белокурые волосы. В прыгающем свете фонаря на его лице все время возникали и пропадали подвижные угловатые тени.

Женщина была не очень заметная, брюнетка, с белым шелковым платочком на растрепанных волосах. Платочек на ветру порхал, вздувался, пряди волос летели и перекидывались с одной стороны на другую. На лице вспыхивали и гасли прозрачные капли дождя.

Он держал ее за руку и смотрел ей в лицо сверху вниз, и она отвечала ему взглядом в ли-

цо — снизу вверх. В меняющихся тенях глаза на его лице были для нее почти страшны своей выразительностью. Словно они не могли сдерживать напора изнутри, сдались, сдвинулись, поплыли, стали не в фокусе. Глядя в эти глаза, она чувствовала в себе тонкую боль, вроде той, что бывает в лифте, идущем вниз, сразу после того, как нажмешь кнопку.

Она что-то сказала. Ветер рывком унес начало фразы, он услышал только конец:

— ...подумайте, восемь лет разницы.

— А это мне все равно, — жестко сказал он и поглядел в землю. И сразу лицо и глаза стали жесткими, вернулись в фокус. Он потоптал ногой желтый разлапый кленовый лист и повторил: — А мне все равно.

— Завтра я вам все скажу, завтра. А теперь мне пора идти. Пожалуйста... до завтра.

Она взялась за ручку двери. Он нагнулся и поцеловал ее не в рот и не в щеку, где-то рядом с губами. Губы были сразу холодные и теплые, с каплями дождя. Она вошла в дверь.

* * *

Татьяна Васильевна поднялась по лестнице, открыла сначала общую дверь одним ключом, потом свою собственную — другим.

В дремучей коммунальной — бывшей барской — квартире у нее были две комнаты, две почти отдельные комнаты: маленькая квартира в большой. Комнаты в свое время сделали из одной бывшей гостиной, разделили перегородкой, и каждой комнате досталось по одному окну и по

половине пышной лепной розетки, в центре которой когда-то висела люстра. Получилось ничего, удалось даже выкроить небольшой тамбур — переднюю. Только уж очень — не по размеру комнат — высоки были потолки. Мальчики в детстве говорили: «У нас комнаты выше, чем длиннее».

В передней она сняла и отряхнула плащ, платочек. Тихо. В маленькой квартире никого не было. Да в этот поздний час спали все и в большой квартире: никто не мылся в ванной, не топал по коридору. Только электрический счетчик над дверью мурлыкал, отсчитывая свое время — энергию.

Она немного помедлила, постояла в передней, тронула пальцами то место около губ, куда ее только что поцеловали. Поцелуй был странный какой-то, не в рот и не в щеку, а туда и сюда сразу. Она вспомнила и снова ощутила то лифтовое чувство — не понять, хорошо оно или больно. Нет, сейчас этого нельзя. Нужно думать. Завтра нужно что-то сказать ему.

В квартире совсем пусто и тихо, никто не мешает думать. Дети разъехались. Катя — на практике, Толя и Воля — на картошке. Она зажгла настольную лампу и села, взяв карандаш. Привычка думать с чем-нибудь в руках. Вот так. Кончился сумасшедший день — с ветром, летящими листьями, прыгающим фонарем. Как все неслось, захлебывалось, когда они шли в свою бесконечную прогулку. По улицам, бульварам, пахнущим землей. Пахнущим палыми листьями. По набережным, где огни были вколочены в воду, как длинные золотые гвозди. Шли и дошли, и она ушла к себе. Ушла, чтобы думать.

Вот она у себя дома. Эти две комнаты, маленькая квартира в большой — ее дом. Много лет, ничего не скажешь, много лет. Здесь, в этих двух комнатах, выросли дети, стали людьми. В комнатах не очень уютно, не очень чисто. Почти у всех знакомых — «у людей» — чище, уютнее. Как это говорится в романах: «Всюду чувствовалась заботливая женская рука». А здесь не чувствуется. Разве она — хозяйка? Уже давно она — глава семьи. Глава семьи и хозяйка в одном лице. А бывает два настоящих лица в одном? В книгах бывает, в жизни — нет.

Татьяна Васильевна работала как мужчина, а боролась с бытом — как женщина. Трудно сказать, где было труднее, пожалуй, все-таки быт. Свою научную работу она любила без размышлений, без деклараций — просто любила. Обтертая лямка. Не так уж часты были великолепные минуты успеха, когда догадка о том «почему так» внезапно и чудесно осветит темную путаницу фактов. Гораздо больше она знала терпеливые научные будни, самые прозаические из будней, когда ничто не блещет, все — прилежание, а внутри потихоньку, как вода подо льдом, бормочет и трудится мысль. Время было нарасхват — лекции, статьи, конференции, лаборатория. Лаборатория важнее всего — свое детище. Так и жила. Чего-то, говорят, достигла. Дети выросли как-то между делом — хорошие дети... А вот квартиру не вылизывала, нет. Делала только самое необходимое, чтобы не зарастить грязью. Впрочем, всегда хотелось, чтобы было все как у людей. Тоска по благообразию. В иной воскресный день Татьяна Васильевна, в лабораторной спецовке, с ведром и тряпкой, чувствуя себя

воительницей, принималась за уборку. В такие дни дети говорили: «Воскресная мать — кошмар, скорей бы понедельник». И она сама больше любила понедельник. А главное, все было ни к чему. Уборка стоила огромных трудов, но ее следы исчезали слишком быстро. Через два-три дня снова откуда-то выползали полчища книг, предметов одежды, радиодеталей — и расселялись в квартире по-своему. Мебель была старая, когда-то хорошая, но теперь она пришла в упадок. Толя называл эту мебель «блеск и нищета куртизанок». Особенно в этом году она как-то сразу стала разваливаться. Воля чертил на обеденном столе — старинный стол красного дерева, и вдруг он под его локтем рассыпался. Воля ругался, а Толя, как всегда, иронизировал, потом оба вместе, толкаясь и перебраниваясь, скрепили ножки стола обыкновенной доской. Были разговоры «хорошо бы позвать краснодеревца», но из стадии разговоров не вышли. Стол так и стоит до сих пор с сосновой доской между ногами красного дерева. А вот мягкую мебель — диван и два кресла — в прошлом году обили. Татьяна Васильевна очень гордилась: она обила мебель, у нее как у людей. Был приглашен по рекомендации старик обойщик. Две недели он царил в квартире: сорил, курил, пел песни, а на третью неделю запил и пропал. Татьяна Васильевна ездила к нему, унижалась, задабривала, чуть ли не насильно привезла его, пьяного, и он заснул на развороченном диване. Да, много всего было, пока наконец диван и кресла не устали по местам в своей новой нарядной одежде. Они стояли красиво и послушно, как хорошо воспитанные дети, и каждый раз, проходя с работы, Татьяна Васи-

льевна радовалась на них. Она даже начала подумывать о новых хозяйственных подвигах, например, ликвидировать все барахло. Барахла накопилось невероятно много. Ужаснее всего были книги. Они словно размножались сами собой. Они были всюду: большие и маленькие, переплетенные и мягкие, старые и новые. В сущности, настоящими жильцами квартиры были книги, а люди только так. На манер чеховских сестер, мечтавших о несбыточной Москве, Татьяна Васильевна мечтала разобрать книги и позвать букиниста. Иногда она даже принималась за дело и привлекала детей. Ничего из этого не выходило. Кончалось всегда тем, что из-под спуда появлялись какие-то диковинные, давно забытые книги и не заглянуть в них было попросту невозможно. Что же, вместо разбора книг получалась, как они говорили, «изба-читальня». Вся семья, сидя среди разворошенных книжных груд, с упоением читала.

На втором месте после книг в квартире была старая обувь. Разные туфли, сапоги, ботинки, полуботинки, боты, ботики. Они толкались в передней, паслись под кроватями — пыльные, беспризорные. В сущности, их никто не носил, а выбросить было жалко и стыдно — ведь «у людей» ничего не выбрасывают... У Татьяны Васильевны с детства было убеждение, что старые вещи можно «продать татарину». Но «татарин» почему-то не приходил — видимо, люди этой национальности занимались теперь другими делами. Хорошо бы подарить кому-нибудь эту обувь, лучше всего оптом, но кому? Нет, предложить такой подарок было стыдно. Ведь обиделась бы я, если бы мне кто-нибудь подарил старые туфли? Оби-

делась бы. Однажды она украдкой вынесла и поставила пару туфель на лестничную площадку — авось кто-нибудь возьмет. Как бы не так! Назавтра туфли нагло стояли на прежнем месте, даже как-то избоченились, и она стыдливо унесла их обратно.

А когда перебили мебель, ей вдруг стало казаться, что все возможно. Погодите, справлюсь и с книгами, и с туфлями... Но тут Воля опрокинул на нарядное свежее кресло банку с тушью, и Татьяна Васильевна, к стыду своему, почти не огорчилась, скорее даже обрадовалась: теперь можно снова забыть о букинисте...

Ох, дети. Вечно они что-то портят и пачкают. Хорошие дети, золотые дети, но — что греха таить! — какие-то разболтанные. Даже Катя. Милая тоненькая Катя. Колосок на длинной соломинке.

Самое характерное в Кате была ее напряженная совесть. Словно она не жила, а только спрашивала себя и других: так ли я живу? Правильно ли делаю? И так — с раннего детства. Смешная девочка, с тонкими белесыми косичками, с улыбающимися укоризненными глазами строгого серого цвета, она стояла перед взрослыми как живой вопрос — вопрос и требование. Укор. А сама неумелая, неряха — все у нее валилось из рук. Даже чулки заштопать себе не умела. Не удалось как-то ее приучить. Ведь на то, чтобы приучить, нужно время, ох как много, куда больше, чем на то, чтобы сделать самой. Татьяна Васильевна мало бывала дома, а Катя без нее все читала, читала, как одержимая. Оторвать ее от книги было трудно, как разбудить пьяного. Трудно и жалко, когда она поднимала глаза и с выражением на-

пряженного страдания пыталась понять: чего же, наконец, здесь от нее хотят?

Вытянулась Катя, а все такая же. Тоненькая, но не грациозная, скорей неуклюжая. На ногах детские туфли без каблучков. Никаких хитростей. Волосы тонкие и светлые, причесаны гладко-гладко, оттянуты назад над голубыми висками. А глаза по-прежнему спрашивают каждого: так ли живешь, верно ли живешь? Сама решила пойти на медицинский, хирургом стать, а теперь мучается, сомневается в себе... Иногда придет домой, как мертвая, уставится в пространство, и кажется, слышно, как думает: я бездарна.

Никогда у нее не было мальчиков, только в прошлом году завелся было один, походил и перестал. Хороший мальчик, простой, веселый. Быть бы им вместе — по-простому, по-веселому. А вот не выходит — это же Катя. У нее каждый шаг с трагедией. Танцевать не умеет, вернее, стесняется. Когда ребята собираются, поют — Катя молчит, смотрит большими глазами, а тем становится неловко, словно они что-то дурное делают. Спросят ее: почему не поешь? Скажет: голоса нет. Неверно. Татьяна Васильевна слышала однажды, как Катя мыла окна и пела, думая, что никого нет дома. Голос был тоненький и робкий, но чистый, как стеклышко...

...Бедная моя Катя. Трудно тебе. По себе знаю. Две неумехи...

Мальчики — Толя и Воля — те не такие. Татьяна Васильевна невольно улыбнулась, когда эти двое возникли перед ней — вдвоем, как всегда. Близнецы росли вместе, в школе сидели за одной партой, теперь в институте... И вечно они дра-

лись и ссорились. Когда были маленькие, драка у них шла бесперебойно, как будто дома все время работал какой-то моторчик. Татьяна Васильевна, придя домой, первым делом слушала: все ли в порядке, как моторчик, работает ли? Если все было тихо, это всегда означало плохое: то ли кто-нибудь из мальчиков заболел, то ли они вместе замышляют какую-нибудь из ряда вон выходящую пакость. У них с ранних лет была склонность к технике, и пакости всегда были с индустриальным уклоном, например, разобрать стенные часы для пополнения «конструктора» или соорудить привод к мясорубке из дамского велосипеда... Внешне они совсем были не похожи, не верилось, что близнецы. Воля — смуглый толстунчик со сверкающими черными глазами, из которых один косил немного. Толя — бледный, серо-белокурый, с задумчивой улыбкой, от которой на левой щеке делалась одна глубокая ямочка. В свое время папа говорил, что, верно, Толя и Воля начали драться еще во чреве матери, поэтому и вышли такие: один — косенький, другой — об одной ямочке.

Время шло, братья росли и выросли, а вот драться не перестали. Смешно сказать — взрослые парни, бреются, а недавно подрались из-за какой-то книги. Вот и теперь, наверно, ссорятся там в совхозе на картошке, работает моторчик, все в порядке. Ссорятся, а жить друг без друга не могут. Воля — энтузиаст, изобретатель, хвастун и спорщик, неряха, вечно все разбрасывает и теряет. Толя — скептик, насмешник, скромник, умница, беспощадный критик завиральных Волиных идей. Вещи свои бережет и держит в порядке (Воля деления на «мои» и «твои» не признает).

Воля — красивый парень с крылатыми бровями и горячим взглядом. Косина теперь едва заметна, она даже идет ему — делает взгляд еще горячее и диче. Толя рядом с ним невидный — узкоплечий, сутулый. Только и прелести, что улыбка — редкая, драгоценная улыбка с ямочкой. Когда видишь ее, кажется, нет на свете человека красивее и милее. Дорогие мои мальчишки. Братья-разбойники.

Думать. Надо думать. Сама обещала: завтра скажу все.

Татьяна Васильевна подошла к зеркалу — причесаться на ночь, вынула шпильки из негустых спутанных волос, провела гребнем по одной пряди и вздрогнула: в полусвете зеркала смотрела на нее совсем еще молодая женщина, знакомая, но не очень. Ох, замереть так, не двигаться, глядеть и верить, что этот условный знак женщины, этот фантом и есть она... Нет, надолго замереть не удастся. Один поворот головы — и фантом исчез.

Татьяна Васильевна для своих лет выглядела хорошо и привыкла со всех сторон слышать об этом, но не придавала большого значения. Ну, выглядит лучше, хуже — в конце концов, каждый как-нибудь выглядит... Она никогда не была профессиональной женщиной. Как можно не владеть французским, английским — так она не владела женским. Когда-то, еще при Саше, ее многие считали и называли красивой... Возможно, так оно и было. Что поделаешь? В молодости она не работала над своей красотой, теперь — не работала над своим возрастом. Замечала в зеркале сединки, но ни за что не стала бы краситься. Непри-

ятнее всего было, когда пришлось увидеть себя не в зеркале, а в кино. Не в седине и морщинах, оказывается, было дело, а в осанке. После того случая она долго не подходила к зеркалу. Вот и сейчас она от него отвернулась, сказала вслух: «Поздно уже» — и стала стелить постель. Лечь и думать. Она завела будильник, потушила свет и легла.

Первые секунды было совсем темно. Потом постепенно обозначились на стенах качающиеся тени веток и скользящие светлые пятна. Это — от того фонаря. Бедняга, он все еще мотается там один на своей проволоке, а ветер свистит и швыряет капли — вот они стучаются о стекла и стекают вниз слезами.

...Думать — о чем? О себе, о своей жизни. Жизнь большая. Но сегодня почему-то нужно было вспоминать не всю жизнь подряд, а какой-то один эпизод, случай. Было ощущение, что она забыла что-то важное и это важное лежало в прошлом. И весь вечер — пока еще она была не одна — ей не давал покоя какой-то навязчивый образ, приставал и прятался. Нужно его поймать. И для этого она стала перебирать в мыслях всю жизнь — пласт за пластом, пробуя: не здесь ли? То или не то? Не то. И опять: не то. И вдруг в какой-то момент стало казаться, что немножко «то». словно в игре, когда человек с завязанными глазами ищет спрятанную вещь, а кругом приговаривают: «Холодно, холодно, теплее, еще теплее, горячо». Так и теперь, каждый раз, когда мысль подбиралась к определенному пласти, голос приговаривал: «Теплее, ищи здесь». И она стала искать, где теплее.

Они жили тогда в эвакуации, на Урале, куда выехала со своим институтом Татьяна Васильевна. Муж ее Саша — китаист, востоковед — в самом начале войны ушел с ополчением. Она получила от него только одно письмо — бодрое, с юмористическим описанием фронтовых будней «роты кальсонщиков», как он называл свою сборную, сугубо гражданскую часть. Больше писем не было. Татьяна Васильевна писала — ни одного ответа. Она справлялась по всем возможным инстанциям — ничего. Пропал человек. Приходили стандартные, мертвые ответы: «Адресат не числится» или «Местопребывание неизвестно». Страшно было уезжать: а вдруг без меня — письмо? Но не ехать с институтом было немыслимо, и она поехала, и с нею дети — Катя, старшая, и мальчики, и тетя Мари.

Тетя Мари была Сашина тетка. Она жила в доме с давних пор — он еще женат не был. Ее сестра, Сашина мать, красивая и живая женщина, давно умерла, а тетя Мари жила, и теперь ей было уже лет семьдесят пять, не меньше. Странное существо была эта тетя Мари. Начиная с внешности: она была на редкость, патетически безобразна. Правый, совершенно косою, устрашающий глаз не пристраивался на лице, существовал как бы отдельно, угрожал, жаловался... А само лицо — длинное, красное с синевой, словно бы стекало со лба. Над этим лбом каждое утро тетя Мари сооружала из желто-седых волос замысловатую прическу валиком по моде начала века. С ранних лет ее скрючило ревматизмом. Руки, огромные, распухшие, тоже красные с синевой, шевелились как-то неорганизованно. Когда тете Мари нужно было взять

со стола хлеб, скажем, или ножницы, огромная рука долго качалась, словно примериваясь, прежде чем взять вещь. Жуткая пародия на первые хватательные движения младенца. И ноги у нее были такие же — огромные, распухшие, шаркающие. Казалось, тетя Мари не ходит, не двигается, а только мешкает, и как раз в тех местах, в тех проходах, где нужно было проходить всем другим — быстрым, организованным. Когда рядом с ней возникала необходимость что-то сделать — поднять, передать, — тетя Мари начинала судорожно и совестливо шаркать ногами, не вставая со стула.

Татьяна Васильевна не очень-то любила тетю Мари. Ее раздражало шарканье и мешканье. К тому же в загадочном глазе тети Мари ей чудилось неодобрение. И недаром. Тетя Мари не одобряла Татьяну Васильевну. Нет, Сашина жена не так живет, как нужно, имея такого мужа. Прекрасный муж, трое детей, а она для чего-то ходит на службу, встречается там с мужчинами. «Флёрты», — с укоризной думала тетя Мари, но вслух никогда не говорила. Да и кому было говорить? В доме она жила как-то особняком, в уголке за шкафом — впрочем, она его называла по-старомодному — «шкап». Целый шкап — целый мирок. Собственный мирок тети Мари. Воспоминания. Страусовые перья. Старинные кружева, веера, перчатки. Выцветшие фотографии в бархатных рамках. Все это было перевязано ленточками, переложено душистыми саше и пахло необыкновенными, книжными какими-то духами: лавандой...

Из всей семьи по-настоящему общалась с тетей Мари только маленькая Катя. Она приносила в уголок тети Мари свою скамеечку, садилась у ее

распухших ног, трогательно и требовательно подняв свои взрослые глаза, и слушала рассказы тети Мари о давних временах. И тетя Мари, с качающейся головой, неуверенно глядя распухшей рукой тонкие белесые косички, рассказывала Кате о своей юности. Как она в институте на выпускном балу танцевала с шалью и как ее заметил и похвалил сам великий князь (а ведь танцевала боком к нему, а с левой стороны я была премиленькая)... и, наконец, понизив голос, говоря как бы только с собой, рассказывала о том, как она всю жизнь любила, до смерти любила одного человека — «твоего, Катя, дедушку» — и как отдала его без борьбы своей сестре, хорошенькой хохотушке. А он так никогда и не узнал, что тетя Мари его любила, любит и сейчас, хотя дедушка вот уже двадцать лет как умер. И Катя слушала и любила дедушку вместе с тетей Мари. А иногда тетя Мари вынимала из шкапа свои сокровища — среди них портрет дедушки в кирасе и меховом кивере («Он что, был царь?»), перебирала их, перекладывала и рассказывала историю каждой вещи. Вынимала пожелтевшие кружева — «настоящие алансонские» — и говорила: «Это я тебе подарю, когда ты будешь выезжать». Катя не знала, что значит «выезжать», но чувствовала, что в жизни ее ждет что-то необычайное, какой-то перелом, после чего все будет так же значительно и прекрасно, как в жизни тети Мари. И она, Катя, тоже встретит человека, и полюбит его, и отдаст без борьбы другой, а он до смерти так и не узнает, что она его любила.

Пришла война, потом эвакуация. Шкап тети Мари остался в брошенной квартире с забитыми окнами. Только один небольшой пакетик

взяла она с собой: дедушкин портрет, несколько писем, записную книжку с засушенным розовым бутоном. Им дали одну комнату в общежитии, и в этой комнате тете Мари досталась только узкая кровать в углу и маленький кожаный саквояж под кроватью. Она не понимала, что происходит, почему жизнь так внезапно изменилась, почему нет в доме конфет и фруктов? Она ведь знала — настолько-то она была современна, — что детям необходимы фрукты, в них витамины. А вот фруктов детям почему-то не покупают. И ходить из комнаты в комнату больше нельзя — всего одна комната. И тетя Мари совсем притихла, перестала даже шаркать и все больше сидела или лежала на своей неуклюжей железной кровати. Молча ела то, что ей давали, иногда думала «невкусно», но никогда не говорила.

А Татьяна Васильевна жила, задыхаясь, бегом, гонимая необходимостью. Она читала лекции в институте, бегала на рынок менять какие-то тряпки на картошку, таскала мешки, пилила дрова, готовила, мыла, штопала. А хозяйство рассыпалось в неумелых руках, приобретало какую-то враждебную самостоятельность: примус не зажигался, суп пригорал. А еды не хватало. Мальчикам нужно было молоко, а за него брали хлебом. Татьяна Васильевна почти перестала есть, щеки у нее провалились, губы подсохли, а в глазах появился какой-то волчий блеск. Когда она шла по утрам на работу, ее шатало, словно ветром, а ноги были легкие-легкие и как будто чужие. Помнится, однажды она вышла на мороз ранним утром: небо было страшно розовое, с клубами на нем не то дыма, не то тумана, а она

шла на своих чужих и легких ногах — как будто летела. Запомнилось от этого утра розовое небо и парадоксальное, летящее чувство счастья, причастности к розовому небу и клубам дыма. Но такое чувство бывало редко — может быть, всего раза два, а обычно была тревога, сознание вины и ответственности за своих детенышей, маленьких, зависимых. Ребята росли, их надо было кормить, а еды было мало. Толя и Воля, похожие на картофельные ростки в погребке, притихли, даже дрались вяло и неохотно. Самое жуткое было — их неожиданное сходство. Да, бедненькие, они стали похожи. Одна и та же приглушенность и серьезность появилась и в Волином косящем глазе, и в Толиной ямочке-дырочке, около которой легла тонкая морщинка. А что она могла для них сделать? Что продать, что обменять? И она целыми ночами не спала, перебирая в уме скудное свое добро и считая: вот за это мне дадут десяток яиц, за это — кусок масла, такой вот, в капустном листе, как видела недавно на рынке. И всю ночь в воображении строились, менялись, комбинировались продукты. Не для себя. Ей самой ничего не было нужно. Сахар и масло, которые понемножку выдавались по карточкам, давно стали для нее несъедобными, как камни. Это было для детей. И Катя, беленькая Катя, сплошная совесть, глядя на маму, тоже глотала слюнку и говорила: «Я этого не хочу. Это мальчикам». А Татьяне Васильевне и правда не было ничего нужно, иногда только ночью — маленький кусочек хлеба, и она бы наверняка заснула. Но нет, нельзя. И она убаюкивала себя, повторяя неизвестно как привязавшуюся к ней французскую

поговорку: “qui dort dine” («кто спит — обедает»). И в самом деле, если удавалось заснуть, утром она вставала почти не голодная.

И вдруг неожиданно стало легче. Это было как чудо. Ей, «высокооплачиваемой», удалось устроить мальчиков в детский сад. Теперь каждое утро повзрослевшая, ответственная Катя водила мальчиков, как она говорила, «на работу», с каждой стороны — по мальчику. А они пререкались и время от времени, через Катю, затевали потасовку. Они снова начали драться: в детском саду их хорошо кормили. Воля даже один раз принес Кате пирожок с изюминкой. Другую изюминку он выковырял и съел — не удержался.

Легче стало, но все-таки трудно, ох как трудно, главное, сил было мало, и воды не было. Водопровод почти не работал. Иногда ночью по этажам разносился слух: напротив, в подвале, дают воду. Женщины, обмотанные платками, громяхая ведрами, бежали за водой, как на пожар. Часто воды не хватало на всех, и с полными ведрами шли только счастливые, первые. Однажды дворничиха Дуся подарила Татьяне Васильевне полведра воды, а та от благодарности и смущения заплакала. Дуся тоже смутилась, забормотала: «Бери, бери, чего там, ты же убогая». И Татьяна Васильевна очень хорошо поняла и согласилась: убогая. Она, со своей ученой степенью и слабыми руками, была и вправду убоже всех убогих в этой суровой жизни. И сколько раз потом она принимала от чужих людей подаяние на свое убожество. Раз товарищ по работе принес ей целых сто граммов масла... Другой раз ей коллективно подарили курицу. Она не отказывалась, важно

и просто принимала подаяние, но запоминала, крепко запоминала. Уже много лет спустя, глядя на человека, она про себя говорила: «Это тот самый, который принес мне тогда половину булки. Помню, хорошо помню. Никогда не забуду, как мальчишки были рады».

Со всем этим жизнь была хотя и трудная, но почти возможная, если бы не тоска. Тоска неизвестности, страшная тревога о Саше. Тоска постоянно звучала в ней, как одна незамирающая нота. Сколько писем — отправленных и возвращенных, а потом уже и неотправленных. В этих письмах она давала себе волю. Она была нежна, суеверна, труслива — была женщиной. Часто ей снился один и тот же сон: будто она, маленькая и слабая, как муха, бьется о большую, гладкую, непроницаемую стену — бьется и жужжит. Она просыпалась, как от удара в сердце, и думала: может быть, в эту минуту его действительно убили.

Сколько вокруг было вдов, сколько потерь! Было ей лучше или хуже, чем им? Кто знает... Они хоронили один раз, а у нее были тысячи малых похорон. Каждый день она хоронила Сашу и снова воскрешала. Соседка Нюра получила похоронную. Татьяна Васильевна зашла к ней. Нюра сидела на кровати, настойчиво и деловито билась головой о железо и выла грубым, неестественным голосом. Рядом стояла сопливая маленькая девочка в спущенном чулке и подвывала двумя октавами выше. Татьяна Васильевна смотрела окаменело, без жалости. Она пыталась дать Нюре воды, но та все мотала головой, и вода текла по щеке — драгоценная вода. Как тогда она испугалась своей окаменелости, мысли о воде и еще одной мысли: «Может быть, и лучше так: отвыться,

и чтобы все было кончено». Страшная мысль — нет, она не могла так подумать! Ее судьба была другая. И она продолжала терпеливо все ту же незримую для людей работу: хоронить и воскрешать. Иногда вдруг высоко поднималась надежда, а за ней всегда наступала очередь отчаяния. Эти волны приходили всегда строго попарно. Выше волна надежды — выше волна отчаяния. Самая высокая пара волн была сразу после конца войны. Многие возвращались — Саша не вернулся. Ничего не случилось, волны затухли. Они и потом возвращались иногда, всегда попарно, но становились раз за разом все короче и ниже, пока наконец не прошли совсем. Наверно, это было лет через пять после конца войны. Умерла боль. В анкетах, в графе «семейное положение», Татьяна Васильевна уже давно писала «вдова». Но по-настоящему она стала вдовой, только когда умерла боль.

А тогда, во время войны, когда еще все было возможно, какая она была живая, эта боль! Жива была боль — жива и она сама. Жизнь шла, требовательная и полная, с трудами и радостями. Особой радостью были лекции. Придя в институт на чужих легких ногах, полупьяная от слабости и стойкости, она входила в аудиторию. Ее встречало четкое, ждущее молчание студентов. Она начинала, и — эх!.. — все становилось послушным. Аудитория была как одно коллективное, многоглазое, управляемое существо. Вести всех и следить одновременно за каждой парой глаз.

До войны в их «трудном» техническом вузе девушки были редки — как цветы в траве. Теперь травы было мало, почти одни цветы. И какие трогательные были эти цветы — бледненькие, плохо

одетые, полуголодные и все-таки с неисчезающим блеском молодости! А среди поля девушек — несколько мальчиков, юношей, мужчин. Слабые, узкогрудые (многие в очках), чем-то неполноценные — и понятно, ведь иначе они были бы на войне. Из числа этих мальчиков один чем-то привлек ее внимание, наверно, тем, что казался здоровее всех. Худощавый, высокий даже сидя, со светло-белокурыми прямыми волосами и смуглым, неправильным лицом, он смотрел на нее снизу вверх с насмешливым торжеством молодости и силы. На нем была полинявшая военная гимнастерка со споротыми погонями, а на лице — такого же защитного цвета глаза, большие и веселые почти до наглости. Про эти глаза нельзя было просто сказать, что они смеялись, нет, они хохотали, они просто покатывались. Казалось, он с трудом себя сдерживает: стоит ей только уйти из аудитории, как он даст себе волю. Тут уж начнут хохотать и покатываться все эти бледные девочки и очкастые мальчики. Иной раз перед лекцией, стоя за дверью, она даже слышала этот дружный хохот, смолкавший, когда она входила. Ну, конечно, было ясно, кто тут верховодил! В своем роде он был такой же мастер своего дела, как она, тоже умел владеть вниманием людей, только его умение было выше — оно шло не от строгости, а от радости. Входя в аудиторию, она скоро привыкла искать взглядом хохочущие защитные глаза, даже соревноваться с ним взглядом: кто кого? Он весело смотрел на нее снизу вверх и одновременно сверху вниз. Кто она была для этой двадцатилетней юности? Ученая женщина, уже немолодая, должно быть скучная, от которой всегда можно ждать неприятностей: вызо-

вет к доске, двойку поставит... Она смотрела на него с неприязнью: молодой, сильный, а сидит здесь, с девочками и очкастыми слабогрудыми мальчишками, хохочет глазами... Но однажды, действительно вызвав его к доске, она увидела, с каким усилием он встал, переместив как-то вбок несгибающуюся ногу, и тогда только заметила на защитном рукаве две нашивки — красную и желтую — и упрекнула себя.

...Значит, уже тогда он был для нее чем-то отмечен? А может быть, это теперь так кажется? Потому что эти самые защитные глаза смотрели на нее сегодня под пляшущим фонарем. Только тогда они хохотали, а сегодня, в набегающих тенях, были страдальческими, не в фокусе. Впрочем, на один миг глаза вернулись в фокус и стали жесткими. Это когда он растоптал кленовый лист: «А это мне все равно». Как жестко он это сказал: «А это мне все равно». Значит, все-таки было не совсем все равно?

Она не так уж много знала о нем. Вторично, после тех уральских времен, они встретились в прошлом году: она уже года два как была вдовой. Он работал в той же области, что она, и был связан с институтом общей научной темой. Тема хозрасчетная, хлопот много. Здесь его мало кто знал, даже стенографистки, а они-то уж всегда всех знают. Говорили о нем: обещающий молодой ученый. Не такой уж он молодой. Говорили, что женат, но с женой почему-то не живет, кажется, она ушла к кому-то и ребенка с собой взяла, девочку. Кто-то даже имя девочки знал: Пашенька. Вот и все. Он с тех пор не очень изменился. Хромота теперь мало была заметна —

что-то прыгающее, забавное в походке, а так нет. Нет, все-таки изменился: волосы поредели, словно истаяли и отступили назад, какие-то желваки выросли на скулах. А больше всего изменились глаза — не так уж часто они теперь хохотали... Зато если принимались — что только делалось с людьми! Будней больше не оставалось — одни праздники. Все становилось интересным, особенным. А он красовался: вот, мол, как бывает на свете, а вы не замечаете, дайте-ка я вам покажу. Видите? Это я. Я приглашаю вас на пир — смейтесь. Когда он с таким лицом приходил в лабораторию — все менялось, все тянулось к нему. Мрачный седой профессор с бородавкой на щеке поднимал ухо, как пес, и ждал. И пожилая лаборантка в коричневом халате с измученным лицом и пятнами от реактивов на худых рабочих пальцах, и девочка-препаратор с косичками, как у Кати, — все, встrepенувшись, ждали смеха, и смех приходил, и они смеялись, и были счастливы. Смеялась вместе со всеми и Татьяна Васильевна. Теперь она могла с ним смеяться, не так, как тогда, в аудитории, где он только ждал ее ухода, чтобы начать. Вечером, дома, она иногда вспоминала этот смешной праздник и пыталась пересказать его детям. Ничего не выходило. Видно, дело было не в словах, а в тоне, в голосе, в глазах — черт знает в чем!

А потом все чаще и чаще ей стало казаться, что он приходит, и говорит, и красуется только для нее одной...

А она сама? Один раз, рассказывая о нем дома, она запнулась, почувствовав на себе Катин взгляд. Прямые серые глаза в упор спросили: «Верно ли живешь?» Катя моя, как ты на меня

смотришь? Неужели до этого уже дошло? Кажется, дошло.

...И вот, наконец, черный, осенний вечер, фонарь на углу...

...Нет, не нужно об этом. Нужно перелистывать прошлое, найти наконец то «горячее место», которое все еще ей не дается. Понять наконец, какой это образ преследует ее сегодня весь вечер и вот уже половину ночи, говоря: нет, не все в порядке.

Итак, война. Эвакуация. Несмолкающая боль внутри. Идет уже второй год в чужом городе. Жизнь то труднее, то легче, в общем, скорее легче, но как мало сил.

Заболела тетя Мари. В сущности, она давно уже ослабела, все реже передвигалась по комнате. А теперь легла уже совсем. Татьяне Васильевне стало труднее. Теперь каждый день, придя с работы, она должна была прибирать тетю Мари, с усилием приподнимая ее на кровати и меняя под ней убогие тряпки, когда-то бывшие простынями. А воды не было. Татьяна Васильевна держала себя в руках. Она никогда не позволяла себе раздражаться, делала все — терпеливо, внимательно, но без жалости, с каменной душой. Где было взять крови душевной еще и на тетю Мари? Это просто несправедливо, никто не смеет от нее этого требовать. Ведь она и раньше-то не особенно любила тетю Мари. Что она могла сделать? Только ухаживать за ней, мыть ее и кормить, но не любить, нет, это она была не в силах. Однажды, когда она приподнимала тетю Мари на кровати, неожиданно две костлявые руки обняли ее за шею, и она почувствовала на щеке поцелуй. Это

было ужасно. Ух, с какой силой заворочались где-то там любовь и жалость! Но она не пустила их к себе. Нет, она не могла любить еще и тетю Мари — не было у нее на это душевных сил.

И вот однажды вечером, когда она пришла домой, ее поразила необычайная тишина: Толя и Воля не дрались, а молча в уголке перебирали пуговицы, а Катя, очень серьезная, сидела у кровати тети Мари. «Мама, с тетей Мари что-то случилось, она не говорит, — сказала Катя. — Я воспитала мальчиков, и они молчат».

Татьяна Васильевна подошла к кровати со смешанным чувством. Тут было и робкое, подлое чувство облегчения (неужели конец моим мукам?), и стыд за это облегчение, была и трусливая мысль-молитва: нет-нет, пожалуйста, только не сейчас, пусть только не в этот раз! Но тетя Мари была жива. У нее было темно-красное лицо и хриплое, трудное дыхание. Смерили температуру — тридцать девять. Врач установил воспаление легких. Завтра — госпитализировать.

И вот завтра утром пришла санитарная машина, и тетю Мари увезли в больницу. Она все еще была без сознания. Татьяна Васильевна проводила носилки до машины и на прощание поцеловала тусклый, горячий лоб. И вдруг один глаз — кошой — открылся, и тетя Мари совершенно явственно и даже бодрым голосом сказала по-французски: “au revoir” — «до свидания».

Угол тети Мари прибрали, кровать застлали белым пикейным одеялом, и сразу в комнате стало светлее. Заработал моторчик Толя-Воля. Катя заплакала и притихла.

Ночью Татьяна Васильевна не спала. Горячая, обильная жалость, наконец-то прорвавшая все

плотины, заливала ее изнутри. Она представляла себе, как тете Мари одиноко и страшно там, в больнице, ведь у нее нет с собой ничего, даже того пакетика... Несчастливая тетя Мари, ведь ее никто никогда не любил, она никогда никому не была нужна. А теперь она была нужна, так нужна, если бы она знала! Когда она умрет, Татьяна Васильевна останется совсем одна — самая старшая в семье. Пока была тетя Мари, можно было хоть немножко чувствовать себя девочкой. А теперь — взрослая, старшая, навсегда. Как это страшно! И она давала себе слово: пусть только тетя Мари поправится, пусть только поправится, всегда буду любить и жалеть ее, как сейчас.

А утром она позвонила в больницу, в справочную. «Сейчас узнаю», — ответил свежий и бодрый, видимо молодой, девичий голос. Прошла длинная минута. «А кто это спрашивает?» — уже другим голосом спросила девушка. «Родственница». — «Близкая?» — «Нет, не очень» (очень, очень, кричало у нее в душе). — «Ну так вот, ваша старушка померла вчера. Как ее привезли, вымыли, обрядили — так и померла. Ничего, аккуратно померла, хорошо. Вам же лучше. Она ведь у вас хроник, кто бы стал ее в больнице держать».

...Так. Умерла тетя Мари. Это надо еще осознать. Значит, уже нельзя любить и жалеть ее, как собиралась ночью. Нужно хоронить.

Прошел хлопотливый день. Заказан гроб, приготовлены платье, косыночка, туфли, куплено место на кладбище. Завтра воскресенье. Завтра похороны.

Ночью Татьяна Васильевна снова лежала без сна, поставив будильник, чтобы не проспять.

Жалость и любовь, рвавшие ее на части прошлой ночью, теперь поутихли, но спать она не могла. Будильник тикал, торопясь и захлебываясь, и ей казалось, что это само время в своем торопливом беге теснит ее, теснит и выталкивает из жизни. А там, в больнице, лежит мертвая и холодная тетя Мари, которую уже вытолкали — все.

Настало завтра. Нельзя забыть это воскресенье. Стоял уже октябрь, даже конец октября, но день выдался солнечный и тихий, какой-то призрачный. В почти теплом, почти летнем солнечном свете деревья стояли совсем почти голые, только с отдельными сверкающими желтыми и красными листьями. Во всем городе было светло, ясно и удивительно тихо. Тихим и удивительным был и сад при больнице. В нем было совсем пусто, и деревья скромно замерли, подняв к солнцу тонкие черные сучья. В дальнем углу сада по кресту на фронтоне Татьяна Васильевна нашла небольшое здание вроде часовни — мертвецкую. Она вошла в маленький залец, где на двух возвышениях чинно и как-то мирно лежали два покойника: один в гробу, другой просто так. Кто-нибудь здесь есть? Нет. На голос отозвались только своды. Солнечный свет мягко падал на двух покойников — в гробу и просто так. Она вышла в сад — поискать кого-нибудь. В другом углу сада собирала в мешок желтые листья старая женщина в сером ватнике, валенках и сером платке. Татьяна Васильевна подошла; женщина с любопытством подняла глаза и поправила сбившийся платок тыльной стороной руки. Рука была в земле. В саду пахло землей и опавшими листьями. Вместо того чтобы справиться о своем

деле, Татьяна Васильевна почему-то спросила, глядя на листья:

— Зачем вы их собираете?

— А топить, — сказала старая женщина, улыбнулась и сразу стала молодой — от силы лет тридцати.

Обе постояли и поулыбались друг другу.

— Простите, — сказала Татьяна Васильевна, с трудом подбирая слова, — не знаете ли вы, где здесь администрация, то есть кто-нибудь, знаете, кто распоряжался бы мертвецкой?

— Мертвецкой? — Женщина весело смотрела на нее. Она совершенно ничего не поняла.

— Знаете, — сказала Татьяна Васильевна, — у меня вот какое дело: тетка умерла в больнице, и я ее сегодня хочу хоронить, так вот, у кого я могу получить на это разрешение, что ли...

На этот раз, видно, женщина поняла. Веселое недоумение на ее лице вспыхнуло еще ярче.

— Да я что, — заговорила она, — да у меня они все. Мои. Берите, берите свою покойницу.

— Я бы хотела знать, какие требуются формальности, бумаги, что я должна вам предъявить, какую, например, справку?

— Справку? — поняла женщина и захохотала. Она со вкусом смеялась и вытирала слезы тыльной стороной руки. — А на кой мне справка? Бери, увози хоть всех. Тоже товар нашла. Ох, уморила.

Посмеявшись, она повела Татьяну Васильевну в морг — по-здешнему в «катаерную». Идя за ней, Татьяна Васильевна соображала: откуда такое странное слово? Возможно, от французского «cadavre» — «труп»... «Кадаверная»... По дороге женщина успела сообщить о себе все: четверо де-

тей, муж воюет, трудно, ну да ничего, на детей бирки дают, здесь, в катаерной, работа непыльная, платят только мало, да спасибо, родственники благодарят — покойничков родственники, значит, — кого помыть, кого одеть, смотришь, и живы. Татьяна Васильевна молчала и прислушивалась к ноющему, обморочному чувству внутри себя. Сейчас она войдет в морг, чтобы опознать среди мертвецов тетю Мари.

В подвале на некрашенных деревянных столах лежали три трупа: два мужских и один женский. Татьяна Васильевна почему-то не ожидала, что они будут лежать здесь совсем голые. Не то чтобы она думала найти их одетыми — просто не ждала, что они голые. А они были голые и лежали на спинах, а женский — старушечий — труп и была тетя Мари. Она была острижена под машинку и мало похожа на себя. Татьяна Васильевна молча указала ее сторожике. На одну секунду ей стало дурно, стены поплыли и перекошились, но она справилась с собой и вышла. В маленьком зальце с двумя покойниками — какие они были красивые, одетые и тихие — она передала сторожике сумку с одеждой и буханку хлеба — за то, чтобы одеть тетю Мари и положить в гроб. Сторожиха была рада. Она весело уверяла, что все будет сделано в аккурате, что она вчера уж так хорошо прибрала и одела покойницу — как куколку. Татьяна Васильевна тоже была рада. Чтобы не видеть больше голую тетю Мари, она согласна была бы не есть хлеба целый месяц. Но все-таки ей было стыдно — отдала хлеб, испугалась. И не свой хлеб — молоко мальчикам. Она поехала домой, изнемогая от угрызений совести, но все же с облегчением. До похорон оставалось

еще три часа. Она решила пойти в садоводство, попытаться достать там хоть немного цветов.

Дома она предложила Кате: «Хочешь пойти со мной в садоводство, купить цветов для тети Мари?» И маленькая Катя, словно тоже изнемогая от совести, вложила в руку матери тоненькие холодные пальцы.

Они шли к садоводству — каким только чудом сохранилось оно в военное время? — и на них светило солнце. Продолжался неправдоподобный, тонкий и призрачный летний воскресный день в октябре. Огромный участок садоводства — видимо, тоже в честь воскресенья — был совершенно безлюден и пуст. Они зашли в оранжерею. Там, в косых солнечных лучах с танцующими пылинками, сидела толстая женщина и беззвучно плакала. Слезы, казалось, у нее текли не из глаз, а сразу из всех пор помятого лица. На вопрос: «Нельзя ли здесь купить цветов?» — она ничего не ответила и продолжала плакать, вытирая лицо подолом спецовки. Это было странно, как в сказке, и даже страшно — тишина, солнце и беззвучно плачущая женщина. Никаких цветов в оранжерее не было. Татьяна Васильевна тихо прикрыла за собой дверь и взяла Катю за руку: «Пойдем поищем, не осталось ли хоть зелени на грядках». И они с Катей двинулись по грядкам. Конечно, ни цветов, ни зелени уже не было. На черной, местами бархатисто-сизой от ночного инея земле лежали только умершие, обмороженные стебли да бурые картофельные плети. Все было мертво и черно под светом солнца. Татьяна Васильевна уже совсем было решила вернуться домой, как вдруг неожиданно они нашли «его».

«Он» был маленький, желтый, убогий цветок на короткой ножке, с мохнатым и бескровным венчиком, и он не стоял, а лежал на грядке, и венчик с одного боку слегка почернел от мороза. Почему он расцвел? Ошибся, что ли, приняв осень за весну? Он лежал и будто ждал их, трогательный и неуместный. И Татьяна Васильевна взяла его. И потом положила в гроб, на грудь тети Мари. Вот и все.

Так вот оно наконец, это назойливое, неуловимое воспоминание! Наконец-то она поняла, какой образ мучил ее весь вечер, всю ночь. Это был «он» — маленький желтый цветок, положенный на грудь уродливой мертвой старухе и заколоченный вместе с нею в гроб.

Зазвонил будильник. Татьяна Васильевна протянула руку и нажала кнопку. Будильник замолчал. В комнате было серо, по стеклам скользил дождь.

Будильник. Утро. Надо вставать, идти.

1963

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

Было это в конце пятидесятих годов. Я ехала в поезде в одну из дальних моих командировок. На душе у меня была одна большая забота, какая именно — говорить не стоит, потому что к моему рассказу это не имеет отношения. Из-за этой заботы мне больше хотелось быть одной, и я почти не разговаривала со своими соседями по купе. Их было двое. Один — военный, бесформенно толстый полковник с прядью волос, переброшенной поперек лысины от одного уха до другого. В дороге он сразу распустился и надевал китель, только выходя на станциях, а так ехал в подтяжках поверх сиреновой трикотажной рубашки (обычное, стандартное мужское белье). Он раздражал меня своей манерой хлюпать пить чай, обручальным кольцом, вросшим в пухлый волосатый палец, и тем общим разлитым тоном превосходства, который обычно идет от высокого оклада в сочетании с низкой культурой.

Другой был, наоборот, аскетически худой, сутулый, с коричнево-смуглым лицом, изрубленным морщинами. Когда он говорил, огромный кадык нырял, как поплавок, на длинной шее. Не-

смотря на морщины, седые виски и поредевшие, отступившие ото лба волосы, в нем было что-то неприятно-юношеское.

С этим было сложнее, чем с тем. Иногда он почти начинал мне нравиться — и вдруг становился неприятен. Хорош был голос — глубокий, музыкальный, с неуловимо изящными интонациями воспитанного человека. Такой голос сам по себе было интересно слушать. И вдруг, как ножом по стеклу, в нем царапала противная, лебезящая нота. Глаза — большие, голубые, блестящие, но взгляд не прямой, уклончивый, а белки — в мелких кровавых жилках. Особенно раздражала его подчеркнутая, ненатуральная вежливость. Стоило мне войти в купе, как он вскакивал, расшаркивался и всеми средствами выражал предупредительность. Но вот когда он молчал и задумчиво смотрел в окно, я не могла оторвать глаз от его резкого профиля. Кого-то он мне напоминал. Кого-то очень хорошо знакомого, с детства. Только на вторые сутки я догадалась — кого. Это был Иоанн Креститель с «Явления Христа народу». Тот же горячий, вдохновенный глаз. Та же впаляя, скорбная щека. Это был Иоанн Креститель — постаревший, полысевший, изрубленный жизнью.

Четвертое место в купе было не занято. И вообще в нашем мягком вагоне было много свободных мест. В проходе обычно бывало пусто, и я подолгу стояла у окна наедине со своей большой заботой. И в тот вечер, о котором идет речь, я тоже долго стояла и смотрела. Мимо летели суровые, изможденные, отработавшие свое степи. Была поздняя осень — начало зимы по-здешнему. На всех неровностях голой земли, как седина в чер-

ных волосах, лежали белые полосы инея. Местами ветер трепал сухие, мертвые стебли бурьяна, почерневшие то ли от жестокого летнего солнца, то ли от мороза ранней зимы. А над степью, снизу до половины неба, светилась нежная, пронзительно розовая заря. У одной станции, рядом с водокачкой, стоял чеканный, черный на розовом верблюд. Такое одиночество шло от этого верблюда! А дальше — снова одни пустые степи. Редко-редко мелькали затерянные в степях людские поселки: два-три вросших в землю глинобитных домика. У одного такого домика на целую голову выше его стояла с платком до самых глаз женщина в ватнике. Высокие резиновые сапоги были облеплены грязью, ветер дергал тонкую ситцевую юбку. Женщина стояла неподвижно, только голова медленно поворачивалась за идущим поездом. На самом краю дороги растопыренный чертополох протягивал черные, обугленные, тонкие руки и словно взывал: «Остановитесь! Выслушайте нас! Не проходите мимо!» Все это почему-то трогало меня, становилось в мысли рядом с моей большой заботой. Как здесь должно быть жутко осенней ночью, когда поезд уже прошел, и заря погасла, и так далеко отовсюду: от городов, от людей!

А заря и вправду постепенно погасла, и за окном не стало ничего видно. Одна темнота: серее — сверху, чернее — внизу, а сквозь нее редко бежал спереди назад дрожащий желтый огонек.

Я вернулась в купе. Оба соседа были там. Мне показалось, что мой приход оборвал какой-то разговор, важный для обоих. Худой даже не вскочил и не засуетился. Им, видно, было одина-

ково неловко и продолжать разговор, и прервать его внезапно.

— Да, — протянул военный, — сколько воды утекло! Я ведь вас сперва не узнал. Смотрю — знакомое лицо. А где видел — ума не приложу. Спасибо, вы напомнили.

— Я-то вас узнал сразу, — сказал худой своим глубоким голосом. — Вы, в сущности, мало изменились.

— Да, — повторил военный и помолчал. — Умерла, значит, Нина Анатольевна. Жаль, жаль. Такая интересная была женщина.

Худой ничего не ответил, только потрогал себя за шею и издал неопределенный мычащий звук. Я тревожно на него покосилась. Мне показалось — человек сейчас заплачет. Нет, я ошиблась — он заговорил совсем спокойно, даже со своей лебезящей нотой:

— Очень приятно было снова с вами встретиться. Очень рад. Очень рад.

Мне стало как-то противно, к тому же я не хотела им мешать. Я пошла в вагон-ресторан. Идти было далеко: почти через весь поезд. Я все шла и шла через тускло освещенные, жарко натопленные общие вагоны. Здесь было тесно и душно, пахло людьми. С верхних полок поперек прохода протягивались мужские ноги в носках; нужно было нагнуться, чтобы пройти. Внизу спали и бредили женщины, маленькие дети. В одном вагоне на откидном деревянном столике с треском «забывали козла» и ругались. В другом — надрывно, с сипотой, плакал-убивался грудной ребеночек, и женский голос терпеливо, заунывно тянул: «Аа-а! аа-а!» А между вагонами шатались и гремели темные, холодные площадки-переходы, ляз-

гало железо, приплясывали буфера. Здесь сразу холодом и грозной чернотой вступала в свои права окаянная, безлюдная, кричащая от одиночества степь. Так и чередовались: вагон и площадка, людское и степное бездолье.

Вот наконец и вагон-ресторан. Я села у окна за столик с залитой скатертью и мокрыми окурками на грязных тарелках. Другие столики были не лучше. Кроме меня, в вагоне посетителей не было. Только в дальнем углу унылый, серый пьяный, видно, давно уже все съевший и выпивший, тихо объяснял что-то сам себе на матерном языке и никак не мог понять, переспрашивал. За стойкой дремала пожилая толстая буфетчица с красными руками, в белом халате поверх ватника, в кружевном, жестко накрахмаленном кокошнике. Ко мне никто не подходил. Я подошла к стойке и разбудила буфетчицу. Она проснулась неохотно, явно меня ненавидя, но пошла и привела (вероятно, тоже разбудила) официантку. Эта была великолепно: молодая, статная, раскрашенная блондинка с ярко-лиловыми ногтями. Брезгливо, медленно она убрала со стола и приняла заказ — тоже холодно и враждебно. Ох эта ресторанный ненависть! Как мы ее хорошо знаем — мы, одинокие женщины, не пьющие водки... Народу в ресторане не было, и все-таки пришлось ждать больше получаса, пока она принесла скользкие биточки с холодными макаронами и синеватое какао. Оставленная сверх счета мелочь на скатерти выглядела ужасно сиротливо. Блондинка казалась смертельно оскорбленной, но деньги взяла.

Я сидела и без охоты ковыряла вилкой свои биточки, когда вдруг услышала голос:

— Разрешите к вам присоединиться?

Это был худой из моего купе. Он стоял и кланялся, как петрушка.

Я медлила с ответом. Кругом же было много свободных столиков. А мне не хотелось нарушать наше одиночество — наше с большой заботой. Но он об этом знать не мог.

— Я понимаю, что вы думаете, — сказал он. — Зачем ему понадобилось садиться как раз за мой столик? Вы правы, конечно. Но у меня сегодня... одним словом, мне сегодня трудно быть одному. А наш с вами сосед, полковник, уже лег спать.

— Да нет, ничего, — поспешила сказать я, — садитесь тут, пожалуйста. — Он вдруг напомнил мне чертополох у дороги.

Официантка подошла, играя бедрами, и довольно оживленно приняла заказ: четыреста граммов и бутерброды. Удивительно, как скоро она их принесла.

— Может быть, сделаете мне честь? — спросил худой. — Нет? Ну не надо.

Он налил рюмку и профессионально, даже изящно опрокинул ее в рот. Закусил бутербродом.

— Тысячу раз прошу извинения, — вдруг спохватился он. — Я забыл вам представиться. Игорь Порфирьевич Галаган.

Он снова встал и по-петрушечьи поклонился. Снова пришлось его усадить. Я довольно неохотно назвала себя: имя, отчество, фамилию, профессию. В наше время, рекомендуясь, надо называть профессию. Чтобы сразу видно было — кто ты. Я сказала ему об этом. Он задумчиво выслушал и не сразу улыбнулся.

— Кто я? А этого я и сам не знаю. Знаете что? Давайте я вам расскажу свою историю. Тогда вы сами увидите, кто я. Может быть, даже мне объясните.

Это он славно как-то сказал и понравился мне. Я совершенно искренне ответила:

— С большим удовольствием вас послушаю.

Он снова выпил водки и начал рассказывать.

— Ну, с чего же начать? Прежде всего я коренной ленинградец. Петербуржец даже. Все мои предки жили в Петербурге. Я из старинной путейской семьи. Отец мой был инженер путей сообщения, и оба дяди, и дед. И по материнской линии тоже все путейцы. Целый клан. А из меня путейца не вышло. Я захотел быть художником. Отец был против, но я стоял на своем. Любил я живопись, знаете, до страсти. Просто трясся, когда о ней думал.

Родители мои были очень хорошие люди, особенно мать. Я ее страшно любил. Хотите, покажу карточку?

Он порылся дрожащими пальцами в бумажнике и вынул старинную, на твердом картоне, фотографию. С краю карточка была грубо срезана, наверно ножницами, — видно, не помещалась в бумажнике. На снимке была удивительной прелести молодая белокурая дама в белой блузке с высоким воротом, с тревожными и трогательными глазами. Прижавшись к ней щекой, такими же глазами смотрел хорошенький кудрявый мальчик в белой матроске.

— Это вы? — спросила я.

— Я, а что? Трудно узнать? Естественно. Много лет прошло, да и жизнь...

Да, жизнь. Кому не случалось горестно вздыхать, глядя на ее жестокие труды. Но здесь было другое. Как бы это объяснить? Здесь поражало не различие, а тождество. Словно в эту минуту кто-то сказал: «А и слаба же ты, жизнь! Била, била, а так и не смогла убить в этом лице красоту». И точно, она была здесь: неизменная, тождественная самой себе, тревожная красота тех двоих — дамы и мальчика.

— Но я не об этом хотел рассказывать, не о детстве. Детство мое было довольно заурядным детством мальчика из интеллигентной, обеспеченной семьи. С боннами, гувернантками, белыми чулочками. С тремя языками. С музыкой. Совсем обыкновенное в том кругу детство, если бы не мама. Я у нее был один. Любила она меня бесконечно. И я ее. Мы всё друг другу говорили и вместе мечтали, как самые близкие друзья. Это я как-то не так рассказываю, выходит обыкновенно, а было... Ну вот. Когда я захотел стать художником, отец был против, а она всегда была за меня, больше, чем я сам.

Отец умер вскоре после революции, в восемнадцатом году, и остались мы с ней вдвоем. Время было трудное, голод. Я уже был лет семнадцати. Посещал студию изобразительных искусств — были тогда такие, и каждая с порывом к новому. Всю жизнь заново строили — и искусство тоже. Наша студия помещалась в разоренном барском особняке. Ободранные диваны, позолота. Отопление не действовало, трубы полопались. В зале, где мы работали, зимой лед стоял на полу. Чтобы согреться, мы жгли бумагу прямо на паркете. Такие дикарские костры! А какие ребята были! Голодные, оборванные, веселые, и все — пророки.

Работали как одержимые. Писали красками, только красок не было. Мы делали их сами из чего придется — из сажи, из толченого кирпича, из известки... Это даже было интересно — писать такими красками. Каждая картина была как задача. Вроде как в геометрии задачи на построение: только циркулем и линейкой.

Зимой руки у нас мерзли и краски тоже. Пока разотрешь, разогреешь... Мне все это было ни почем. Я был счастлив, знаете. Молодой, способный. Возможно, даже талантливый.

Маме было труднее. Она хозяйничала, неумелая, варила в кафельной печке на лучинках кашу — ржаную, овсяную, из отрубей. Я эту кашу съедал и даже не замечал, что ем. А ведь крупу надо было достать. Мама зарабатывала: давала уроки музыки спекулянтским дочкам. А еще вещицы разные носила на базар — менять на продукты. Вещиц этих у нас очень мало осталось, потому что в самом начале у нас какой-то отряд почти все реквизирует. Вернее всего, незаконно. Помню, принесла она мне как-то раз два кусочка сахара — все в хлебных крошках. Я их съел и даже не очень заметил. А она на меня, когда я ел, так смотрела — словно молилась. Исхудала, стала такая голубая; прозрачная. Я не очень беспокоился. Я ведь и сам был худой, как уличная собака, но все у меня внутри горело.

Света, конечно, не было, по вечерам темно. Мы с мамой рано ложились спать, в валенках, в шубах, наложив на себя сверху все тряпье, какое было в доме, и тут начинались разговоры. Мы говорили в темноте без конца. О чем? Об искусстве, о его перспективах, о моих замыслах. О моем будущем. Никогда не говорили о быте, о еде,

о трудностях. У нас это не было принято. В нашем доме и раньше не говорили о деньгах, например. Как-то считалось, что приличные люди об этом не говорят.

Так мы жили с ней, и я был счастлив. И вот однажды, в феврале девятнадцатого года, двадцать пятого февраля, такой сиреневый был вечер, я пришел домой из студии и нашел ее мертвой.

Он остановился и снова издал тот внутренний мычащий звук, и снова я покосилась: не плачет ли? Нет, не плачет.

— Как я тогда выжил, выдержал — объяснить не могу. Я был в отчаянии. Виноват: увлекся искусством (черт бы его взял, это искусство!), а ее, знаете, убил. Но так или иначе, я выжил и даже в люди выбился. Но это уже потом. Сначала был на фронте, в каком-то дорожном отряде. Потом заведовал конюшней. Вернулся в Петроград, когда уже жизнь стала полегче. И опять — искусство. В новой студии писал уже настоящими красками. А потом стукнулся в Академию художеств. Вообразите, приняли — с моим-то происхождением. Впрочем, мне везло. Работал, как бешеный. Еще студентом выставлялся. Имел успех. Академию окончил с отличием. Но это все, конечно, пустяки. Вы же вот, например, не знаете, что был такой художник Галаган?

— Видите ли, я не из той среды и вообще плохо знаю живопись. Только почему вы говорите был?

— Потому что был. Посмотрите.

Он протянул над столом свои тонкие коричневые руки. В них было что-то неестественное, не совсем человеческое. Может быть, так казалось потому, что средний палец был много длинней ос-

тальных, как на орлиной лапе. И эти орлиные руки дрожали. Они буквально плясали над грязной скатертью. Чтобы их остановить, ему пришлось уцепиться за край стола. «Так вот почему, — подумала я, — он все время за что-то держится».

— Был, — повторил он. — Был такой художник Галаган. Знаете, мне иногда кажется, что это не я был. Уж очень я был счастлив. Я ужасно горевал после смерти матери, но все-таки, вы понимаете, был счастлив, несмотря ни на что. Словно был приговорен к этому счастью. Все видел свои картины, которые напишу, чувствовал их — до обморока, до галлюцинации. А главное, знал, что могу их написать и напишу и что жизнь велика. Трудно поверить, но знаете, я даже теперь по ночам иногда не сплю и вижу картины. Но теперь это очень тяжело, из-за рук.

Так вот, о чем я сейчас рассказывал? Да. Был я художником, и жил один, и был счастлив. И тут я влюбился. В первый раз в жизни. Да как влюбился! Она была жена одного моего приятеля, инженера. Звали ее Нина Анатольевна. Прекрасная женщина. Вот именно прекрасная. Большая, статная, сильная. Волосы светлые-светлые, почти белые. Обычно светлые волосы бывают мягкие, а у нее они были жесткие, густые и вьющиеся. Стояли на голове, как шлем Афины Паллады. И такого невероятного цвета! Все думали, что она красится. Она уже привыкла. Бывало, спросит кто-нибудь: «Правда ведь, вы красите волосы?» А она: «Нет, но брови и ресницы крашу». Ресницы были длинные, черные и от краски слипались лучиками.

Веселая была женщина. Голос — силы необыкновенной. Я в нее влюбился, когда она пе-

ла. Смотрю ей в рот и вижу: зубы, все до одного, белые и крепкие, как у собаки, без единой пломбы. А из-за зубов — голос. Иерихонская труба. Я просто пропал. Грудь у нее была мощная, широкая, выпуклая. Знаете, сколько кубиков она выдувала? Шесть тысяч. А мускулы какие! Представьте себе, потом, когда мы с ней уже были женаты, иной раз она меня даже била. Вам смешно: баба бьет мужика, но, честное слово, я очень это любил. Думал: бьет — значит, любит.

— А за что она вас била? Простите за нескромный вопрос.

— Ну что вы! Какая же нескромность, когда я сам вызвался вам все рассказать. Била за женщин. Знаете, мне всегда очень женщины нравились. Может быть, потому, что я с мамой вырос. Мне с ними было как-то больше по себе, чем с мужчинами. Мне почти все женщины нравились. Каждая по-своему. И я им нравился, вероятно, за то, что умел их различать. Случалось и согрешить. И всегда после этого я приходил к Нине и каялся. Она никогда не устраивала трагедий, как другие женщины: слезы там и прочее. Сердилась она, это верно. Ругалась. Иногда даже собиралась совсем уйти. А уж когда побьет, я знаю, что в душе она меня простила. Какая была женщина! Этого не расскажешь.

— Вы, кажется, говорили, что она была женой вашего приятеля? А потом — вашей? Как же это произошло?

— Знаете, я в нее сразу же влюбился и, видимо, тем ее и взял, что очень уж сильно любил. А она любила мужа. Ну, и меня тоже полюбила. Вы не подумайте, она вовсе не была легкомыс-

ленной женщиной. Только мы с ней четыре раза женились и разводились. Выйдет она за меня замуж, и начинает ей казаться, что она того, Лёню, больше любит. Уходит от меня и выходит замуж за Лёню. Тогда с браками и разводами просто было. Чтобы жениться, надо было вдвоем прийти, а чтобы развестись, достаточно было заявления одного из супругов. Теперь трудно даже поверить, что была такая свобода. Доверяли людям. Так вот, моя Нина записывалась вдвоем — то со мной, то с ним, — а разводилась одна. Не мог я с ней ходить разводиться. На третий раз (кажется, на третий) я уж не захотел даже идти регистрироваться, сказал: может, просто так попробуем? А она сверкнула на меня глазами (голубые были глаза, а сверкали, как черные) да как закричит: «За кого ты меня принимаешь? Я ведь к тебе по-серьезному пришла, на всю жизнь!» И пошли записались. Мне уж было неловко перед барышнями в загсе: все нас знали и смеялись. Мелкий человек. А Нине — хоть бы что. Идет каждый раз в загс веселая, гордая, счастливая, а волосы так и сияют. А потом пройдет недели две-три, и начинает она задумываться. Думает о Лёне. Даже плачет, жалеет его. Видите ли, она так трогательно о нем говорила, что иногда я сам с ней плакал — ну не плакал буквально, а таял от жалости. Один раз даже сам сказал ей: «Иди», — и пальто подал.

— А как же это все кончилось?

— Знаете, кончилось это самым неожиданным образом. Я почувствовал, что больше не могу, и перевез к себе тещу. Тещу свою, Аделаиду Филипповну, я терпеть не мог. Должно быть, за то, что она очень была похожа на Нину, но в карика-

туре. Нина — большая, полная, сильная, а теща — грузная, грубая. Голос у Нины — громкий и яркий, как фанфара. А у тещи был голос вышибалы. Меня она терпеть не могла, а Леню любила. Жила она отдельно, и я даже редко ее видел. Когда Нина ушла в третий раз, я поехал к Аделаиде Филипповне и предложил ей у меня поселиться. Старуха меня просто ненавидела. Но тут почему-то согласилась и ко мне переехала. Ну и ругались мы с ней! Бранилась она куда крепче меня, как грузчик. Прожили мы с ней месяца полтора-два, и тут вернулась Нина. И, представьте себе, навсегда вернулась. Зарегистрировались мы в последний раз и больше уже не разводились. Удачно получилось у меня с тещей, как говорят — осенило. Потом я ее даже полюбил, и она меня, хотя ругались по-прежнему. Умерла она года через два — я о ней очень жалел, вот ведь как бывает.

С Ниной мы жили хорошо. Она, я вам уже говорил, была певица, и отличная певица. Успех огромный. Всегда были у нас букеты, цветы в горшках, даже венки. Другие певицы поют только в концертах, на эстраде: боятся голос надорвать. Нина была не такая. Она везде пела: в ванной так в ванной, в кухне так в кухне. Иной раз даже на улице запоет, милиционера дразнит. А дома она всегда пела, а я рисовал или писал красками, и мне казалось, что я рисую то, что она поет. А портретов с нее я не писал, боялся.

Дома у нас порядка большого не было. Хозяйка она была никакая. Вот тут, поскольку я заговорил о хозяйстве, можно вам рассказать про Татьяну. Она потом много для нас сделала.

Татьяна эта была большая, толстая, сильная бабища, вроде каменной бабы с кургана. Лицо,

впрочем, красивое — в русском духе. Гладкое, широкое, румяное, глаза с поволокой и коса до колен. Ее раскулачили, и пришлось ей с семьей бежать из деревни. Муж у нее — этакий незаметный мужичонка с насморком. Двое детей, еще маленькие: Нюра и Коля. Приехали они всей семьей в Ленинград. Конечно, без прописки — об этом и заикнуться нельзя было. Стали жить без прописки. Приткнулись в уголке за занавеской у брата Татьяниного — тоже пьяница, род занятий неопределенный. Татьяна семью кормила и брата тоже. Энергии в ней было через край. На работу, конечно, поступить не могла — ни одной справки. Стала она, что называется, спекулировать: выстоит в магазине очередь, купит, несет на рынок, продает — конечно, с наценкой, с божеской, а то и без наценки, если покупатель по душе придется.

По этим делам она и к нам попала, по спекулятивным. Нине ее рекомендовали: все, мол, может достать. И правда. Нина любила хорошо одеться, хоть и не умела носить вещи — то запачкает, то прожжет. На мой вкус, чем проще она была одета, тем лучше. Нину не надо было украшать, она ведь очень была красивая. Кажется, я это уже говорил. Татьяна стала к нам ходить сначала как спекулянтка. А потом прижилась. Стала Нине помогать по хозяйству, приходила каждый день. Привыкли мы к ней, а она к нам.

Меня в этой Татьяне всегда поражало невозмутимое спокойствие, даже, я бы сказал, веселость. Казалось бы, какая ее жизнь? Бьется одна с детьми — муж не в счет — в чужом городе, без прописки. Ютятся в каком-то мерзком подвале, за занавеской. В любую минуту могут дознаться,

что она живет незаконно, выслать из города, а то еще хуже — арестовать за спекуляцию. Я все удивлялся: как она может быть такой безмятежной? Очень уж мне это было непонятно. Знаете, наш брат, проклятый интеллигент, родится с любовью к законности. Ему непременно надо быть прописанным, зарегистрированным, куда-то причисленным, иначе ему не жизнь. А Татьяна жила как птица небесная. Наш брат на ее месте загрыз бы себя страхами, сам бы пошел в милицию — давайте меня, мол, куда хотите, только определите мое положение. А Татьяне ее жизнь казалась естественной, как всякая другая. Улыбалась она очень хорошо. Я ее портрет написал с косой и с улыбкой, ничего. Он потом пропал, как и всё. Нина к ней почти не ревновала, один раз только или два попало мне за Татьяну.

— Как, вы разве с Татьяной тоже?..

— Да. — Он сказал это просто, с доброй улыбкой. — Я ведь вам сказал, что мне женщины очень нравились. А Татьяна была даже очень красивая в своем роде, в своих габаритах. Главное — спокойная. Ничего лишнего не было у нее в душе.

Ну так вот, жили мы с Ниной хорошо, только детей у нас не было. В тот первый год, когда Нина уходила от меня к Лёне и обратно, она сделала два аборта, а потом как-то не получалось. Жили мы так лет пять или шесть. А в тридцать четвертом году Нина забеременела, и мы были рады. Я детей очень люблю. Ждали мы девочку Леночку. Только ничего из этого не вышло, потому что скоро началось все.

Что все? Вы понимаете, я кировского набора. Не понимаете? Да, вы же не ленинградка. «Кировским набором» у нас называли тех, кого из Ле-

нинграда выслали в тридцать пятом году, после убийства Кирова. Сколько тогда выслали народу — никто в точности не знает. Только наверняка очень много. Многие тысячи. А нам казалось — всех. Ведь каждый из нас живет в довольно замкнутом мире, и ему кажется, что этот мир — все. Высылали, конечно, не всех, а главным образом интеллигенцию. А пуще всего — старую, потомственную интеллигенцию, с крепкими ленинградскими корнями. Рвали с корнем.

Всех наших друзей выслали. И нас с Ниной — тоже. Пришли однажды ночью, отобрали паспорта, приказали через два дня выехать в Казахстан. Даже село, куда ехать, в точности обозначили. Там тогда не целина была, а сплошная дикость. Нина была беременна на восьмом месяце, и я пошел к одному — черт его знает, кто он был по должности, — от которого мы зависели, и очень просил, чтобы нам разрешили остаться до родов. Очень хорошо помню, как он меня принял. Я ему: «Ведь мы же ни в чем не виноваты». А он: «Вас никто ни в чем и не обвиняет. Вы высылаетесь в порядке массового оздоровительного мероприятия. Ничего для вас не могу сделать». А сам смеется особым таким смехом, беззвучно, — знаете, как собаки смеются: открыл рот и дрожит языком. Тут я понял, что говорить ему что-нибудь бесполезно. Пошел домой, и стали мы собираться.

Татьяна нам помогала укладываться. Грустно ей было с нами расставаться, привязалась все-таки. Вот она и говорит: «А вы не поезжайте». — «Как так?» — «А очень просто, не поезжайте, и все тут». — «Так ведь у нас же паспорта взяли». — «А вы живите без паспортов. Я же вот живу».

Нет, куда там! Разве это нам было по силам? Легальность нас заедала. Собрались и поехали.

Село это в Казахстане, куда нас выслали, было даже не маленькое, но очень уж далеко отовсюду, глубоко в степях, от железной дороги километров сорок. Знаете, как может быть одиноко в степях? Я всю жизнь прожил в Ленинграде и привык чувствовать рядом море. А тут — страшно даже подумать — на тысячи километров кругом одна сухая земля. Вначале я от этого очень тосковал с непривычки.

Нас, ссыльных, в этом селе много было, человек пятьсот, и все из Ленинграда. Нашли там знакомых: Головиных, Голицыных, Геллеров. Потом оказалось, что в это село высылали только букву «Г». Жить было негде, работать — тоже. Кое-как устроились мы с Ниной в избе, вернее, землянке глинобитной, вместе с хозяевами, спасибо — пустили нас. Жили мы в углу, за ситцевой занавеской, как Татьяна у брата. На другой день после приезда начались у Нины роды, раньше срока. Больница — за тридевять земель, да и везти не на чем. Верблюды там, но как-то не решился я на верблюде. Принимала у Нины одна докторша, тоже на букву «Г». Нина рожала там же, за занавеской, а я выходил на двор и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. Роды были трудные, двое суток. А ребенок — девочка — родился мертвым. Да.

Нина долго болела. А когда встала, начали мы с ней пытаться жить. Трудно было. Главное, ведь мы из-за легальности ехать согласились, а легальности — никакой. Никому до нас дела не было. Живи как хочешь и чем хочешь, только ходи каждую неделю отмечаться в районный центр.

Полное село учителей, инженеров, библиотекарей — а работы нет даже для десятка. Кое-как мы все-таки перебивались. Нина на картах гадала за хлеб. А я пробовал рисовать. Даже один раз сделал маслом портрет местного вельможи и получил за него баранью ногу.

Но все это не так страшно. Самое страшное было то, что среди нашего населения на букву «Г» начались уже настоящие аресты. Ночью залают собаки, так и зальются. А утром выйдешь, и говорят: того взяли, другого взяли. Очень это было страшно. Человек трус, пока уязвим, а у меня была своя уязвимость: Нина. Помню, выйдешь ночью во двор, луна светит, огромная, белая. Тень от плетня черная-черная. И слышно, как по всему селу перекликаются, лают собаки. Идут, значит. И чувствую, что на этот раз к нам идут. За нами. И так становится страшно, что думаешь: хоть бы уж скорей приходили. А собаки лают уже дальше — значит, не к нам. Утром смотришь: одного нет, другого. Шепоты. Страшнее всего эта неизвестность: за что, почему, кого? Немцы, нацисты, это очень хорошо понимали. У них такая система называлась “Nacht und Nebel” — «Ночь и туман».

И вот однажды, в одну такую ночь с собаками, я почувствовал, что больше не могу. Сойду с ума. На другой день я заявил Нине: «Мы с тобой едем в Ленинград». — «Как в Ленинград?» — «А так, очень просто. Возьмем и поедем». Она сразу согласилась, даже повеселела. Я сам-то больше колебался, во мне крепче была легальность, но я переломил легальность, и мы уехали. Добрались до станции, продали мой костюм (хорошо, Нина его сберегла) и купили билеты. Нина настояла, чтобы в мягком. Кутить так кутить!

Едем мы, значит, в мягком вагоне. Едем совсем как люди, и никто нас не знает. Все оторвано — сзади и спереди. Словно летишь куда-то. Помню, в молодости был у меня друг, тоже художник. Он говорил, что ему хотелось бы существовать, но не числиться ни в одном списке. Так вот, мы ехали и существовали, но нас не было ни в одном списке. То есть там, позади, оставался список на букву «Г», но от этого списка мы оторвались, и теперь у нас списка не было. Любопытное ощущение.

Ехал с нами в купе один военный. Высокий такой, молодой, красивый. Я его сегодня с трудом узнал. Это тот самый — наш с вами сосед. Изменился он, конечно, ведь двадцать лет прошло с хвостиком, да и поседел, но все-таки узнать можно. Вспомнили мы с ним сегодня про Нину. Она тогда ему очень понравилась. Моя Нина ведь была очень красивая, все в нее влюблялись. А тут, когда мы вырвались из списка и ехали, особенно она была хороша — веселая, как в лучшие времена, и немного пьяная от свободы. Достали они у проводницы гитару и целыми днями пели. У него голос был неплохой, а Нина — чего вы хотите — профессиональная певица. К нашему купе со всего вагона сходились — слушать.

Один раз вышел он в коридор покурить, а мы с Ниной остались в купе, и я ей говорю: «Завидно на него смотреть. Есть же такие счастливые люди! Едет он и знает, куда едет, есть у него свое место. Хозяин жизни. А мы с тобой?» Нина ничего не ответила, только по щеке потрепала. А тут он вошел, и снова начались песни.

Вечером я лег на верхней полке, а они остались внизу. Четвертое место было не занято, вот

как у нас с вами. Лежу я на верхней полке и все думаю: что будем делать в Ленинграде? А они разговаривают, и слышу я этот разговор. Сначала смеялись, шутили, а потом замолчали. И вдруг, слышу, говорит он — совсем другим голосом: «А знаете, Нина Анатольевна, как мне приятно на вас с мужем смотреть? Смотрю и думаю: едут двое, молодые, красивые — хозяйева жизни. А я? Не могу даже понять, кто я такой. Хочется мне все вам рассказать. Был я в отпуске и получил письмо от приятеля по работе, что на меня поступил донос и, как только я вернусь, меня сразу же арестуют. Разумеется, не всеми словами написано, но понятно. И я решил — не возвращаться. Взял билет и поехал просто так, куда глаза глядят. И сейчас я рядом с вами еду, и вид у меня, как у человека, а на самом деле меня вовсе нет. Вы этого не поймете». И тут, понимаете, он заплакал. Я тоже лежу на верхней полке, прикрывшись пальто, и, верите ли, плачу. А Нина была твердая, она не заплакала. Она только сказала ему, совсем тихо: «Мы такие же, как вы».

Пока шел рассказ, мой собеседник несколько раз наливал рюмку. Он совсем не пьянел, только становился спокойнее, и из голоса совсем пропали неприятные, заискивающие ноты. Он сидел за столом красиво и просто, как хозяин, и нравился мне все больше. Все-таки, когда он еще раз налил, я на всякий случай спросила:

— Может быть, хватит?

— А, это вы о водке, — не сразу понял он. — А я думал, о моей истории. Насчет водки вы не беспокойтесь. Я никогда не бываю пьян. Мне, если хотите, чтобы стать нормальным, нужно двес-

ти граммов, без этого я не человек. Так сказать, отрицательное опьянение.

В вагоне-ресторане было совсем тихо. Статная официантка с кружевной короной на голове несколько раз подходила узнать, не нужно ли чего еще, но нам ничего не было нужно. Наконец поняла, что ждать больше нечего, и ушла, окинув меня через плечо презрительным взглядом. Так умеют смотреть молодые женщины на тех, кто постарше. Серый пьяный за дальним столом наконец успокоился, уронив голову на руки. Мой собеседник через стол на мгновение положил свою прыгающую руку на мою — теплым, дружеским жестом.

— Вам в самом деле не надоело еще слушать?

— Нет, что вы, напротив, очень интересно.

— Какая вы милая! Так я буду продолжать. Собственно, не так много уж осталось. Приехали мы в Ленинград. Под ногами — родные камни. Хочется целовать эти камни. Денег нет, жилья — тоже. Идти — некуда. Друзья все, как и мы, высланы. А кто и остался, того страшно подвести. И тут сразу, не сговариваясь, решили: к Татьяне. Пошли к Татьяне.

Брат ее, пьяница, жил все в том же подвальчике, только спился уже окончательно. Еле мы его растолкали. Рассказал, что сестра больше тут не живет, муж ее умер, сына взяли в армию, а дочь вышла замуж за рабочего, и теперь Татьяна, как путная, живет у дочери и даже прописана. Дал нам ее адрес.

Представьте себе, встретила нас Татьяна как родных. Накормила, напоила, вымыла. Стали мы с ней советоваться — как быть? Она говорит:

дальше будет видно, а пока что живите у меня. Я даже удивился, что она так смело говорит: «у меня», — дом-то ведь был Нюрино мужа. Но потом стало ясно, что она здесь полная хозяйка. Мальчик этот, Нюрин муж, просто в рот ей смотрел. Да и в материальном смысле она по-прежнему была глава семьи. Откуда уж она деньги добывала, чтобы кормить всех, и нас в том числе, — не знаю. Боюсь, что по-старому спекулировала.

Я, вероятно, плохо рассказываю. Вам может показаться, что Татьяна эта дурной женщиной была. Ведь спекулянтка — это, по-вашему, плохо. Значит, это я виноват перед ней, что плохо рассказываю. Татьяна была чудесный, настоящий человек. Это про нее сказал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ничего она не боялась, все делала просто и весело. Верите ли, пока мы с Ниной у нее жили, мы ни разу не почувствовали, что живем из милости, на ее счет.

У них в квартирке — плохонькая такая квартирка, в старом деревянном домике — был темный чулан, и она отдала его нам с Ниной. И стали мы жить у Татьяны. Мы с Ниной тоже немного зарабатывали. Она вышивала салфетки, я рисовал коврики — русалок и лебедей, а Татьяна наши изделия продавала на рынке. Немного, но что-то выручала.

Скоро я научился так рисовать, чтобы было красиво. Ведь у нас, в сущности, вкус испорчен, а по-настоящему красиво это то, что всякому нравится: огромные глаза, губы сердечком, лебедь на фоне зари. Татьяна этих ковриков больше бы продавала, спрос был, но боялась, как бы не дознались, где она их берет.

И так мы жили, от всех спрятавшись, два года. На улицу не выходили: заметят. Увидим, что идет к Татьяне кто-нибудь, и сразу с Ниной к себе в чулан, сидим тихо-тихо. Уйдут — мы обратно. Один раз даже милиционер приходил. Только не за нами, а по Татьяниним рыночным делам. Она быстро с ним справилась, очаровала, даже водкой угостила, ушел ручной.

В общем, жить можно было, только очень скучно без книг (книг-то у Татьяны не было, я уж календари читал по многу раз) и без воздуха. Я иной раз даже задумывался: а хорошо ли сделали, что уехали? Там хоть иногда подышать удавалось.

А Нине труднее всего было — не петь. Нельзя ей было петь: соседи услышат. Иногда забудется, запоет, а я ей: «Нина, не пой». Раз она на меня так посмотрела, даже страшно. Я сразу понял, что она подумала: тебе хорошо, ты рисуешь, этого никто не слышит. А я уже совсем ничего не мог рисовать, кроме лебедей и русалок. Они даже по ночам мне снились.

Прожили мы так года два, и стал я замечать, что с Ниной что-то неладно. Прежде всего у нее изменился взгляд. Раньше был голубой такой, открытый, а стал серый, подозрительный. Раз как-то я вошел в чулан, а она от меня что-то прячет. Я все-таки увидел: это была маленькая-маленькая рубашечка, как ее называют... распашонка. Только совсем маленькая, меньше, чем на грудного ребенка. Я было обрадовался, хоть и испугался, но потом оказалось, что нет у нее никакой беременности, а это начиналась душевная болезнь. И все из-за ребенка.

Когда Леночка умерла, Нина не очень сильно горевала. Нет, вы не поймите меня плохо,

она плакала, как всякая мать, но горе ее не сломило. Оставались и блеск в глазах, и голос, и осанка. А два года в чулане — сломили. Скоро я понял, в чем дело. Достаточно было раз увидеть, как она сидела в углу и баюкала тряпичный сверток, называла Леночкой... Я все понял. А еще иногда она принималась хохотать. «Тише, Нина», — я говорил. Она умолкала и начинала рвать на себе волосы. Я их каждый день находил на нашей койке в чулане — красивые такие, блестящие локоны, — она их рвала целыми прядями. Я...

Он снова немного помычал с закрытым ртом. Я уже знала, что это ничего, нужно только переждать, и он заговорит спокойно. Он все не говорил, а я торопила его мысленно: «Ну же, ну...» Он заговорил:

— Пришлось нам с Татьяной отдать Нину в больницу. Она уже мало что понимала. Договорились, что Татьяна отведет ее и скажет, что нашла больную на улице. А я не пойду с ними, чтобы себя не выдать. Мне-то было все равно, выдам или нет, но Татьяна заботилась о ней, чтобы ей было куда вернуться, когда поправится. Я согласился. Довел Нину только до перекрестка. Первый раз я был на улице за два года. Небо такое голубое — больно глазам. На углу я поцеловал Нину. Она на меня посмотрела — и, честное слово, это был совсем осмысленный взгляд. Я смотрел, как они уходили под солнцем, она с Татьяной, и волосы у нее стояли на голове и светились. Я это на всю жизнь запомнил. Больше я Нину не видел. То есть видел один раз — в гробу.

Мы посидели и помолчали. Он не говорил, я не спрашивала. Прошло минуты две или три.

Кстати, где была моя большая забота? Кажется, ее не было.

— Умерла моя Нина в больнице. Об этом я рассказывать не буду. Тогда я совершенно отупел. Мне было все равно. Я сидел в чулане и молчал. А когда кончил молчать, оказалось, что руки у меня трясутся и я даже не мог рисовать лебедей.

Татьяна меня буквально выходила. И знаете, что она сделала? Она мне купила паспорт и новое имя, устроила меня на работу. Стал я бухгалтером в одной артели. Звали меня Иван Матвеевич Сидоркин. Никто в мою жизнь не лез. А перед самой войной я даже получил работу получше: стал референтом в научно-исследовательском институте. Устроил меня туда один знакомый, еще по старой жизни. Знал, кто я, но не испугался. Не все же трусы. В науке я ни черта не смыслил, но знал три языка и, в общем, справлялся. Жил по-прежнему у Татьяны, только был уже прописан и почти легален.

Так я жил до самого начала войны. А зимой сорок первого меня арестовали. И вот что интересно: арестовали уже под новым именем, за преступления Ивана Матвеевича Сидоркина. И, представьте себе, когда арестовали, я в каком-то смысле даже обрадовался. Это давало мне какую-то почву под ногами. Я сразу же объявил следователю свое настоящее имя. Он не поверил, решил, что я заметаю следы. Говорю ему: «Я Галаган». А он: «Не морочьте мне голову, вы Сидоркин». Сказал, разинул рот и засмеялся беззвучно, как собака. И тут я его узнал. Это был тот самый, с песьим смехом, который тогда высылал нас с Ниной. Я его узнал, а он меня — нет. Ведь таких, как мы, были тысячи. И тут я поте-

рял над собой контроль и сказал ему: «Ах ты сволочь, сволочь! Ты думаешь — ты хозяин жизни. А ты — пес жизни». И дал ему в морду. После этого меня сильно били в тюрьме.

Приговорили меня на двадцать пять лет — значит, пожизненно. Обвинение было какое-то опереточное. Будто бы была в Ленинграде тайная организация, которая ждала прихода немцев и заранее формировала правительство. И будто бы мне предназначали портфель министра торговли. Именно «портфель». Мне было все равно, и я все подписал, только в одном пункте заупрямился. Признавал, что министр, а что торговли — нет. Требовал портфель министра по делам искусств. Они говорят: нет такого министерства. А я им: а у нас было. Ведь я же участвовал в заговоре, а не вы. Держу пари, что некоторые из них даже поверили, что выдуманный ими заговор действительно существовал! Люди вообще часто верят в заведомые фантомы. А я уже ничего не боялся, смеялся над ними. Думаю — бейте, а все равно на министра торговли я не согласен. Только они больше меня не били. Спать не давали, это верно, будили среди ночи и подсовывали на подпись показания, а я не подписывал. И, вообразите, уговорил их. Дали они мне портфель министра по делам искусств. Очень это мне было приятно. Часто потом, уже в заключении, в лагере, я вспоминал, что переломил-таки их, и чувствовал себя человеком.

В заключении было не так уж плохо. Или мне лагерь такой попался, благополучный сравнительно. Другие — те страхи рассказывают. Лагерь был в Сибири, далеко от войны, и мы ее почти не чувствовали. Разве что кормить стали

похуже, но все-таки сносно, просуществовать можно. Холод, конечно... Зимой было тяжело. Но вообще все это не так страшно. Страшен по-настоящему только страх. Те собачьи ночи, когда я еще был уязвим. Жили мы, заключенные, все по пятьдесят восьмой, дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет.

Тяжело только было с «верующими». Мы так называли тех, кто верил в виновных. Они-то как рассуждали: не может быть, чтобы все это было совсем бессмысленно. Чтобы вся страна сошла с ума. Поэтому должны быть виновные. Не все, далеко не все, есть и невинные (я же вот невинен!), лес рубят — щепки летят (слышали, наверно, такую пошлую фразу), да, щепки летят, но где-то должен быть и лес. А на самом деле все мы были щепки, а лесу вовсе не было. Я, по крайней мере, ни одного случая не видал. Были такие, которые брюзжали, критиковали, но ни один не был по существу против власти. Наоборот, все были за. И даже озлобленных, таких, чтобы через меру, не видел. Все-таки святая она, наша российская интеллигенция.

Ну, что же вам дальше рассказать? В сущности, я уже кончил. В пятьдесят четвертом меня освободили, в пятьдесят шестом — реабилитировали. Прописку дали в Ленинграде и даже компенсацию денежную за сколько-то времени.

А того, с песьим смехом, я еще раз видел. Меня вызывали давать против него показания. Я ведь из всего нашего «совета министров» один-единственный жив остался. Видел я его. Облинял он сильно и не смеялся. Не стал я его

гробить, не сказал про то, что меня били. И то, сказать по совести, я же его первый ударил.

Вот, кажется, я вам все и рассказал. Вы меня давеча спросили: кто я? А я и сам не знаю. Поселился я в Ленинграде у Нюры — Татьянина дочка, помните? Татьяна сама умерла в блокаду, Нюрин муж на войне погиб, она сошлась с другим, а он ее бросил. Осталась она с маленьким мальчиком, Сашенькой зовут. Очень я этого мальчика любил. Нюра на работу ходит, а я Сашеньку нянчу. Хорошенький такой мальчуган, голубоглазый. Когда гуляю с ним, все его за моего принимают — кто за сына, кто за внука. Так и живу — у Нюры в няньках. И нисколько мне не стыдно, что я нянька. А вы спрашиваете: кто я? Сказал бы вам тогда: нянька, — вы бы не поверили.

А куда я сейчас еду? Это так, глупость одна. Деньги у меня пока есть — от компенсации остались, и захотелось мне съездить на Леночкину могилку. Посмотреть, как она там, не срыли ли. Холмик-то был совсем маленький.

Он кончил рассказывать и добавил:

— Да, хозяйева жизни. Не видал я, в сущности, хозяев жизни. Разве что Татьяна. Но она не в счет. Что это за хозяйка — спекулянтка. А как вы думаете, есть ли они где-нибудь — настоящие хозяйева жизни?

— Должны быть, — ответила я.

СОДЕРЖАНИЕ

ФАЗАН. Повесть 5

РАССКАЗЫ

«Скрипка Ротшильда» 149

За проходной 166

Без улыбок 215

Летом в городе 262

Первый налет 299

В вагоне 316

Знакомые люди 340

Под фонарем 354

Хозяева жизни 384

И.Грекова

ЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

Повесть, рассказы

Заведующая редакцией *Е.Д.Шубина*

Редактор *А.С.Шлыкова*

Младший редактор *Т.С.Королева*

Технический редактор *Т.П.Тимошина*

Корректор *А.И.Иванов*

Компьютерная верстка *Н.Н.Пуненковой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронные адреса:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Издательство АСТ представляет:

В серии «**Проза: женский род**»

Книги мастера психологической
прозы на все времена

И. ГРЕКОВОЙ

Такая жизнь

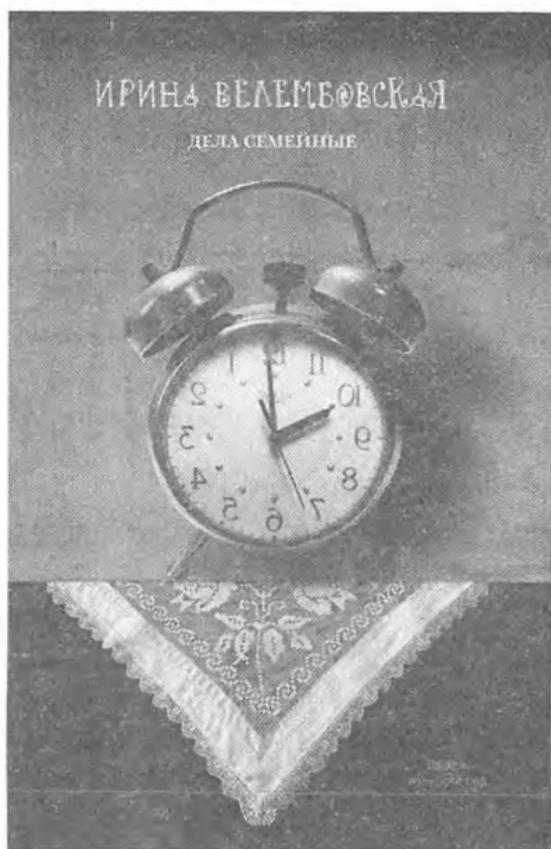
Кафедра

Знакомые люди

Своё счастье

Свежо предание

Хозяйка гостиницы



Умеете ли вы любить? Кто из женщин может ответить на этот вопрос утвердительно? Да все! А мешают, мол, постоянно непонимание сильного пола и обстоятельства жизни.

Классик женской психологической прозы И. Велембовская думала иначе. В ее прозе любовь — это всегда труд сердца, желание понять другого, будь то давний привычный спутник жизни или новый очаровательный знакомец, будь то дела семейные или неожиданная встреча, из которой — кто знает — может вылепиться судьба...

В книгу И.Грековой поместился весь XX век – его прожили, отлюбили и отстрадали ее герои. Пожилой профессор, вспоминающий дореволюционное детство, офицер, переживший страшный 1937 год, талантливая женщина-учёный, которой коллеги-интриганы не дают заниматься наукой, или консьержка, копящая на цветной телевизор...

Эти истории происходили в каждой семье, а их герои – такие знакомые люди...

ISBN 978-5-17-071044-7



www.elkniga.ru